

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

КОНСТАНТИН  
ПАУСТОВСКИЙ



Константин Гаустовский

Потерянные  
романы

---

Калужское книжное издательство 1962

**P 2**  
**Π 21**

# Потерянные романы

главы из романов





## ОТ АВТОРА

На протяжении своей довольно долгой и сложной писательской жизни я потерял всего только три романа. Я пишу «всего только три» потому, что мог бы потерять и больше. Потерял я эти романы не потому, что небрежен и не ценю свой труд. Нет! Просто жизнь сложилась так беспокойно, что беречь рукописи стало делом невероятным, а иной раз и невозможным.

Наше поколение пережило первую мировую войну, потом величайшую революцию, гражданскую войну, голод, непрерывные скитания и, наконец, последнюю войну, когда рукописи странствовали сами по себе, спасаясь от военных бедствий.

История потерянных рукописей кажется мне интересной.

Первый потерянный роман я написал еще в 1924 году. Он появился после моей поездки в Персию в 1923 году. Назывался он «Гыль земли Фарсистанской».

То был роман несколько экзотический, написанный густым и цветистым языком. Мне казалось тогда, что этот язык напоминает библейский. В 1925 году в Москве этот роман взял у меня почитать Бабель. Он только что переселился в Москву из Одессы.

Бабель читал этот роман, по моим соображениям, слишком долго. Я терпеливо ждал, пока не заметил, что Бабель начал от меня прятаться. Тогда холодящее кровь подозрение закралось в мое сердце, — не потерял ли он рукопись? Роман был написан от руки и притом в одном экземпляре. В то время у меня не было денег на машинистку.

Так прошло два мучительных месяца. Наконец, ко мне в полуподвальную комнату в одном из переулков Остоженки пришла заплаканная мать Бабеля—чудесная старушка, любвеобильная и совестливая. Она сказала мне, что Бабель «вообще да, потерял рукопись», что они перевернули весь дом, но ничего не нашли, лиши-

лись сна, что Бабель, конечно, «босьяк», но она, как мать, умоляет меня простить его. Я тогда был очень застенчив и, успокаивая ее, сказал, что это пустяки, что мне важнее всего знать — прочитал ли Бабель мой роман и что он о нем думает.

По свойству своего характера я страдал за Бабеля, может быть, больше, чем он сам. Я проклинал тот час, когда задумал писать «Пыль земли Фарсистанской».

На следующий день Бабель прислал мне письмо с таким количеством похвал по поводу моего романа, что я сразу понял — роман плохой, а похвалы идут за счет истерзанной бабелевской совети. Но все же мне было очень жаль эту погибшую повесть. Поэтому я решил написать ее заново от строки до строки. Такое безумное решение возможно, конечно, только в молодости. В молодости я жил как бы в непрерывном легком опьянении, когда кажется, что одним щелчком можно остановить земной шар. Но все же я понимал величину своего риска. Поэтому и не сказал никому ни слова, а просто сел к низкому подоконнику (это было самое светлое место в моем полуподвале) и начал писать. Прежде всего я восстановил эпиграф из Есенина:

Кого жалеть? Ведь каждый в мире — странник.  
Придет, войдет и вновь покинет дом...

Бабель, как только взял в руки мою рукопись, строго заметил, что такой эпиграф обязывает меня к особой взыскательности и что нельзя походя бросаться эпиграфами и такими именами, как Сергей Есенин.

Я восстановил эпиграф, легко вспомнил первую фразу романа, и случилось нечто поразившее меня самого, — то, что Бабель называл потом «чудом на Остоженке». С точностью зубчатой передачи фразы стали цепляться одна за другую, и нить романа начала распутываться легко и быстро. Тогда я поверил в счастливый конец сказки, где злой король заставляет бедную и нежную девушку распутывать огромные свалявшиеся клубки ниток, обещая за это сохранить жизнь ее любимому.

Через месяц я окончил эту изнурительную работу. Вспоминая об этом, я подозреваю, что был в то время немного сумасшедшим. Если бы сейчас мне надо было восстановить по памяти потерянную рукопись, то я наверняка умер бы от отчаяния перед этой каторжной и непосильной работой.

Вскоре после того, как рукопись была восстановлена, ко мне ворвался сияющий Бабель. Еще с порога он крикнул, что повесть нашлась, — каким-то чертом она завалилась за тяжелый буфет в столовой. Бабель осторожно положил спасенную рукопись, заверну-

тую в газету «Гудок», на стол рядом с моей новой рукописью. Он увидел новую рукопись, снял очки, судорожно протер их, снова надел и подозрительно уставился на меня.

— Что это за штучки-мучки? — спросил он зловещим голосом. — Значит, у вас был второй экземпляр! Так зачем же мы, как идиоты...

— Погодите! — перебил я его. — Никакого второго экземпляра не было. Я написал весь рсман заново.

Бабель схватил мою рукопись и близко поднес к глазам.

— Психопат! — закричал он и засмеялся. — Маньяк! Но, между прочим, после этого события вы можете стать настоящим писателем. Если до тех пор не свихнетесь от своих лирических фокусов.

Он тут же потребовал, чтобы мы сверили обе рукописи. При сверке мы нашли на всем протяжении романа не больше сорока разночтений и пропусков.

— Похоже, — сказал, смеясь, Бабель и снова начал протирать очки, что служило у него признаком волнения, — что хорошая память больше нужна писателю, чем талант.

«Пыли земли Фарсистанской» роковым образом не повезло. Когда в комнате делали ремонт, то маляр растопил обеими рукописями (они лежали в старой папке на столе) времянку, чтобы разогреть столярный клей.

В 1930 году я написал роман «Коллекционер». Можцо коллекционировать что угодно: этикетки от папирос, марки, бабочек, открытки, пуговицы, картины. Можно, наконец, коллекционировать самую жизнь, все интересные жизненные факты.

В романе «Коллекционер» шла речь о человеке, который, стремясь стать писателем, как бы коллекционирует жизнь, свои встречи и отношения с людьми, часто меняет обстановку своего существования, меняет профессии и накапливает таким образом большие запасы наблюдений для своих будущих книг.

В этом романе было, конечно, много автобиографических черт. С «Коллекционером» произошла странная история. Не знаю, хорошо это или плохо, но я сам ограбил свой роман. Даже не пытаюсь напечатать его целиком, я начал вынимать из него отдельные главы и эпизоды и превращать их в рассказы и даже в такие большие повести, как, скажем, «Кара-Бугаз».

«Коллекционер» кончается поездкой героя романа гидрографа Карцева в Кара-Бугаз в качестве участника научной экспедиции. Весь материал о Кара-Бугазе дан в этом романе очень субъективно, очень лично, как наблюдения и размышления человека со-

зерцательного и поэтически настроенного, попавшего в Кара-Бугаз из склонности к легкому авантюризму и к экзотике восточных пустынь. Он воспринимает Восток, как очень резкую и сухую жньопись.

Вот отрывки из романа, которые подтверждают это.

«Эта монотонность сухих и тусклых красок под блеском неба создает впечатление тишины. Пустыня молчит. Горизонт мертв, как может быть мертвым перегоревший в пламени камень. У пустыни светлый и равнодушный цвет верблюжьих глаз».

«В полдень прошли мыс Сагандык. Он распространял черный блеск. Тупой и тяжелый, он исполинским утюгом врезался в море. Ничего более угрюмого я не видел за всю свою жизнь. Даже воздух, даже морская вода должны испытывать здесь одиночество и тоску по зернистым пенистым берегам, где есть маяки, паруса, купающиеся дети».

«Мы окружены молчанием и чистотой первых дней мироздания. Иногда густота красок достигает такой силы, что предметы как бы перестают существовать, а остается одна краска».

«Мы пытались перевести при помощи рабочего-перса надпись на могильной плите. Выходило, примерно, так: «Солнце убьет эту землю, отнимет воду и испепелит под землей даже кости мертвых. Солью затянутся ваши поля, и песком покроются ваши жилища. Ибо каждая страна умирает, как человек, закончивший жизненный путь. Велик аллах, и произволение его полно божественного смысла».

«Карцев понял, что пришло время подвести итог: пустыня и ночь не позволяли мыслям рассеиваться, сжимали их в нем. Воспоминания приобрели такую яркость, что, казалось, звучали».

Достаточно этих отрывков, чтобы понять состояние героя. Но самой удивительной была та резкая перемена в оценке окружающего, которая произошла у меня через два года после того, как был написан «Коллекционер». Когда я писал «Коллекционера», в Кара-Бугазе я еще не был и только слышал о нем. Прошло два года со времени написания «Коллекционера», когда я впервые приехал в Кара-Бугаз, обошел с моря восточные берега Каспия, и внезапно исчезла моя прежняя повышенная склонность к визионерству и к жизни в несколько вымышленных обстоятельствах. Я написал «Кара-Бугаз» — книгу, полную, насколько мне кажется, творческой и героической реальности мужества и любви к труду и жизни.

В глубине души я уверен, что «Кара-Бугаз» не мог бы появиться в том качестве, в каком он существует в нашей литературе, если бы раньше не было наполовину угаданного и вымышленного Кара-Бугаза в «Коллекционере».

Но это вопрос, имеющий отношение к недостаточно ясной психологии творчества и потому останавливаться на нем не стоит. В общем «Коллекционер» дал мне толчок для работы над повестью «Қара-Бугаз». Кроме того, я взял из «Коллекционера» несколько эпизодов. Они превратились в самостоятельные рассказы и даже в главы автобиографической повести, как, например, в главу «Прощай, моя Одесса, славный Карантин» из «Времени больших ожиданий», в главу «Гетман наш босяцкий» из «Начала неведомого века» и в несколько рассказов, в частности в рассказы «Сардинки из Одьерна» и «Средство от проказы». В общем, я даже не пытался напечатать этот роман целиком. Я разобрал его по частям и так напечатал, подобно тому, как земледельцы в засушливых областях разбирают воду из арыков.

Почему я так сделал? Не знаю. Очевидно, из-за мозаичной композиции романа. Он легко распадался на самостоятельные куски. Несколько глав из этого романа было вообще потеряно. Сохранилось только пять глав, рассказывающих о жизни героя в эмиграции и его возвращении на родину. Пять этих глав опубликованы ниже.

Жизнь книг и даже небольших рассказов бывает подчас не только удивительной, но просто фантастической.

В 1932 году я написал рассказ «Соранг» о трагически погибшей экспедиции капитана Скотта в Антарктику. Я знал, что английский капитан Скотт взял с собой русского матроса-сибиряка Василия Седых для того, чтобы управляться с ездовыми собаками. Англичане этого не умели. Рассказ «Соранг» был написан от имени Василия Седых. Я отнес рассказ в редакцию журнала «Тридцать дней». Сейчас многие уже не знают о существовании этого хорошего журнала. В нем печатались только короткие рассказы и очерки.

Редактору «Тридцати дней» Василию Регинину рассказ понравился. Его смущало только то обстоятельство, что действие рассказа происходило в Антарктике и Шотландии.

Воспользовавшись моим отъездом из Москвы, Регинин приписал к рассказу без моего ведома концовку (всего одну, как он потом оправдывался, «невинную фразу») о том, что Василий Седых, вернувшись после первой мировой войны из Шотландии на родину, поступил на работу в Таганрогский порт.

В таком виде рассказ и был напечатан в мое отсутствие. Я мог сколько угодно возмущаться и даже скандалить, но, как говорится, «в пустой след».

Прошло два года после напечатания рассказа, и приехавший из Таганрога журналист рассказал мне удивительную историю. Ока-

зывается, редактор таганрогской газеты узнал из напечатанного в «Тридцати днях» рассказа, что единственный оставшийся в живых участник знаменитой экспедиции капитана Скотта в Антарктику матрос Василий Седых работает в Таганрогском порту. Богатейший и поразительно интересный материал в виде этого человека находился здесь рядом, в Таганроге.

Редактор бросился в порт, но никакого Василия Седых не нашел. Редактор перерыл все портовые архивы, расспросил всех старейших работников порта, но ни один из них не имел ни малейшего понятия о Василии Седых. Розыски в городе тоже не привели ни к чему. Тогда редактор написал «отношение» в Таганрогскую милицию. Он просил разыскать матроса Василия Седых, участника английской экспедиции капитана Скотта в Антарктику.

Милиция взялась за дело быстро и рьяно. Вскоре были найдены два Василия Седых. Один работал весовщиком на какой-то станции около Таганрога, другой оказался не имеющим «определенных занятий» хлопцем из Темерника—окраины Ростова, пользовавшейся дурной славой. Вскоре редактор получил из милиции официальный ответ. Я видел его. В нем буквально сообщалось следующее:

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что нами были задержаны два Василия Седых, но они оба, будучи тщательно допрошены, категорически отрицают свое участие в английской белогвардейской экспедиции капитана Скотта на Кубань».

— Вот, — сказал журналист, — как все переколбасилось! Для объяснения неясных фактов каждый человек берет то, что лежит ближе. Английская экспедиция на Кубань была еще свежа в памяти, а работники милиции не могли допустить мысли, что редактор газеты интересуется какой-то загадочной экспедицией в Антарктику. Они внесли свои поправки в это дело. В общем, в тот же вечер мы освободили двоих Василиев Седых. Это были, должно быть, единственные люди в мире, которые проклинали со всей силой южного темперамента несчастного капитана Скотта и его чертову экспедицию.

Такие то печальные, то анекдотические последствия у самых мирных рассказов бывают не так уж редко. Расспросите писателей. Почти каждый расскажет вам похожие истории.

Я отклонился, конечно, от темы. Это — мой обычный грех. Я просто вспомнил, что судьба рассказов и даже больших романов бывает очень причудлива.

Поэтому я хочу рассказать здесь еще одну историю о Лермонтове, связанную с романом Льва Толстого «Война и мир».

Во время Севастопольской обороны Лев Толстой служил, как известно, артиллерийским офицером на одном из бастионов. Коман-

довал бастионом Столыпин — самый близкий друг и родственник Лермонтова. Толстой жил с ним в одной комнате.

И вот однажды Столыпин (у него осталась часть рукописей и записей Лермонтова) рассказал Толстому о задуманном Лермонтовым большом историческом романе из времен Отечественной войны 1812 года. По всем данным, этот рассказ Столыпина и лег в основу «Войны и мира».

Очень характерна дальнейшая судьба Столыпина — выдающегося русского артиллериста и человека исключительной храбрости. Столыпин ненавидел Николая Первого и считал его виновником гибели Лермонтова. После Крымской войны Николай наградил Столыпина самым почетным орденом для офицера — солдатским Георгиевским крестом. Столыпин отказался принять орден и вернул его царю. За это он был выслан за границу. Он прожил остаток жизни в Италии и там и умер. Предполагают, что где-то в Италии осталось после Столыпина много бумаг и стихов Лермонтова, но их до сих пор не удалось найти.

Вообще о судьбе книг можно было бы написать много, но эта тема требует неторопливого разговора. Поэтому я ставлю точку и скажу всего только несколько слов о своем третьем потерянном романе «Дым отечества».

Роман этот был написан в 1951 году. Так же, как и «Пыль земли Фарсистанской», он был потерян. От него осталось всего несколько глав. Одна из них печатается ниже.

Действие этой главы происходит на юге страны во время последней войны 1941—1945 годов. Герой романа — молодой художник Пахомов, призванный во время войны в армию.

---

## КОЛЛЕКЦИОНЕР

(главы из романа)

### НЕВАЖНЫЕ ГОСТИ

Английский миноносец развернулся бортом и дал залп по Польскому спуску. Карцев видел, как прижалась к домам толпа. В ней было много детей и женщин. На мостовой осталось несколько убитых. От раскрошенного в пыль кирпича шел красный дым.

Карцев так ничего и не понял, — англичане стреляли по своим, по денкинцам, лавой валившим в порт, чтобы грузиться на суда. Потом, в Константинополе англичане оправдывались тем, что дали залп, чтобы остановить панику.

Карцев стоял на палубе «Святого Николая», стиснутый узлами и чемоданами. Матрос рядом засмеялся и сказал тихо:

— Получайте в морду от спасителей. Эх, что делают, браток!

Елену Станиславовну с Вадиком Карцев устроил около машинного отделения. Там было теплее. Около Елены Станиславовны сидел известный одесский писатель Бернер, спрятав лицо в поднятый воротник пальто. Он боялся смотреть по сторонам: по пароходу бродили два офицера с пьяными глазами и искали евреев.

«Святой Николай» стоял на рейде. На пристанях голосила и рыдала тысячная толпа не успевших сесть на пароходы. Из города слышались редкие выстрелы и торопливые срывы пулеметов. Передавали, что Молдавanka занята красными и бой идет уже у собора.

К молу подошел английский легкий крейсер принять последние английские патрули. Толпа ринулась к нему. Английские солдаты, стиснув зубы, били прикладами в грудь обезумевших старых генералов, женщин с детьми на руках, офицеров с пропыленными золотыми погонями.

Хлопнуло несколько выстрелов, толпа шарахнулась, и Карцев видел, как английские солдаты бежали по сходням на палубу, отбиваясь штыками от женщин.

Крик людей был заглушен полновесным ударом грома: дредноут «Аякс» бил по вокзалу. Снаряды проносились над мачтами, как бешеные локомотивы, летящие под откос.

Карцев сел на чемодан, решил, что сейчас советская артиллерия откроет огонь по пароходам и всех их потопит. Он закурил. Кроме усталости, опустошения и христа во рту от пыли он ничего не чувствовал.

Надо было обдумать все спокойно, — прежде всего — зачем он едет? Как будто зря. Вчера вечером, когда он узнал, что большевики подошли к Тилигульскому лиману, он обрадовался. Пять месяцев он прятался от деникинской мобилизации в степи на хуторе и только неделю назад пришел в Одессу.

По улицам отступала к румынской границе зеленая армия тифозных Больные шли, поддерживая друг друга, садились на тротуарах, прислонялись к тумбам и афишным столбам и засыпали. От шинелей их пахло мочой и карболкой.

В городе не было света. Вода едва капала из кранов, а за день до эвакуации совсем иссякла.

Знакомые Елены Станиславовны бежали за границу. Она осталась одна с Вадиком в пустой квартире на Обсерваторном переулке. Она металась и не знала, уезжать ли ей или нет.

— Слушайте, — говорила она Карцеву, — Вадик умрет здесь от голода. Я не умею работать. Если и начну где-нибудь работать, то в первый же день сорвусь. Что же делать, Карцев? А ехать туда с ними (под словами «они» Елена Станиславовна понимала деникинцев) стыдно, ужасно. Они очумели от страха. Они все во вшах, жены их дерутся из-за примусов. Они глупы, Карцев, глупы и невежественны, как бараны. Если бы их не разбили красные, они сами перегрызли бы друг другу горло. «Жиды, жиды», — она передразнила кого-то из офицеров, — «государь-император, матросня, солдатня, шапки, мужичье», — фу, какая гадость!

— Уезжать не надо, — сказал Карцев. — Может быть, вам никогда не удастся вернуться в Россию. По-

думайте. Голод как-нибудь перенесем, выживем. Не вечно же будут война и разгром.

— Правда? — спросила Елена Станиславовна, и на глазах ее заблестели слезы. — Ну хорошо, давайте оставимся.

Она повеселела, но вечером пришел Бернер и сорвал все. Он рассказал, что завтра сдают город, начнется бомбардировка, голод, сыпняк. Жизнь человеческая, особенно детская, будет стоить копейку. Завтра последняя возможность сесть на пароход.

— Надо ехать, горячился Бернер, — Россию зажмут такой блокадой, что вы будете грызться из-за черствой корки. Все слабые вымрут. Вы зарастете грязью, белье на вас истлеет. Все лучшее, что мы воспитывали в себе, будет уничтожено, как старый хлам. На что вы можете рассчитывать? Служить счетоводом и получать нищенский плевый паек? Забиться в нору, обратиться в нуль, в слякоть. Стать таким, чтобы никто вас не заметил, — это будет высшее ваше счастье. Все, что выйдет из ряда, будет уничтожено. Будут преследоваться ум, талант, свобода суждений, даже красивая внешность. Будьте же взрослыми людьми! Что вы мне говорите о родине. Родина, родина! Моя духовная родина — Париж. Я могу riskовать своей жизнью, но я вправе riskовать своим талантом, — он принадлежит не только мне одному. Я еду. И вы поедете со мной. Что за слюнтяйство! Я против денкинцев, против этой оголтелой банды, но что же делать, когда Россия плодит одни крайности. Мы видим только черносотенцев и большевиков. Была же грамотная прослойка культурных, умных людей. Почему же они ни черта не делают, где они?

— Они бегут, как вы, — ответил Карцев.

Елена Станиславовна заплакала. Она совсем растерялась.

— Хуже всего неизвестность, — шептала она сквозь слезы. — Если бы знать, что будет, если бы я была уверена, что Вадик уцелеет, я ни за что бы не уехала. И работала бы счетоводом. И получала бы паек. Зачем вы меня пугаете?

Бернер остался ночевать. Карцев спал плохо, — было очень холодно. За окном испуганно дрожали громадные звезды. К рассвету зазвенели стекла и скучно и устало

начали гроыхать пушки. Потом, как град о жечь, посыпались ружейные выстрелы.

Бернер вскочил. По улице, надрываясь и спеша, шли люди, таща за собою тележки, — их звали «рикшами». Они везли чемоданы и узлы. За рикшами бежали женщины без шляп, в платках, несли детей, ковыляли старики, шли растерянные офицеры. У некоторых погоны были уже отпороты.

Бежали в порт. В порту густо дымили пароходы. Двери в домах стояли настежь. Паника захлестывала квартал за кварталом.

Елена Станиславовна проснулась, наскоро оделась, одела плачущего Вадика, собрала вещи. Карцев пошел в город на разведку. До центра он не дошел, — там уже строчили пулеметы. Бежали вооруженные люди, дворники спешно заколачивали подъезды, и скакали, грохоча и разнося панику, как пламя, дикие обшарпанные обозы.

Когда Карцев вернулся, Елена Станиславовна сказала ему хрипло:

— Я еду. Бернер привел рикшу. Помогите мне снести вещи.

Карцев взглянул на нее: из ее черных зрачков смотрело безумие. Она дрожала и все время поправляла под платком прядь волос. Карцев молчал.

— Я еду! — крикнула Елена Станиславовна. — Вы слышите? Все бегут. Я не могу так! Едемте! Ради бога скорей. Я сойду с ума, я ничего не понимаю, идемте. Не бросайте меня, проводите до порта.

Она взяла салфетку со стола и начала судорожно вытирать пыль с зеркала.

— Почему так много пыли? — сказала она. — Лучше умереть, сесть вот здесь и никуда не двигаться и ни о чем не думать.

— Ну, пора! — крикнул снизу Бернер. Он нагрузил вещи на тележку и завязывал их вместе с рикшей. Вадик — бледный и испуганный — стоял рядом и держался за колесо.

Елена Станиславовна бросила салфетку, рванулась к двери и быстро сбежала по лестнице. Карцев спустился за ней.

Он плохо помнил, как они добрались до порта, как толпа, стиснув его, внесла на палубу, как матросы столкнули сходни с людьми на набережную и рубили топо-

рами канаты. Его толкали, тискали, над головой оглушительно ревел пароходный гудок.

Карцев пришел в себя, когда пароход отвалил от пристани, задыхаясь от ругани, рыданий и детского плача.

Днем пароходы медленно вытянулись на внешний рейд и стали длинной цепью. Идти они не могли, — не хватало угля. Французские миноносцы стояли под парами, пушки были наведены на город. К вечеру прошел слух, что с красными достигнуто соглашение и по пароходам стрелять не будут.

В виду Одессы простояли два дня, пока не подошли из Константинополя транспорты с углем.

Начинался февраль. Море стыло в неестественной синеве. В ней белыми глыбами льда лежали прибрежные скалы и город, где стало тихо и как будто спокойно. Один только раз Карцев слышал отдаленный марш: очевидно, в Одессу входили свежие красные части.

Карцев пытался устроить Елену Станиславовну с Вадиком в каюте, но все каюты заняли французские офицеры. На просьбу Карцева пустить в каюту женщину офицеры посмотрели на него и ничего не ответили. Карцев повторил свою просьбу. Тогда один из офицеров — красавец в пижаме — встал и холодно сказал Карцеву:

— Вы должны находиться на палубе. Когда окончатся эти приставания!

Он отодвинул Карцева ладонью и захлопнул дверь каюты.

— Бульвардьё! — крикнул Карцев. — Животное!

За дверью засмеялись.

К вечеру удалось устроить Елену Станиславовну с Вадиком под лесницей в кают-компани. Там было темно, пыльно, пахло уборной, но тепло. От французских солдат, лежавших вповалку, шел запах шинелей и прогорклого вина. Карцев с Бернером расположились на баке на якорных цепях.

Из Одессы уходили в поздние сумерки. Над берегами стоял туман. На всем лежал налет зимней угрюмости и тоски.

Ночью шли уже открытым морем. Пароход застилал тяжелым дымом звезды.

На второй день открылись берега Босфора. На палубу сыпался мелкий дождь. За пеленой дождя Константинополь ждал неважных гостей из России.

Следующие два дня были ослепительны и печальны. В штиле, в синеве и жаре пароход проходил моря, похожие на озера. Но даже свежесть морских пространств не могла выветрить чада и человеческой вони парохода. Теплые ветры смешивались с запахом пота и сапог, махорки, острых духов и расчесанных тел. Пот стекал по щекам, оставляя струйки серой грязи. Только моряки на мостике сияли до синевы белыми кителями. Они брезгливо управляли обовшивевшей железной коробкой, тупо резавшей воды Архипелага.

Карцев чувствовал себя, как старьевщик, выгребавший помойные ямы и неожиданно попавший в международный салон-вагон. Он был беспаспортным, неуклюжим, бедным родственником Европы. Он знал, что его из милости засунут в какой-нибудь незаметный угол. Он испытывал жгучий стыд и был уверен, что окружающие европейцы тоже стыдятся его, как нищего или сифилитика. Особенно невыносимым это сознание стало в Пирее.

Греция сияла в прозрачной и розовопестрой весне. Зацветал миндаль. Пирей был ярок, как утро. Влажные и теплые улицы, блеск глаз, синие ресницы женщин, цвет волн и серебряные рыбы в плетеных корзинках, улицы, как аллеи из олеандров, наконец, трамвай в Афины, трамвай, где мягкий ветер колыхал полотняные занавески — все это будто снилось.

Хотелось есть. Карцев сошел на берег с Еленой Станиславовной и Вадиком. Они купили у разносчика хлеба и сыру и съели его, сидя на набережной. Вдали были Афины. Над ними стояла желтая полуденная пыль, и Карцеву казалось, что в этой пыли он различает колонны Акрополя.

У Елены Станиславовны разорвался на колене чулок. Она оттягивала короткое платье, чтобы не было видно прорехи, и краснела. Мимо проходили маленькие бронзовые люди в тельниках и, посмеиваясь, смотрели на ноги Елены Станиславовны.

К вечеру пароход вошел в Коринфский канал. При входе на тонкой мачте висели два белых огня. Желтые бесплодные берега тонули в сумерках, багровых от солнца, только что умершего в пыли, поднятой стадами овец. Стало тепло. Карцев лежал на палубе, и полное

отсутствие мыслей доставляло ему радость и казалось заслуженным отдыхом.

Утром пароход начало качать. От Сицилии, от берегов Калабрии бежала шумная волна. В голубизне тумана — прекрасного тумана (такой туман Карцев видел первый раз в жизни) плыл парусник. Он медленно шел по горизонту. Сквозь паруса просвечивали розоватые, пышные облака. В ветре, в морской соли, в ощущении солнца на руках была уже Италия.

Елена Станиславовна поднялась с Вадиком на палубу. Впервые за всю дорогу она улыбнулась. Во мгле открывались страны, едва прорисованные синим и золотым карандашом. Ветер пел в морях, у берегов этих стран, как в раковине, пел, качая парусные корабли, тяжелые от мессинских апельсинов. Ресницы Вадика ветер загибал кверху, дул в его восторженные глаза.

Мир состоял из воздуха, воды и облаков. На облаках лежал отблеск близкого берега — слегка желтоватый, как мрамор, но берега не было еще видно.

Карцев потрогал серые спасательные круги с надписью «Святой Николай», посмотрел на свои лопнувшие ботинки, на Бернера — у него из кармана торчал последний номер одесской газеты «Наш путь» — и не поверил в реальность. Только зеленоватый шарф Елены Станиславовны и ее глаза были сродни тому, что неожиданно открылось вокруг: Средиземному морю, облакам, счастливым странам.

Вечером сорвался шторм. Дул фэн — холодный ветер с Альп. Он порывисто рвал брезент над палубой и гнал тяжелые волны.

— Тоска! — сказал Карцеву Бернер и вздохнул. — Чем вы займетесь во Франции?

— Ботинки буду чистить. А вы?

— Писать. По-французски я пишу не хуже, чем по-русски. Я вырос на Мопассане. Когда я напечатал первый рассказ в «Одесских новостях», один восторженный рецензент прозвал меня «одесским Мопассаном».

Карцев ухмыльнулся.

— Слушайте, Мопассан-Бернер, вам нужен сюжет для рассказа?

— А что?

— Вон, порасспросите того человека без шляпы, он вам расскажет.

Человечек с лицом Шопенгауэра, вправду, был любопытный. Он ухитрился сесть на пароход со своей собакой — старым и беззубым будьдогом. Звали человека Моргенштерн, он был парикмахер. Карцев разговорился с ним в пути, — Моргенштерн оказался мизантропом. Обо всем он говорил едко и зло. Поглядывая на пассажиров, он морщился и пожимал плечами.

— Везут во Францию свои заношенные юбки и грязные носки, — российское воинство, — сказал он Карцеву. Сам он был очень чист, аккуратен, вежлив.

Карцев заметил, что всюду в портах Моргенштерн старался показать, что попал на пароход случайно, что он не эмигрант, а едет в Марсель, где его брат держит хорошую парикмахерскую. Он явно стыдился и побаивался немытых ошалелых офицеров. Попав в беду, они хорохорились. В греческих портах обзывали грузчиков «пиндосами» и «соленой сволочью», а в итальянских грубо издевались над «макаронщиками», вызывая косые взгляды. Они ташили вместе с соломой в давно не чесанных лохмах спертые кислые мысли о великодержавной России, чванились, говорили о хамах-большевиках и спасении родины. Жены их стрекотали, как сороки, и все очень дружно ненавидели одну из пассажирок, называя ее «кокоткой».

Кокотка — вся в желтых буклях и с невероятно подведенными глазами — вызывающе хохотала и попеременно исчезала в каюте то одного, то другого из помощников капитана. Офицеры смотрели ей в спину голодными глазами и вполголоса площадно ругались.

Моргенштерн говорил, что он не понимает — кому нужны эти человеческие отбросы? Зачем их везут, тратят уголь, моряки не спят по ночам, прокладывают курс по карте, посылают радио, — глупо!

Действительно, с офицеров сошел весь лоск. В пустых глазах мигали тысячетнее хулиганство, злоба, дичь. По ночам они храпели, как солдаты в казармах, почесывая сквозь сон животы, а днем ругались и играли в карты, будучи убеждены, что французское правительство обязано приютить их и дать службу. Офицерские жены жалко кокетничали с иностранцами и говорили на отвратительном французском языке, языке институтов и гимназий. Большинство офицеров были кадровые. Офи-

церов военного времени было мало, и держались они в стороне.

Елена Станиславовна каждый раз мучительно краснела, слушая похабные анекдоты и дикие ссоры с обещанием дать в морду. В анекдотах неизменно фигурировал некий всероссийский мученик и ответчик за все Рабинович.

Постепенно на пароходе образовалась группа пассажиров, явно враждебная офицерству: в ней были Бернер, Моргенштерн, Карцев, Елена Станиславовна и молоденький французский солдат-телефонист, севший на пароход в Салониках. Офицеры посматривали на них косо и называли «жидовой», но трогать не решались.

Все это было тем более нелепо, что вокруг было Средиземное море, воздух тропиков, глухой ропот горящих в ночи мировых портов, где их не спускали на берег, — Салоник, Мессины, Неаполя, Генуи. Как бы наивное детство открывалось каждому. Серые сухопутья России, поливаемые скучным дождиком, сменились белыми кубическими домами, волнами, бьющими в пороги рыбацких хижин, рыжими парусами, гортанными криками на незнакомых языках и рассветами, как бы вымытыми в светло-золотой краске. Дожди падали на палубу избытком душистой атлантической влаги. Они были коротки и блистательны. Они уходили в сторону Африки, открывая яркие радуги. Под этими радугами пароход проходил мокрый от дождя, и Карцеву невольно хотелось наклонить голову.

— Это к счастью, — говорил Моргенштерн. Он разговаривал только с Карцевым и Вадиком, да и то редко.

Первая попытка Бернера заговорить с Моргенштерном окончилась неудачей. Но Бернер был цепкий человек. Он знал искусство опустошать собеседников. Он допрашивал их упрямо, долго, не позволяя отклоняться от темы. Он выпытывал самые интимные тайны и делал это как человек, имеющий право все знать. В глазах его загоралось глубокое любопытство. Он мог выкрасть чужое письмо, подслушать, подглядеть в замочную скважину, пойти на что угодно, лишь бы видеть людей в их подлинном и зачастую непривлекательном виде.

Кончилось тем, что Бернер выпытал у Моргенштерна тайну его мизантропии.

Жизнь Моргенштерна сложилась разнообразно. Он

учился парикмахерскому искусству у «самого старика Ровинского» в Чернигове — этом рассаднике парикмахеров для всего юга России. Несколько лет Моргенштерн служил театральным парикмахером в Киеве и Одессе.

Парикмахерское дело научило его проникательности и открыло широкие возможности для размышлений. Моргенштерн узнал, что цвет человеческих волос далеко не ограничивается тремя-четырьмя оттенками (рыжий, черный, золотистый и почти белый). Наоборот, почти всю палитру красок можно подобрать из естественных человеческих волос.

Бернер с изумлением узнал, что у людей бывают фиолетовые и красные, сиреневые и совершенно синие волосы, — все дело только в том, чтобы кропотливо и умело выбрать из волос жгучего брюнета десять — двадцать синих волосков, а из волос рыжего — два-три волоска цвета киновари.

Моргенштерн вынул из бумажника картонку и показал Бернеру. На ней были наклеены пучки волос почти всех цветов спектра.

— Во-первых, — объяснил Моргенштерн, — вы видите отсюда, что человека мы еще плохо знаем, несмотря на всю ученость разных профессоров и докторов. Во-вторых, из человеческих волос можно делать гобелены, открыть даже целую фабрику и нажить капитал. Вы попробуйте, какой это товар. Он не гниет от воды, не рвется, не сохнет. Кости ваши рассыплются в золу, а волосы будут жить.

Моргенштерн тянул волосы, рвал их, комкал и удовлетворенно улыбался.

— А что было бы, если бы волосы не сгорали от огня? — спрашивал он. — А было бы вот что: каждое поколение, умирая, оставляло бы на земле тысячи пудов волос, и через миллион лет земля задохнулась бы от этих волос. Одно счастье, что волосы перегорают от солнца.

— Кошмарный человек! — восхищался Бернер. — Это не парикмахер! Это Эдгар По!

Будучи театральным парикмахером, Моргенштерн воспринимал все окружающее несколько театрально.

— Каждый, — говаривал он, — на семьдесят процентов валяет в своей жизни дурака, как артист на сцене. И только на тридцать процентов бывает стоящим человеком. И это, знаете, довольно противно.

В театре Моргенштерн познакомился с маленькой артисткой Сербской. Она танцевала. У нее были волосы цвета моркови, и она называла Моргенштерна «кулфетром». Моргенштерн полюбил ее, потом они поженились.

Сербская предпочитала брак легкий, светлый, непрочный, как яркие декорации, и полный тайн и измен, как старинный французский водевиль. Моргенштерн же, как истый ремесленник, любил некий почти диккенсовский уют семьи. Ему мерещились пылающие каминные зимние метельные дни, чистые стаканы с крепким чаем, мелодичный голос жены и ее теплые руки, завязывающие ему галстук. Понятия были несовместимы. Естественно, что через год Моргенштерн начал ревновать. Танцоры с синими глазами, актеры, говорившие на чудесном московском языке, таинственно мелькали вокруг Сербской, и смех ее становился все более беззаботным.

— Штерн, — говорила она парикмахеру, — перестань, пожалуйста, вздыхать по мне. Живи весело.

Но Моргенштерн весело жить не мог. Однажды вечером Сербская вернулась поздно. Когда она раздевалась, Моргенштерн увидел, холодея от злобы, что на ней нет лифчика. Он ничего не сказал. Утром, одеваясь, Сербская вынула лифчик из своей сумочки. Когда она вышла на кухню приготовить кофе, Моргенштерн схватил сумочку и перерыл ее. Ничего подозрительного в ней он не нашел, кроме большого незнакомого ключа.

Моргенштерн взял ключ и вышел на улицу. Это было в Киеве. Он пошел в театр, списал у администратора адреса всех артистов и отправился в поход по городу, — в крестный и страшный поход. Он обошел все адреса. На цыпочках он подкрадывался к чужим дверям и осторожно пробовал, не подходит ли к ним ключ. Он рисковал быть пойманным, как вор на месте преступления.

Он обошел весь этот проклятый город, — от чолорных заросших каштанами Липок до зловонного Подола. Наконец, уже вечером на Лукьяновке в трехэтажном красном доме ключ подошел к дверям танцора Володиной. Это был юноша немногословный, с лицом бледным от пьянства. Состязаться с ним Моргенштерн не мог и не хотел, — к Володину он всегда чувствовал тайную симпатию.

Моргенштерн не вернулся домой. Он пошел на при-

стань и сел без билета на пароход. Контроль поймал его в пути и выкинул на берег в Черкассах.

Началась горькая и нищая жизнь. В конце концов пришлось за гроши рыть могилы на еврейском кладбище.

В Черкасы приехала из Киева на гастроли труппа, где работала Сербская. Моргенштерн пошел на галерку. Когда Сербская появилась на сцене, он оглушительно засвистел. Его вывели, а на улице к нему подошел бледный Володин и дал пощечину.

Моргенштерн пошел на пристань. Мутная днепровская вода казалась ему единственным исходом. У него не было злобы ни на Сербскую, ни на Володина, ни на людей, ни на свою жизнь. Хотелось только спокойствия и слез, но ни то, ни другое не приходило.

Моргенштерн подошел к краю пристани, сел, свесил ноги и решил считать до сорока, а потом спрыгнуть в воду. Когда он досчитал до тридцати, кто-то ласково поцеловал его руку, которой он упирался в настил. Моргенштерн вздрогнул и оглянулся: старый бульдог лизал ему руку и смотрел так, будто просил Моргенштерна не делать безумных и непоправимых поступков. Полпросто бульдог был голоден и просил есть. Моргенштерн встал и пошел в город. Бульдог плелся за ним. С этого дня Моргенштерн стал мизантропом.

Бернер вполне удовлетворился историей Моргенштерна.

В Марсель пришли ночью. Неподвижным водопадом огней он лился в море. На палубу долетал непрерывный рокот, будто тысячи автомобилей мерно шли по необъятному шоссе, — это шумел порт. В запахах угольного дыма врывалась свежесть только что политых садов. Лебедки визжали, как проститутки, избиваемые в дрянных кабаках. Было сумбурно. С неба накрапывал тяжелый черный дождь. Офицеры притихли.

Ночью Карцев слышал сквозь сон отдаленный звон колоколов, судя по звуку, серебряных.

Когда Карцев проснулся, палуба почернела от росы. Над гигантским городом, над желтыми тушами пароходов, над ржавыми бортами и зеленой водой разгоралась серая тишина — французское утро.

Серебря воду, бесшумно прошел около борта парус-

ный бот. От него пахло рыбой. На парус была нашита черная надпись.

Молоденький солдат-телефонист, славший рядом с Карцевым на палубе, проснулся, поглядел на бот и прочел вслух название бота:

— «Гюи де Мопассан».

## СЛОМАННЫЙ АВТОБУС

Марсельское лето дозревало, как желтый плод. Пыль висела в воздухе невесомым дымом.

Карцев — худой и коричневый, как айсор, — сидел у дверей парикмахерской и чистил ботинки. В парикмахерской работали старший и младший Моргенштерны.

Вентилятор высасывал на улицу запах розовой воды и одеколona. Этот запах отбивал у Карцева аппетит, он ел мало и неохотно. Есть мешала, кроме того, тоска — не зимняя, сырая, а летняя — ленивая и лишенная мыслей.

Елена Станиславовна с Вадиком и Бернер уехали в Париж. Писем от них не было.

Моргенштерн-старший помог Карцеву заняться чисткой ботинок и выхлопотал ему место около своей парикмахерской. Это был жирный и скучный человек со множеством брелков на бабьем животе. Он наломал банкира из плохой оперетты. Пухлые его руки потеряли живость и цвет от постоянного мытья и хинной воды.

Он брил клиентов, оттопырив губы. Жесты его были закончены до отвращения. В своей голове он хранил вороха новостей и анекдотов, но сам был к ним глубоко безразличен: анекдоты требовались клиентам. Он знал секрет мужской красоты: гладкого бритья, освеженной головы, румяных от массажа щек, но говорил, что от самого красивого мужчины, выходящего из парикмахерской, все же пахнет гнильцой.

Вечером он надевал новый котелок и шел домой, поигрывая брелоками. Среди них были фальшивые неаполитанские камни, серебряная лошадиная морда, женская ножка из меди и крошечные ножницы.

Карцев прощался с ним, прикасаясь загорелой рукой

к кепке. Моргенштерн-старший взглядывал на него усталыми осуждающими глазами и медленно удалялся, постукивая по тротуару толстой тростью.

Моргенштерн-младший погрузился в бездну жесточайшей мизантропии. Перед закрытием парикмахерской он долго и медленно мыл руки, — ему казалось, что половина клиентов больна венерическими болезнями. После мытья рук он тщательно рассматривал перед зеркалом свои глаза, отворачивая веки. От одного из клиентов он узнал, что венерический яд, попав в глаза, может вызвать трахому. Выходя, он бросал Карцеву:

— Сколько франков?

Карцев машинально подносил руку к кепке и устало отвечал:

— Шесть.

Бывали дни, когда он говорил еще более устало:

— Десять.

— Бон! — говорил Моргенштерн и удалялся вслед за братом в их холостую квартиру, где его ждал бульдог. Моргенштерн-старший и Моргенштерн-младший жили вместе, но из парикмахерской всегда уходили врозь и никогда друг с другом не разговаривали.

Иногда с Моргенштерном-младшим приходил бульдог и ложился у порога парикмахерской. Он тяжело дышал и одобрительно поглядывал на Карцева. На женщин, когда Карцев чистил им туфли, бульдог рычал.

Карцев поселился недалеко от парикмахерской, в узкой улице. Из узкого окна его комнаты был виден порт. По утрам Карцев подходил к окну. Обтираясь мокрым полотенцем, он осматривал порт, как владелец. Он узнавал почтовые пароходы «Мессажери Маритим». Они лежали в теплой и сорной воде, как желтые киты. Карцев взглядывался в незнакомые трубы с синими звездами и яркие флаги Аргентины и Бразилии.

Потом он прочитывал в газете смехотворный отдел новостей в России, портовую хронику и шел к парикмахерской. Первым приходил Моргенштерн-старший, и Карцев чистил его коричневые туфли, раздавленные тяжелым телом. Потом прибежала маникюрша Жаннета Фишмар с длинными и улыбающимися по профессии глазами и подходил Моргенштерн-младший. Последними приходили подмастерье Абрам, похожий на удив-

ленную и воспитанную овцу, и восторженный мальчик Додя. Начинался трудовой день.

Карцев чистил. Больше всего работы было утром и часов в шесть вечера. По ногам, не подымая глаз, Карцев научился различать клиентов — скупых от щедрых, альфонсов от трезвых отцов семейств, кокоток от продавщиц. Руки его пахли скипидаром и воском салонных кремов, ногти были в подтеках лака, гигантские рыжие щетки с одинаковым рвением брали в пушистый плен остроносые ботинки мужчин и игрушечные туфли женщин. От туфель исходил легкий запах жары и помады. У некоторых девушек были очень стройные ноги. Солнце просвечивало сквозь легкие платья. С такими девушками Карцев охотно болтал. Некоторые, пока Карцев чистил им туфли, пудрились и обменивались улыбками через витрину парикмахерской с отражениями мужчин.

Однажды на ящик опустился тяжелый солдатский ботинок. Карцев поднял голову, — перед ним стоял молоденький солдат-телефонист из Салоник. Разговорились.

— Как живем? Как насчет подружек? — спросил солдат.

Карцев ответил, что подружки у него нет. Солдат с сожалением свистнул.

— Ну, возьми хоть вон эту, — он показал Карцеву через витрину парикмахерской на Жаннету Фишмар. Она улыбалась им, как кинозвезда. Солдат щелкнул пальцами, порылся в кармане, хотел заплатить, но Карцев толкнул его в живот и от денег отказался.

В полдень Карцев задремал. Додя брызгал вокруг ящика водой из стакана, — вода испарялась на глазах. Тени платанов колебались от горячего тока воздуха. Деревья не давали никакой прохлады. Сотни витрин, лакированных автомобилей, стаканов в кафе, наконец, море — все это горело тысячами маленьких солнц.

Карцев просыпался в испарине и шел к соседу — торговцу водой — выпить стакан оранжаду со льдом. Оранжед пылал, как жидкий янтарь. Карцев тянул его через соломинку. От чудесного холода ныли зубы.

— Бон! — говорил он, возвращаясь на свое место, и закуривал папиросу.

В свободное время он разглядывал прохожих. Он

определял их национальность, их занятия, их характеры. Это доставляло ему наслаждение.

К пяти часам жара настаивалась, как крепкий чай. Было тяжело дышать. К шести часам намок на прохладу пробегал по улицам, и головкружительные облака, похожие на маленькие острова в океане, покрывались красноватым пеплом. Это предвещало вечер. Тени удлинялись, блеск витрин делался ярче, а улицы шумели мягче.

Потом откуда-то по асфальту разливался запах недавно срезанной гвоздики и лимонов. Карцев стряхивал с себя дремоту, зажигал над ящиком электрическую лампочку и готовился к работе, — начался вечерний сезон.

Вечером он не видел клиентов. Полируя ботинки красной бархатной лентой, он прислушивался к пронзительным ссорам цветочниц и гулу голосов из кафе. Ночные разговоры были так же непохожи на дневные, как дневные и ночные платаны. Ночью в свежей гуще платанов начиналась неясная жизнь, будто деревья готовились ко второму цветению. Ночью они были так загадочны, что Карцев несколько бы не удивился, если бы утром на одном из них расцвела магнолия.

В море гудели пароходы. Авто, шурша и насмешливо переключаясь сиренами, несли в порт узкие лакированные чемоданы, дам с бледными лицами, затененными полями шляп, и безразличных мужчин. Марсель не обращал на них внимания. Он дышал и пьянел близким воздухом Ниццы, Испании, Африки.

Карцев поймал за руку Жаннету, когда она выбегала из парикмахерской. Он почистил ей туфли и предложил пойти в кафе. Жаннета расхохоталась ему в лицо, но согласилась.

В кафе они были недолго. Чтобы проветриться, они ушли в черный парк, где Карцев исцарапал руки о кактусы. Синим бисером сквозь гущу агав просвечивал город. Вокруг сплошными стенами чернела зелень. Жаннета взяла руки Карцева и прижала их ладонями к своим бедрам, — под шелковой тканью Карцев почувствовал горячее и крепкое тело. Дешевые коктейли, выпитые в кафе, ударили в голову. Глаза и губы Жанкеты оказались влажными и девственными. Он откинул ее голову и

поцеловал в губы. Гудок океанского парохода заглушил деланный вскрик Жаннеты.

В полночь Карцев проводил Жаннету домой, к папаше Фишмару. Жаннета прижималась и болтала. Она предложила Карцеву переночевать у них. Папаша Фишмар был, по ее словам, сумасшедший старик, пьяница и благер, — ночевке Карцева он не придаст никакого значения.

— А что он делает, ваш папаша Фишмар?

Оказалось, что у Фишмара было две профессии: одна явная — маркера в биллиардной, а другая — тайная и хитрая профессия, — Фишмар поставлял женщин в веселые дома. Карцев колебался, но ночевать пошел к Жаннете. Она уложила его на диване.

Папаша Фишмар пришел поздно, разбудил Карцева и долго его разглядывал с веселым недоумением. Его сияющее лицо дышало благодушием. Густой запах абсента сопровождал каждое слово.

— Недурно, молодой человек, — сказал он Карцеву. — Для начала неплохо. Что же будет дальше?

— Дайте мне спать, — сердито пробормотал сквозь сон Карцев. — Я муж Жаннеты.

Старик засвистел, пошел за ширму и крикнул оттуда:

— Я не дам вам спать до утра, будь вы любовником хотя бы самой Мистангетт.

Он выполнил свою угрозу. Всю ночь он посвящал Карцева в тайны своего ремесла. Говорил он шепотом, чтобы не разбудить Жаннету. Плоская склянка с абсентом появилась только к утру. Старик пил и трезвел с каждым глотком.

Карцев знал, что здесь любовь котировалась на черной уличной бирже, как котировается водка. Женщина расценивалась, как резиновая кукла для наслаждения.

Из всех пороков папаша Фишмар умел извлекать деньги. Он знал многочисленные виды любви и говорил о них так, как товаровед говорит о качестве и ходкости своих товаров.

Он показал Карцеву записную книжку. В ней были адреса десятков женщин — от аристократок до служанок кафе. Против каждого имени стояли значки — крестики, кружки, квадраты. Папаша Фишмар с гордостью сообщил, что у него тридцать разных значков. Эти значки говорили о разных способах любви, какими в совершен-

стве владела каждая из отмеченных женщин. Тут же стояла цена — от 100 до 10 франков. В зависимости от цены папаша Фишмар получал комиссионные, но не с мужчин, а с женщин. Он честно давал заработать.

Карцев сидел за столом и в упор смотрел на старика. Сизые жилы на лице Фишмара пульсировали гнилой кровью.

— Марсель! — воскликнул старик хриплым шепотом. — Это школа любви. Если бы не абсент, я разбогател бы на этом деле. Правительство должно открыть в Марселе акционерное общество по торговле любовью. Это было бы верное дело. Сам папа римский купил бы пакет акций. Меня бы назначили экспертом в этом обществе, молодой человек. Мои познания получили бы должную оплату. На эти деньги я воспитал бы иначе Жаннету. Ей не пришлось бы чистить траур на ногтях бездельников и красить их в красный цвет.

— Жаннета ваша дочь?

— Приемная, — ответил старик. — Вы ее четвертый любовник. Она не слушается меня. Ей нужно выйти замуж за тихого человека и жить в Грасе, где много цветов и чистенькие дома. Ей нельзя волноваться, — у нее плохое сердце. Ей нужно много молока, свежего воздуха и ребенка. Она бы его купала в саду на солнце. В ванночку надо подсыпать немного померанцевого цвету, — говорят, это очень полезно для малышей, а?

Светло. В туманной синеве зазвонил церковный колокол.

— Нотр-Дам де ля Гард, — сказал старик и подмигнул Карцеву. — Пусть звонят, ничего не поможет. Мне попался один бездельник, пылавший греховной страстью к статуям. Я подкупил сторожей, и его пустили вечером в церковь. Он провел ночь с самой непорочной женщиной в мире. Ничего, пусть звонят. Мадонна тоже женщина, молодой человек, не правда ли?

Старик бормотал все тише, потом положил голову на жилистые лапы на столе и уснул.

Карцев вышел, осторожно прикрыв дверь. На чугунной лестнице пищали крысы. В утро Карцев вошел, как в холодную воду, — его знобило.

Он брел по улицам, населенным проститутками. Из-за ситцевых занавесок слышался храп и шел запах паленых волос и резких, как нашатырь, духов. Толстые женщины

звали Карцева из окон. Жесты их были бесстыдны и равнодушны.

Карцев свернул в переулки. Он вспомнил девушек со стройными ногами, свежий запах их тела, их платьев. Мысли об утренней чистоте, об иной любви — солнечной, полной легкости и смеха, — о дружбе и человечности — смешной, наивной, но великой человечности — бродили у него в голове.

За церковью Нотр-Дам де ля Гард небо было вызолочено ранним рассветом.

Жаннета с ее круглыми коленями оказалась глухой, но олытной девчонкой. Карцев морщился от жестокого отвращения ко всему, — и к Марселю, и к затхлым комнатам за шторами, и к мизантропу Моргенштерну, и к собственной мягкости.

В своей комнате он распахнул окно, лег и укрылся дырявым пледом. Засыпая, он решительно сказал портрету маршала Жоффра, висевшему на стене:

— Довольно плыть по течению!

Жоффр смотрел из-под насупленных бровей свинцовыми и глуповатыми глазами старого служаки. Вряд ли он что-нибудь понял.

На свое место в парикмахерской Карцев пришел только в полдень. Он поминутно засыпал и прэсыпался от перебранки торговков. Ему приснилось так много снов, будто он весь день шатался по фантастической стране. Он запомнил только готические соборы цвета сливочного масла. В них гудели военные оркестры, наигрывая колониальные марши. Офицеры в красных брюках распространяли запах фиксатуара, а девицы, похожие на Жаннету Фишмар, показывали розовые язычки смущенным прелатам. Над соборами, прелатами и девицами летали стаи жирных египетских голубей. Птичий помет капал на блаженные лица святых, и солнце обливало город душным гранатовым соком. Карцев просыпался и вытирал пот.

Моргенштерн-старший, уходя из парикмахерской, сказал Карцеву:

— У брата несчастье. Издохла собака. Зайдите, может быть, вам удастся его успокоить.

Он приподнял котелок и удалился.

Вечером Карцев пошел к Моргенштернам. В их квартире стоял запах застарелых холостяков. На стенах ви-

сели лакированные пейзажи. На столах, покрытых красными бархатными скатертями, валялись растрепанные журналы из парикмахерской и жесткие глянцевитые воротнички, пожелтевшие от старости.

Труп бульдога лежал на вытертом плюшевом диване. Моргенштерн-младший сидел около и отгонял салфеткой мух. Глаза его пожелтели, серая щетина торчала на небритом кадыке.

— С этой собакой, — сказал он Карцеву, — кончается целая жизнь. Боже мой, какой я старый! Я только сейчас это сообразил. Я тоже скоро умру, меня положат на диване, и брат будет отгонять мух от моего лица. Хорошая картинка, не правда ли?

— Надо его закопать, — сказал Карцев.

— Что вы! — Моргенштерн замахал руками. — Я хочу его похоронить в море. Мы с вами пойдем в порт и бросим его с пристани в воду. Прошу вас, проводите меня.

Моргенштерн-старший пожал плечами: он впервые видел таких глупых людей.

Труп бульдога Моргенштерн-младший запеленал в полотенце и завернул в газету. Ему трудно было его тащить, он задыхался. Карцев сжалился над ним и, содрогаясь от противного холода, проникавшего через газету, взял труп и понес его.

В порту былолюдно, и они долго ходили по набережным, выискивая пустынное место. Наконец Карцев решил, раскачал пакет с трупом и бросил. Он тонул очень медленно, белея под водой газетной бумагой.

Через минуту их задержала портовая стража. Прохожие видели, как они бросили в море большой и тяжелый пакет, и донесли полицейским. Моргенштерн-младший объяснил, что они бросили труп собаки, завернутый в газету. Это объяснение не только не успокоило, но еще больше разгневало стражу. Она хорошо знала эти уловки: бросают труп ребенка, а говорят о бульдоге или протухшем гусе.

Карцева и Моргенштерна отправили в полицейское бюро. Карцев злился. Каждое слово Моргенштерна, каждый жест казались ему трусливыми и жалкими.

— Вы идиот! — сказал он Моргенштерну, когда их посадили в общую камеру. Карцева охватила ярость. — Ваше жизненное призвание — откармливать псов, класть

им компрессы на живот и считать, сколько раз за день они поднимают лапу около уличных тумб. Кретин!

Моргенштерн удрученно молчал. Дежурный по бюро пообещал, что их не выпустят, пока не разыщут пакет. Он утешал их тем, что они бросили его на мелком месте и найти бульдога не составит большого труда.

Сидеть было скучно. К вечеру в камеру привели партию пьяных и среди них — папашу Фишмара. Он несколько не удивился встрече с Карцевым. Наоборот, он достал где-то закуску и бутылку абсента, и они выпили втроем.

Фишмар рассказывал Карцеву о своей родине — Арле. По его словам, это был один из лучших городов Франции. Тучные виноградники окружали его тяжелым поясом. Папаша Фишмар мечтал поехать в Арль на время сбора винограда, когда листва делается красной, а женщины податливы.

— Арльский воздух лучше вина, — божился Фишмар, и пьяные слезы капали с его рыхлого носа. — Арльский воздух надо вдыхать, молодой человек, так, как красавицы нюхают букеты. Арльское солнце лучшее в мире. К нам в Арль приезжал один художник из Парижа. Говорят, он был расстрига-аббат. Он нарисовал меня на винограднике. Я вышел без уха, но это неважно. Весь Арль его боялся. Он делал чудеса, сударь. От его картин так и разило вином и солнцем. Он был пьяница и лгун, этот бывший аббат. Я с ним очень сдружился.

Утром труп бульдога был благополучно вытасен из воды, и Карцева с Моргенштерном выпустили, взяв с них штраф «за засорение портовых вод». Карцев пошел домой, мечтая выспаться, но дома застал письмо от Бернера.

«Елена Станиславовна, — писал Бернер, — серьезно больна. Ей предстоит тяжелая операция. Во имя вашей дружбы вы должны приехать в Париж и повидаться с ней. Это ее просьба».

Карцев прочел письмо, лег на койку и закрыл глаза.

— Во имя вашей дружбы, — повторил он бессмысленно, и глухое волнение охватило его.

Была ли дружба? Было большее, — только теперь он понял это. Было содружество, легкое и безболезнен-

ное прикосновение к ее горестям и смеху, к ее слезам и радостям.

Карцев редко думал о любви. Вернее, он ее боялся. В этом были виноваты романтики. С детства он увлекался ими, и любовь в его представлении была рыцарством, роком, тем, что в старые времена называли судьбиной. Он думал, что любить таких женщин, как Елена Станиславовна, могут только люди, обладающие особым талантом жизнерадостности и простоты. Себя же он считал человеком угрюмым и скучным и подчинялся судьбе.

Письмо взволновало его. Впервые появилась мысль, что, может быть, она думала о нем все это время. Карцев вскочил и пошел в городское бюро взять билет. Поезд отходил вечером.

В вагоне он много курил. За окнами проносились черная Франция, прорезанная огнями скорых поездов и лентами туманных рек.

На рассвете поезд ворвался в шуршание дождя, в тесноту увядающих предместий — начинался Париж. Карцев отворачивал от соседей лицо. На глазах его стояли слезы.

Париж расцветал в сером и теплом дожде, как новая родина, как город, полный пафоса и радости, тоски и книг Анатоля Франса, Флобера и Мопассана. Все страны были перепутаны здесь, и история вздымалась на перекрестках позеленевшими квадригами скачущих коней.

Париж слышал голоса Вольтера и Марата, Ронсара и Рэмбо, Наполеона и Леконта де Лиля, Бергсона и Мюрже. Блеск имен ослеплял. Имена звенели, как трубы. Пышность Версаля превращалась из представлений в реальность. Ветер врывался в окно вагона, и воздух был напитан запахами всех стран, всех побережий и всех океанов.

Карцев думал о Елене Станиславовне. Ему казалось, что Париж хранит в себе, как ни один город в мире, опасное и пленительное женское начало. Нигде голоса женщин не звучат так волнующе, как в Париже. Нигде шорох тканей не бывает так явственно слышен.

Тысячи мелочей сливались воедино, создавая облик этого города. Париж рождал восторг — не трескучую и слезливую экзальтацию, а сдержанный, действенный и

слегка печальный восторг, расцветающий в сердце, как память в детстве. Карцев пожалел, что он не художник и не писатель. В этом городе можно было создать потрясающие, неслыханные вещи. Как дождь для травы, так Париж был нужен измученному существованием и сомнениями мозгу. Был ли это наркоз? Понять было трудно, да Карцев даже и не пытался это понять.

Взволнованный и печальный, Карцев пересек весь город и нашел чопорный особняк, где жила сестра Елены Станиславовны.

Он позвонил. Дверь открыла старая служанка. Карцев спросил ее о Елене Станиславовне, но служанка закрыла рот концом теплого платка, и из глаз ее потекли слезы. Она смотрела на Карцева и молчала, — так смотрят на мужа, боясь вымолвить застрявшие в горле слова, что жена его умерла.

— А где Ванда Станиславовна? — тихо спросил Карцев.

Служанка покачала головой и хрипло ответила:

— В больнице. Только мальчик здесь.

Она открыла дверь в холодную комнату. В окнах стоял туман. Было сумрачно. Вадик сидел на полу и чинил сломанный автобус из фанеры. Он поднял голову, узнал Карцева и виновато улыбнулся.

Карцев подошел, поцеловал мальчика в голову и спросил тихо:

— Что же ты не уберег маму?

Вадик ничего не ответил. Крупные слезы закапали на крышу автобуса. Он судорожно дышал и плакал безмолвно.

Карцев выбежал из дому. Париж показался ему страшным.

## **ИНСТИТУТ ВИТАЛЛОПАТИИ**

Вокзалы, где эловыми арфами пели под стеклянным небом дебаркадеров голубые шары фонарей. Дым каменного угля убивал дым весны. Залы третьего класса еще пахли йодоформом, войной, солдатскими шинелями.

Перекрестки путей соединяли людей на четверть ча-

са, чтобы потом разлучить на всю жизнь. Голубой норд-экспресс ревел мимо Карцева маслянистым снарядом. Стены вокзалов глухо дрожали. Локомотивы-танки рвали воздух многоголосым криком. В стеклах вагонов отражались кривые карусели городских огней. Париж, Кельн, Данциг, — поезд приближался к знакомой с детства Польше.

Испытания окончились. Концом их была Россия. Карцев напрягал всю свою волю, чтобы забыть Францию. В дороге он почувствовал приближение старости. Все новое, что он ощущал, он упрямо приписывал близкой старости, — и молчаливость, и бессонницу, и дремоту в вагоне, когда поезд мчался по великолепному мосту через Рейн. Карцеву было лень подняться и посмотреть за окно, на эту реку, густо смазанную, как липким сиропом, человеческим восхищением.

Рейн как Рейн! Лишь бы скорее Россия, теплые по вечерам мостовые Москвы, розовая дымка над Кремлем и желтая луна над заросшими прудами.

Случайности прожиты. Будущая жизнь казалась разумной и свежей, как значительный разговор.

Но последняя случайность все же подкараулила Карцева. Она появилась в Люблине в виде старого и мудрого еврея в картузе. Звали его Давид Кур. Он был сапожник и комиссионер.

Он появился в Люблине, в городе, задыхавшемся от сирени и тишины. Там путешествие Карцева невольное прервалось. Дальше была пограничная полоса — «восточные крессы» — и надлежало действовать осторожно и медленно, чтобы перейти границу.

Давид Кур был «мастер из Варшавы». Он чинил ботинки, подбивая их шестигранными медными гвоздями. Кроме того, он доставлял в богатые еврейские дома лучшую пейзаховку, американскую мацу, английский габардин по дешевой цене и фарфор заводов Гарднера.

За хорошую плату Кур брался переправить Карцева на советскую сторону. Но сделка сорвалась. Кур запросил 900 злотых, а у Карцева было только 600. Но Кур был надоедливый и предусмотрительный еврей. Он ценил в клиенте не только деньги, но и его возможности.

Он расспросил, что Карцев умеет делать. Из всех

выложенных на выбор профессий и качеств Кур выбрал две: знание французского языка и умение писать на машинке.

Он свел Карцева со своим племянником Файнштейном. По словам Кура, Файнштейн служил в солидной медицинской фирме. Карцев решил, что эта фирма будет его последним испытанием.

Файнштейн был рыж, угрюм и недоверчив. Он носил розовую рубашку под зеленым пиджаком. Он прежде всего потребовал документы Карцева и покачал головой, когда узнал, что нет визы на въезд в Россию. Он осмотрел Карцева с головы до ботинок и грубо спросил:

— Эмигрант?

— Да.

— Мы платим хорошие деньги при условии хорошо работать и поменьше болтать.

Карцев кивнул головой, — ему было все равно. Любыми путями он должен был выбраться из Польши.

— Будете работать, — сказал Файнштейн, — в институте виталлопатии. Слово «виталлопатия» означает лечение путем использования жизненных сил. Наш институт имеет медицинское направление. Мы заочно лечим больных от всех болезней. Будете писать на «Ремингтоне» ответы больным. Каждый пациент имеет свою карточку. Приведите эти карточки в порядок.

Институт виталлопатии находился в еврейском квартале «гетто», во втором этаже угрюмого средневекового дома. Вывески у института не было. В комнатах стояла бамбуковая мебель с красными плюшевыми сидениями, американские дешевые бюро и пыльные фикусы, как в квартире у захолустного зубного врача.

Две комнаты назывались «секретными». В одной Файнштейн составлял загадочные лекарства, а в другой сидел высокий кривоглазый джентльмен в подтяжках — мистер Бройде, директор института. Его полагалось звать мистером и считать американцем, так как Бройде несколько лет жил в Соединенных Штатах. В институте было очень тихо. Тишину нарушали только звонки почтальона, приносявшего денежные переводы.

Раз в месяц — не чаще, чтобы не мозолить глаза властям, — институт печатал в газетах громадное объявление. На нем был изображен изможденный чело-

век с могучим торсом, борющийся с удавом. Вокруг человека сверкали жирные молнии.

Объявление начиналось многообещающими словами:

«Если вы страдаете тайными болезнями и пороками, бессонницей, упадком сил, потерей жизнерадостности и половым бессилием — пришлите нам письмо с подробным изложением симптомов вашей болезни и приложите две почтовые марки. Диагноз вашего страдания будет поставлен заочно лучшими профессорами Берлина, Варшавы и Вены. Вам будет сообщен несложный способ лечения.

Наш институт не преследует коммерческих целей. Его задача — помощь страждущему человечеству. Мы имеем тысячи благодарственных писем от людей, которым мы вновь открыли все радости жизни. Ваше имя и болезнь будут сохранены в тайне».

Внизу были напечатаны выдержки из двух-трех благодарственных писем и стоял скромный адрес института.

Изредка в институт вызывали старого и жалкого доктора Арцишевского. Он был на жаловании. От него требовался диагноз запутанных болезней в тех случаях, когда Бройде и Файнштейн не могли разобраться сами.

Арцишевский молча писал изложение болезни паутиным старческим почерком и, пока Карцев переписывал его, сидел в глубоком кресле, молчал и курил папиросу за папиросой. Серые и добрые его глаза с кровавыми жилками смотрели за окно, где над белыми костелами Люблина вспухали сдобные облака. Он брал у Карцева переписанный диагноз и, не читая, прикладывал к нему свою печать. Он избегал смотреть в глаза и быстро уходил прихрамывая, опираясь на суковатую палку.

В институте было строгое разделение труда. Карцев писал ответы венерикам и всем клиентам, страдавшим «тайными пороками». Чахоточным писала ответы панна Станислава, а остальные — панна Люся.

Панна Станислава и панна Люся были противоположны, как зима и лето. Панна Люся ходила в ярчайших красных шелковых кофточках, говорила оглушительным голосом, и из-под ее короткого платья всегда торчали могучие колени, затянутые в тугие чулки, как в

гусарские лосины. После службы ее встречали у ворот шумные приятельницы и приятели, и она уходила обедать в соседний ресторанчик.

Панна Станислава очень редко поднимала глаза от машинки. В ее туманных и больших зрачках явственно отражалось небо. Ее ресницы казались искусственными, вокруг глаз лежала синева, но говорила она низким голосом. От ее старенького заштопанного платья пахло дорогими духами. Она прекрасно знала французский язык. У нее был испуганный вид. Изредка она кашляла, закрывая рот маленьким платком.

По румянцу на щеках и влажности глаз Карцев безошибочно поставил ей диагноз: туберкулез и набожность. Казалось, панна Станислава могла умереть от сильного порыва ветра. Очень часто она приходила с черным молитвенником и прятала его под кипу диагнозов зоба, рака и гонорреи.

Ответы клиентам были стереотипны.

«Мы изучили вашу болезнь. Вы страдаете очень тяжелой и застарелой формой, требующей длительного лечения. Пока посылаем вам препарат для приема в течение двух раз. Если хотите окончательно вылечиться, пришлите двенадцать долларов, которые необходимы для приготовления специально для вас нескольких сложных лекарств».

Если клиент не откликнулся, то ответ посылали снова. Некоторым отвечали, что для определения их болезни требуется консультация трех виднейших профессоров, а это обойдется в 25 долларов. Профессоров заменял Аршишевский.

Клиентов было много. Карцев приводил в порядок их личные карточки. На каждой Бройде ставил загадочные буквы — С, Р, М. Очевидно, эти буквы означали степень доверчивости клиента.

Карцев, перебирая карточки, составил довольно точные представления о размерах, социальной основе и географическом распространении человеческой глупости.

Размеры ее были ошеломляющими — каждый день приходили десятки новых писем. Большинство клиентов были средние служащие, арендаторы и мелкопоместная шляхта. Были женщины, не лечившиеся у настоящих врачей из боязни огласки, были студенты, проститутки, пенсионеры, низкий офицерский состав — капралы и

другая военная плотва — и, наконец, сельские ксендзы. Но изредка попадалась и крупная рыба — генералы, женщины из высшего общества и даже профессор по кафедре римского права. Профессором Файнштейн гордился.

Всем клиентам посылались адреса «уважаемых людей», точно выполнявших предписания института и потому совершенно вылечившихся от самых закоренелых недугов. Эти «уважаемые люди» были у Бройде на жалованье. Получали они сдельно, по числу ответов, посланных сомневающимся клиентам. Чтобы не было жульничества, Файнштейн вел двойную проверку: по квитанциям на заказные письма, которые «уважаемые» отправляли клиентам, и по сообщениям клиентов. «Уважаемым» платили хорошо, — на них было построено все доверие к фирме Бройде и Файнштейна. Измена хотя бы одного из «уважаемых» грозила институту крахом.

Карцев пытался узнать, что готовит Файнштейн в своей лаборатории. Обычно клиентам посылали пузырьки с желтоватой жидкостью. Иногда жидкость была слегка сиреневой. Несмотря на все ухищрения, Карцев так и не узнал рецепт чудодейственного снадобья. Он выяснил только одно — это было сильное средство, вызывающее на очень короткий срок значительное улучшение. Потом болезнь возвращалась с новой силой, как вода, задержанная плотиной. Клиент заваливал институт просьбами о присылке лекарства и деньгами. Но Бройде знал меру. Когда дело заходило слишком далеко, он писал клиенту письмо, полное печали и христианского сострадания.

«Ваша болезнь неизлечима, — писал эя, — Все силы науки, которыми мы обладаем, не в состоянии помочь вам. Вы запустили болезнь и довели ее до такой стадии, когда остается надеяться на волю провидения. Мы сделаем последнюю попытку и приготовим для вас чрезвычайно сложное и дорогое лекарство из зытяжки семенных желез и некоторых редких трав. Если и оно не действует, то наш институт должен будет признать себя бессильным. Пришлите 25 долларов».

Так вовремя пресекались возможные неприятности. От них институт был защищен еще и простым законом: одураченный человек стыдится, что его одурачили, и предпочитает скрывать это от окружающих.

Полиция и медицинский департамент смотрели на деятельность Бройде сквозь пальцы. Изредка Бройде ездил в Варшаву и возвращался довольный и уверенный. Доллары, проклятые «пенёндзы» были нужны не только ему, но и чиновникам из департамента и полиции. Бройде не травил людей, а этого было достаточно, чтобы не прикрывать его заведения.

Карцев снимал копии с некоторых писем и незаметно уносил их домой. Они были страшны и беспомощны, как лепет детей, попавших в беду и захлебывающихся от слез. Читая их, Карцев видел за неразборчивыми строчками глаза самоубийц, истерики, искалеченную жизнь, больную тоску.

Особенно поразило его письмо одного студента из Львова.

«С детства, — писал студент, — я увлекался книгами Пшибышевского. Этот подлый писатель внушил мне мысль, что единственное назначение мужчины — быть самцом. Моя застенчивость не позволяла мне сходиться с женщинами. Я предпочитал обыкновенный детский порок. Вначале я был вполне нормальным человеком, но вот уже два года, как болею. Я не могу вам точно определить мою болезнь. Я назвал бы ее мучительной медлительностью. Я все делаю медленно, скучно и неудачно. Я просыпаюсь в восемь часов, но встаю не раньше часа. Пять часов я порываюсь каждую минуту встать и не могу.

Я лежу без мыслей, вспоминаю какой-нибудь пустяк, что-нибудь давно мне надоевшее, например, грязный гимназический класс, где я провел семь лет. Я встаю с тупой болью в затылке, походка моя разбита, ноги дрожат.

Свежий воздух вызывает у меня головную боль. Я не могу заставить себя прочесть двух страниц учебника, меня клонит в сон. Пока я соберусь пойти в столовую, там уже ничего нет, и я ем невкусные и холодные остатки.

Университета я не окончу. Я боюсь думать о службе. При таком состоянии, если я поступлю куда-нибудь, то так и умру на том же месте, прослужив сорок лет. Я не смогу сделать даже пустякового напряжения, чтобы переменить место или куда-нибудь уехать.

Я даже не выхожу за границы своего квартала. Я

бледен, желт. У меня растет лысина. Я хотел бы подумать о многом, я хотел бы иметь свои взгляды на вещи, как все нормальные и сильные люди, но мне лень думать. Я питаюсь шаблонными истинами, прекрасно зная, что они смешны. Я в плену этих истин и вялых обывательских взглядов.

Я избегаю женщин. Я очень боюсь, что могу понравиться какой-нибудь из них. Близость с женщиной требует определенного конца, а я на него не способен. Я боюсь его, как люди боятся смерти.

Я злюсь на себя и мечтаю о необыкновенных встречах, о городах, где смеются, где много солнца и стоит как бы вечная весна, задыхающаяся от любви. Я способен только мечтать. Со мной никто не считается.

Я неразговорчив и произвожу в обществе впечатление неловкого и унылого человека. Меня стесняет, что у меня потные руки. У меня часто болит поясница. Мне кажется, что мой живот налит чугуном и оттягивает вниз все мышцы и нервы. Я окружен скучными учебниками, порнографическими открытками и одиночеством. Я не люблю своих родителей. У меня нет друзей».

Студент спрашивал, что делать. Файнштейн послал ему пузырек сиреневой жидкости и посоветовал носить электрический пояс, возбуждающий в мужчинах все потерянные мужские качества. Пояс можно выписать через институт виталлопатии за недорогую цену. Карцев ясно представлял себе желтого и измученного юношу, таскающего на чохлой пояснице тяжелый жульнический пояс.

Среди писем, казавшихся черными от перегара болезней, попадались изредка трогательные письма женщин, страдавших от бесплодия. Эти письма вызывали улыбку сострадания.

Перечитывая их, все эти печальные письма, Карцев особенно ярко воспринимал люблинскую весну. Около ворот института торговка, носившая рыжий парик, продавала букетики пармских фиалок. Их запах сопровождал Карцева по пустынным улицам, вымощенным громадными плитами песчаника.

В середине века Люблин был убежищем иезуитов. Они принесли сюда из Испании белую архитектуру монастырей, глухие стены, дворы, заросшие боярышником и сиренью, узкие улицы и чугунные фонари над калит-

ками. Старинный город был окружен зеленоватым дымом весны.

В каждом порядочном польском городе есть Саксонский сад. Был он и в Люблине. Военный оркестр гремел в нем Венявского. Пилсудчики в лихо измятых малиновых конфедератках пили кофе за круглыми столиками и волочили за «фацетками» — чирикающими женщинами, одетыми с недорогим изяществом.

Офицеры напоминали колониальные кинокартины. Их сабли дребезжали жестью, и на обшлага мундиров падали декоративные блики солнца. Веяние оффенбаховской оперетки сопровождало их жесты, треньканье шпор и подстриженные усики. Золото и серебро ярко пылали под весенним небом и вызвали мысль, что обмундирование этой армии обходится дороже, чем ее вооружение.

В Саксонском саду Карцев встречал иногда панну Люсю и панну Станиславу. Панна Станислава гуляла с маленькой старушкой в черной кружевной наколке. Старушка читала романы Элизы Ожешко. Страницы книги пожелтели от времени, как и перелистывавшие их пальцы.

— Это — моя тетя, — сказала панна Станислава, краснея, когда познакомила Карцева со старушкой. Тетя посмотрела на Карцева покорными и беспомощными глазами.

Карцев проводил их до дому. Панна Станислава зазвала его пить чай. Комната была похожа на кружевную наколку старушки. Перед иконами пестрели тусклые шелковые цветы. На черном кресте висел худой серебряный Христос. У него можно было пересчитать все ребра. В бутылке с водой стояли отломанные листья фикусов. Они давали ростки. Пахло сухим чаем и костелом. Понятны были и туберкулез и набожность панны Станиславы, — комната походила на монастырскую келью.

За чаем панна Станислава рассказала о своем прошлом. У ее отца было поместье на Украине. Усадьбу сожгли. Отец умер. Панна Станислава бежала с матерью из Киева в Польшу. В дороге мать заболела сыпным тифом и умерла в Бродах.

Все несчастья панна Станислава объясняла божьей карой. Отец ее был безбожник и запретил в своем доме принимать ксендзов. Панна Станислава до двадцати лет

тоже росла атеисткой и только теперь поняла, что, кроме человеческих, существуют божественные законы. До двадцати лет она играла в теннис и кружила головы киевским гимназистам. Теперь все ее существо было пропитано почитательностью перед старшими и запахом ладана.

Католицизм панны Станиславы казался Карцеву достойным изучения. Он давно уже заметил, что эта религия заключает в себе множество оттенков. Каким католицизмом была больна панна Станислава? Карцев задал ей несколько вопросов и решил, что это — женственный католицизм двадцатого века, вызванный туберкулезом, девственностью и жизненной катастрофой. Пожалуй, если вылечить панну Станиславу от туберкулеза, если она будет жить с мужчиной и забудет о смерти родных, то она опять станет играть в теннис и под легким платьем будут носиться по корту ее стройные и крепкие ноги. Пуховый платок будет подарен тетке, а молитвенники потеряют запах духов и будут пахнуть, как это им и полагается, ладаном.

Тетка уснула. Карцев взял со стола старую книгу и раскрыл ее. Это была «Шагреновая кожа» Бальзака.

Прощаясь с панной Станиславой, Карцев спросил:

— Почему вы не найдете себе лучшее занятие, чем религия?

Панна Станислава испуганно взглянула на него.

— Религия — это институт виталлопатии, — добавил Карцев.

— А что же может помочь в несчастье? — тихо спросила панна Станислава.

— Воздух, — ответил Карцев. — Солнце, простые люди. Смейтесь почаще. Играйте в теннис.

Разговор этот вызвал у панны Станиславы страшное волнение. Ей хотелось верить Карцеву. Верить потому, что он говорил очень просто, как люди советуют: «У вас душно, откройте окно».

Волнение привело панну Станиславу к ксендзу Сикорскому. Ксендз был тучен и стар. Всех, кому было меньше тридцати лет, он считал детьми.

Панна Станислава поцеловала ксендзу руку, а он лениво шелкнул ее по голове и сонно спросил:

— Что, детка? Ты опять пришла исповедоваться?

В окна дышали сирень и жар от нагретого костельного двора.

— Да, — прошептала панна Станислава. Она должна была смыть с себя греховную накипь от разговора с Карцевым.

Ксендз грузно поднялся и пошел в костел. Он жил в том же дворе.

Ему давно наскучили человеческие жалобы, и он мог бы оптом отпустить все грехи всем своим прихожанам, лишь бы его поменьше беспокоили.

— Грех — это беспокойство, — говаривал он. — Если бы вы не делали грехов, дорогие мои прихожане, у вас было бы больше свободного времени для полезных занятий. Грехами занимаются непрактичные люди.

В костеле стоял желтый свет, разбавленный голубоватым сиянием. Витражи сумрачно сверкали густотой цветного стекла. Было похоже, что ксендз уехал на дачу, а костел накрыли чехлом от пыли: на иконах были спущены железные шторы, люстры обмотаны кисеей, ковры сняты.

У конфессионала панна Станислава рассказала Сикорскому свои сомнения.

Ксендз выслушал ее, сдерживая зевоту, потом быстро отпустил грехи, заметив, что церковь этот грех не считает смертным.

Они вместе вышли из костела. В притворе спал на солнце мохнатый пес.

Сикорский сделал страшное лицо, шея его налилась кровью. Он осторожно вернулся в костел и вышел с большими щипцами. Такими щипцами в костелах тушат свечи. Он ударил ими нечистое животное, славшее в храме божьем. Пес вскочил, и Сикорский успел ткнуть его сапогом.

— Сторож! — закричал Сикорский тонкой фистулой. — Сторож, что это такое! У вас собаки спят в притворе. Паскудство!

Панна Станислава перебежала через костельный двор и быстро захлопнула за собой калитку. В тяжелой сирени жужжали пчелы.

Панна Станислава ничего не рассказала об этом случае Карцеву. Разговоры о религии прекратились. Карцев предпочитал говорить о романах Бальзака.

Панна Станислава отвечала односложно — «да», «нет» — очевидно, эта тема ей не нравилась.

Через неделю Файнштейн позвал Карцева в свою «секретную» комнату, выдал 900 злотых и сказал, что институт в услугах Карцева больше не нуждается. Он посмотрел Карцеву в лицо тусклыми, но цепкими глазами и посоветовал поскорее убираться из Люблина, а до тех пор не попадаться на глаза Сикорскому. Карцев пошел к Давиду Куру.

Кур получил с Карцева деньги и тоже сказал, что лучше уехать поскорее, хотя бы завтра. Карцев понял, что дело не ладно. Такие натасканные люди, как Файнштейн и Кур, зря тревожиться не станут. Начинало пахивать «дефензивой». Раздумывать было нечего.

Карцев уехал на следующий день. Кур дал ему адреса, письма и паспорт. По паспорту Карцев оказался Исааком Курцером из Белостока, комиссионером по сбыту шерстяных товаров. В рубрике «национальность» было написано «поляк иудейского вероисповедания».

Надо было остановиться в Пинске, а оттуда ехать на лошадях до пограничного местечка Свицкое. В Свицком жил некий Шифрин — свояк Кура и контрабандист. От него зависело все.

Карцев миновал Брест. Польша сменилась Полесьем. Пинск был черен от угрюмого света и грязи.

Дома стояли косо, крыши напоззали на окна, как отцовские картузы на худых мальчишках, стены были будто слеплены из золы.

Дождь, тихий и угрюмый, как несчастный еврей, копошился на крышах и стекал жидкими струйками на дырявые зонтики торговков. Из-под зонтиков пахло сеledкой и укропом.

Желтые лужи пенились и чвакали за окнами постоянного двора, как стадо свиней. Запах москательных лавок и кожи вызывал раздражение.

Возница — худой еврей в непромокаемом балахоне — дернул Карцева за рукав и сказал простуженным голосом:

— Пане Курцер, хватит пить чай. Поедем. Кони застоялись.

На постоялом дворе все же было лучше, чем на тряской бричке: был горячий чай и свежий хлеб с жа-

реной колбасой, а во дворе желтым пламенем гудела кузница и фыркал заштопанный мех.

На околице Карцев оглянулся на Пинск. Над ним подымался дым от нищенских очагов, а над дымом, в страшной дали, — там, где Люблин, где Париж, — догорал лимонный закат. Карцев поежился, — с реки пахнуло холодом и болотом.

Всю ночь ехали среди болот. Трудно было уловить очертания окружающего, — только запах сырой и сарной травы, туман, печальные звезды и изредка слепой блеск воды. Кони равномерно стучали копытами по дощатым настилам гатей, возница курил стрелявшую искрами махорку и молчал.

Карцев долго ждал, когда же он, как принято у возниц, начнет жаловаться, и, не дождавшись, спросил: — Ну, как вы здесь живете?

Возница, оборачиваясь, ответил:

— Довольно-таки странный вопрос! Вы знаете, что такое «розвуй»? «Розвуй» давит нас, евреев, как тараканов за печкой.

— Вии-оо! — крикнул он и хлестнул лошадей.

Он рассказывал, что «розвуй» — это общество польских купцов, решившее уничтожить мелких лавочников — евреев. «Розвуй» открывает всюду по деревням и местечкам свои бакалейные лавки и клеит афиши, чтобы крестьяне не покупали еврейский товар. А в прошлом году «розвуй» устроил в Пинске совсем-таки порядочный погром.

К утру остановились в деревне на берегу ленивой и тусклой речки. Болота перемежались песками. Карцев уснул в избе, а в полдень возница его разбудил, и они поехали дальше.

К вечеру въехали в Свицкое. На околице их остановил войт, посмотрел документы Карцева и отдал, ничего не сказав.

— Что ты имеешь от воеводы, Лазарь, за то, что караулишь людей? — насмешливо спросил возница.

Войт безнадежно махнул рукой. Возница глухо засмеялся.

— Дайте ему пять золотых, — сказал он Карцеву.

Карцев дал. Возница дернул локтями, — кони пошли крупной рысью, разбрызгивая обильную грязь.

В доме Шифрина было очень чисто и пахло кероси-

ном, — должно быть, выводила клопов. Шифрин — высокий, хмурый и невозмутимый — равнодушно встретил Карцева, взял письма от Кура и сказал, что переходить границу надо будет этой же ночью, пока Карцева еще не заметили.

В сумерки он отвел Карцева на мельницу за местечком. Место было глухое. Среди черных ив шумела вода. Холодная и быстрая река пахла тиной и ночью.

Шифрин сказал, чтобы Карцев был готов к полуночи, и ушел.

На мельнице жил сторож-старик. Он напоил Карцева жидким чаем и накормил овечьим жгучим сыром. От очага шел сладковатый дым можжевельника. Старик вздыхал и жаловался на бессонницу. Смерть медлила и бродила около, не заглядывая в каморку старика. Он вспоминал о ней, как о старой приятельнице. «Пора умирать» — говорил он, и эти слова звучали как вздох: «пора в запас».

Старик привык к посетителям. За последний месяц Карцев был третьим. Перед ним Шифрин перевел через границу даже женщину с ребенком: Варшава не давала ей пропуска. Старик восторгался Шифриным, — не каждый возьмется доставить на советскую сторону ребенка. Это опаснее, чем переправить десяток мужчин. Ребенку дали какие-то порошки с молоком, чтобы он крепко уснул, и Шифрин нес его пять верст на руках. Не дай бог, если бы ребенок проснулся и заплакал. Посты стоят часто, и тогда Шифрину не миновать пули.

В час ночи пошли. Карцев нес небольшой чемодан. Долго шли лесом. Сквозь сучья насмешливо журчала река. Карцев изредка подымал глаза и смотрел на небо. Звезды были уже русские, — белые и бледные.

Шифрин шел впереди. Иногда он останавливался и стоял несколько минут, почти не дыша. На нем и на Карцеве были защитные плащи, — они сливались с ночью. В десяти шагах Шифрин уже был незаметен.

В болотах упорно кричали какие-то птицы. Их крик напоминал кваканье больших лягушек.

Около опушки Шифрин притянул к себе Карцева и прижал палец, пахнувший табаком, к его губам. Карцев замер. Сначала он услышал отдаленный треск, потом глухой гул голосов. Голоса приближались.

Шифрин отступил в густую тень ольшаника и лег.

Лег и Карцев. Под ними было болото. Плащ намокал, и железная едкая вода поползла в рукава.

Люди прошли близко, и Карцев слышал, как один из них сказал по-польски.

— Издохла, пся крев. Разве без собаки поймаешь!

Другой ответил:

— Травят контрабандисты, убей их громом господним.

Голоса стихли. Шифрин лежал как труп. Только через полчаса он поднялся и увлек Карцева в заросли.

— Ваше счастье, — шепнул он, — что у них подышают ищейки. Они всегда ходят с собакой.

— Подышают? — переспросил Карцев.

— Пять лет на этом деле сидим, — сказал уклончиво Шифрин.

Он вывел Карцева на опушку. Вдали, в неясной мгле темнела полоска нового леса.

— Советская сторона, — показал Шифрин. — Ну, помогай боже, ползите. Только как мышь — без дыхания. Как доползете до лесу — берите вправо версты три до фольварка, а там спросите Якова Шифрина — моего брата.

Карцев пожал Шифрину руку и пополз. Никогда в жизни он не испытывал такого одиночества и сердцебиения.

Полз он страшно медленно. Он проползал десять шагов, отдыхал потом и прислушивался несколько минут. Сильно мешал чемодан.

Травы и скользящие корни цепляли за лицо Карцева. Они пахли землей и едкими соками. От этого запаха болела голова. Очень хотелось курить.

Над головой упала звезда, и Карцев вздрогнул. Ему показалось, что она осветила поле, как боевая ракета. Но ночь тотчас сомкнулась темной водой. Земля шуршала. Карцев полз по наклону вверх, лес вырастал как стена, полный тайн и страха.

Неожиданно над самым ухом крикнула какая-то птица. «Ку-да, ку-да?» — кричала она Карцеву с испугом и изумлением.

Начался кустарник. Карцев лег за пень и под полый плаща закурил папиросу. Он курил, свернувшись в клубок, как еж, и пускал дым себе за пазуху. Далеко, вер-

сты за две, громыхнул глухой выстрел. Карцев бросил папиросу и быстро вполз в лес.

Он ощупал землю. Она была теплая, засыпанная хвоей. Это была Россия. Карцев встал и прижался щекой к шершавой сосне. Он плакал впервые за последние пять лет. Слезы освежали, горечь в груди подымалась к горлу, сжимала его железным кулаком и испарялась.

Карцев вытер глаза и пошел по лесу, забирая вправо. Лес поредел, перешел в мелколесье. Карцев вышел на лесную дорогу. В колеях, налитых водой, мерцали звезды.

— Да, это Россия, — сказал Карцев и снова его горло стиснула спазма.

За лесом в тумане, должно быть, на фольварке Шифрина, хрипло и протяжно пропел петух. Карцев прислушался, вздохнул и пошел в его сторону.

## МОСКОВСКОЕ ЛЕТО

Юг черен от нагромождений листвы. Юг удушлив. Северные растения чахнут на юге. Он дает им слишком мало света: густые ночи быстро сменяют белые дни. Северные растения привыкли к коротким ночам. Им нужен зеленый сумрак белой ночи, когда заря встречается с зарей и воздух холоден, как дождевая капля.

Карцев окреп на севере. Суровые ночи давали свежий сон, а холодная даже в жару вода закаляла мускулы.

Московское лето вызывало тревогу. Оно было непрочно, как ощущение незаслуженного счастья. Каждый день могло иссякнуть это небогатое тепло, эти ясные и синие дни, и Карцев научился ценить их в тысячу крат больше, чем равнодушный зной юга.

Зима не ушла из Москвы. Она только отступала в подвалы, в сырость старинных зданий, в рассветы, когда запах снега пролетал над асфальтом Петровки и сонные милиционеры ежились на перекрестках, стараясь согреться папиросами.

Зима бродила вокруг, налетала среди лета пронзительным шелкающим градом, пылала закатами, похожими на ледяные горы.

Карцев поселился в маленькой комнатке на Волхонке, против музея Западной живописи. Знакомый по Одессе журналист Гликман устроил Карцева корректором в газете. Работать приходилось через день.

Первые дни Карцев бродил по Москве, как иностранец. Его поражали внешние перемены: поджарые и спокойные милиционеры, непонятные вывески трестов, клубы в потерявших свою древность церквях, очень шумная и задорная молодежь, новая Москва, с которой было сброшено ватное одеяло.

Туман романтики, окутывающий Кремль, растворялся в невысоких пропастях Ильинки, в сутолоке людей с портфелями, трезвых разговорах, наполнявших Москву. Москва напоминала не столицу, а фабричную контору. Копоть от заводских цехов как бы застилала небо и приглушала свет в учреждениях.

Революция не была парадным зрелищем, как представлял ее себе Карцев с детства. Это не были песни Барбье и баррикады 1848 года, где героически умирали бледные юноши, только что пившие пунш со своими светловолосыми подругами. Это не был жар, испепелявший лица и возгласы, полные пафоса и преувеличений.

Время кустарных революций, воспетых Виктором Гюго, прошло, как детство. Кровь отныне не лилась на мостовые, как повод для бушующих и горьких стихов. Силы были нужны для созидания, а не для эффектной гибели.

Вместо знамен и трубных сигналов, призывавших к бою, революция предстала перед Карцевым в виде точных цифр, выкладок и чертежей.

Экономика оказалась более мощной, чем непрочный взрыв юношеского героизма. Победу несли уже не энтузиасты уличных боев, а экономисты, инженеры, агрономы, изошренные политики.

Романтизм был переключен в новую плоскость. Он был поставлен на голову и опрокидывал все прежние представления. Он не только опрокидывал их, но и издевался над ними. Это приводило к тому, что самая способность привязываться к чему-нибудь, способность привыкать делала человека реакционером. Романтика слов и чувств была сменена романтикой необходимости, целесообразности и очень длительной и подчас кропотливой работы.

Сгоряча все это трудно было принять. Больше месяца Карцев присматривался и искал свое место в этом механизме. Решение пришло сразу. Он разъял на части последние годы своей жизни. Он взвесил их на ладони и оценил, как беспристрастный эксперт в ломбарде.

Прожитое оказалось суетой. Нельзя было представить себе более праздного человека, чем Карцев, несмотря на то, что все годы прошли в труде. Труд этот был бесплоден, как работа каторжника в английской тюрьме, где он расщипывал по волокнам сгнивший канат. Сейчас было ясно, что труд только для себя порождал духовную ограниченность и тяжелое томление.

Карцев списался с гидрографическим управлением в Ленинграде. Его приняли, — республика нуждалась в опытных гидрографах. Подходила осень, и работы кончались. Карцева назначили на весну будущего года в экспедицию по промеру и исследованию Карабугазского залива на Каспийском море.

Осень и зиму Карцев решил прожить в Москве и готовиться к экспедиции. Нужно было наверстать потерянное, прочесть много книг и заняться тренировкой.

Тренировка требовала воды, солнца и воздуха. Поэтому на лето Карцев уехал на море, в Феодосию.

## ОКЕАНСКАЯ ВОЛНА

Зеленый цвет производил впечатление могучего спокойствия.

Зеленая вода в Феодосийской гавани смешивалась с молочно-голубой, и в ней играл блеск старинного стекла.

Море было похоже на глаза женщин по утрам: такой же влажный блеск исходил от него, — блеск нестерпимый и праздничный. Днем глаза уставали, покрывались дымкой и море затягивалось красноватыми испарениями.

Таким морем Феодосия встретила Карцева. Карцев отдыхал. Он понимал отдых своеобразно. Это было единственное время, когда он давал полную волю лени и воображению. Он заметил, что ничто так не освежает голову, как солнце, безделье и вымыслы.

Ему нужен был собеседник. Вскоре он нашелся. В купальне Карцев познакомился с угрюмым человеком в очках. Фамилия его была Рубин. Он служил в Наркомторге, был членом партии и относился к рассказам Карцева с оттенком насмешки и любопытства. В старое время среди студентов было много таких хмурых спорщиков, добродушнейших малых, пугавших своим суровым видом нерях и теоретиков.

Рубин терпеливо выслушивал Карцева и говорил:

— Вы не гидрограф! Вы чудовищный фантазер. Вашу фантазию надо направить в производственное русло. Из вас бы вышел изобретатель. Я считаю ценным одно ваше свойство, — то, что из частности, из мелочи вы можете восстановить целое и дать широкое полотно. Но в общем вы чужак и не вредный парень. Такие люди нам, безусловно, нужны.

Рубин подтягивал широкие трусы и, поеживаясь, лез в воду. Обсыхая на солнце, он читал «Былое и думы» Герцена. За день удавалось прочитать не больше десяти страниц. Ему сильно мешали: то Карцев звал купаться, то надо было идти в порт смотреть на новый пароход (почему это было надо, Рубин не знал, но покорно шел вслед за Карцевым), то одолевал сон, то голод. Но больше всего времени отнимали ленивые споры с Карцевым.

В конце концов Рубин сдружился с Карцевым и поведал ему свою радость: на днях в Феодосию приедет его молодая жена, комсомолка. Она останется в Феодосии, а Рубину придется через неделю возвращаться в Москву.

— Но, дорогой друг, — Рубин хлопал Карцева по спине, — если вы будете морочить ей голову небылицами, я выпишу ее в Москву раньше времени. Она девочка впечатлительная, и вы мне ее испортите. Вы же неисправимый интеллигент.

Карцев поселился на окраине, по дороге к Карантину. Домик был крошечный, две его комнаты были убраны синими бумажными цветами и вышитыми полотенцами, как невеста-украинка.

Хозяйствовала в доме бестолковая старушка Мария Поталовна — вдова карантинного служителя. С нею жил сын Семен — кочегар с портового катера «Кафа». Это был высокий, рыжий и мрачный матрос. Он вполголоса ссорился с мамашей, стараясь внушить ей новые

советские идеи. Семен не был женат, и это обстоятельство угнетало Марию Потаповну.

— Сколько девочек без дела бегают, а ты сидишь, как чурбан, — начинала она канитель с раннего утра. — Взял бы какую, чем курить да книжки читать. Чем Нюра Пархоменко не невеста?

— Чего вы прилипли до меня, мамаша, с вашими девочками? На черта мне сдалась ващца Нюра? Даже смешно.

Вообще разговоры Марии Потаповны с сыном велись по строго установленному канону. С утра ссора из-за сыновьяго безбрачия, потом ворох базарных новостей и, наконец, обсуждение будущего обеда:

— А может, сделать икру из синеньких? — беслокойно спрашивала старушка. — Или скумбрию пожарить? Ты говори, чего хочешь. Может, сделать холодец?

— Можно и холодец, — угрюмо соглашался Семен. — Как хотите, мамаша.

Когда сын уходил, старуха долго вздыхала и молилась. При нем молиться она не решалась. Наоборот, она называла монахов хабарниками и плевалась с наигранным негодованием. Молитвы старуха выдумывала сама.

— Владычица-троеручица, — шептала она, — пошли покой и чистую смерть, сохрани от ненависти и страсти, дай сыну многие лета, справную жену и хорошеньких деток.

Карцев слышал, как она отбивала поклоны о глиняный пол. Солнце лилось в низенькие окна и сгущало запахи хлеба и бессмертников. Старый кот с отрубленным хвостом громко зевал за стеной. Под окнами цвела настурция и разноцветные скромные цветы с листьями, набухшими влагой. Старуха называла их портулаками. Настурция пламенела кострами и свешивалась через низенькую ограду на улицу, там ее обдирали козы.

По утрам Карцев мылся во дворе. Козы глядели на него из-за изгороди сатанинскими желтыми глазами и чесались рогом о камни. Внизу в неправдоподобной синеве бегала по порту черным жуком «Кафа».

Простые вещи доставляли наслаждение: кружка молока, белый хлеб, ветер, вздувавший занавески на окнах, бандитские глаза кота (он издавал вместо мяуканья хриплый сип) и улетающие в стель облака.

Над всем властвовало море. В глазах кота сверкали

синие искры. В облаках была выпуклость парусов, похожая по упругости и чистоте на девичью грудь. Дикие степи гудели сонным гулом цикад. Каменистая земля рождала колючки и непрочные маки, облетавшие даже от близких шагов.

Древности Феодосии не интересовали Карцева. Он равнодушно осмотрел неуклюжую генуэзскую башню и галерею Айвазовского.

В галерее Айвазовского Карцев встретил Рубина с высокой сероглазой женщиной с тяжелыми косами. Рубин не заметил Карцева. Он что-то горячо рассказывал девушке. Глаза его были полны подслеповатой нежностью.

Карцев догадался, что это его жена.

Рубин познакомил Карцева с ней. Звали ее Настей.

Из галереи пошли в кофейную. Южные кофейни действуют вроде холодного душа. Прохлада исходит от сырых полов, только что политых цветов в кадках и от полумрака. Прохладой тянет от синеватых скатертей и потных ящиков с мороженым за стойкой.

Но когда полдень разгорится до конца, даже кофейни заполняет палящий воздух. Становится тяжело дышать, и тревога закрадывается в сердца. Кажется, от спички город вспыхнет, как газ. Курить опасно. Люди высыхают на глазах: под кожей все яснее выступают тугие углы мускулов, а белки глаз делаются коричневыми от недостатка влаги.

Настя рассказала, что она живет с отцом в Москве. Рубин снял у них комнату, долго молчал и прятался, потом неожиданно влюбился, и вот — они поженились.

— Он у меня чудачок!.. — Настя похлопала Рубина по руке.

Карцев разглядывал ее. Это была молодая и уверенная женщина. В словах она была решительна, в движениях — непринужденна.

На следующий день Рубин уехал, поручив Настю заботам Карцева.

С Карцевым творились странные вещи. Его мозг наполнился множеством образов и впечатлений. Он ловил эти образы всюду. Он приманивал их, как приманивают детей золотой оберткой от шоколада. Золотую обертку заменяли стихи и книги Франса, переполненные свыше меры афоризмами и парадоксами. Случайная строчка

стихов обростала плотью, как днище барки — ракушками.

Беспорядочность образов приводила в смятение. Хотелось собрать их, выбрать самые свежие. Для этого нужен был магнит. Таким магнитом мог быть только сюжет. Мысль о сюжете для своих выдумок овладела Карцевым.

\* \* \*

Рубин, уезжая, оставил Карцеву «Былое и думы» Герцена. Карцев читал на берегу, часто отрывался и всматривался в горизонт. Над ним поднимались испарения цвета слабого йода.

Однажды Карцев зашел к Насте. Из окон ее комнаты виднелось море. Над ним в баснословной дали медными самородками плыли дикие горы.

— Карцев, турецкий берег видно! — вскрикнула Настя.

Карцев пригляделся. Горы, изрезанные золотыми жилами, бронзовые, жаркие, надвигались на Феodosию, громоздились к небу, то закрывались голубым туманом, то вновь вспыхивали, как будто в густом и праздничном море внезапно выросли острова.

— Это мираж! — промолвил Карцев. — Сейчас пройдет.

Горы вспыхнули красноватым пламенем и исчезли. Вместо них далеко в море возник столб пароходного дыма. Настя ахнула.

Карцев по случаю миража предсказал чудовищную жару. И жара пришла.

Она упала на город беспощадным светом. Ржавые волосы всплыли со дна. Гудки пароходов застревали в вязком зное и глохли от изнеможения. Спички загорались от прикосновения к камню, к стене, к доскам купальни. Жара вынуждала отдыхать. Днем берег пустел, шторы опускались и тяжелый сон обрушивался на город.

Настя и Карцев приходили на море только по утрам и к вечеру. Днем Настя лежала у себя в дремоте. Ей снилось все, что рассказывал Карцев, а рассказывал он много всяческих историй. Настя над ними смеялась, во

сне же они возвращались к ней с убедительностью только что виденного и пережитого.

У своих хозяев она взяла книгу какого-то профессора — лекции по философии, ничего не поняла, но заломила одну фразу: «Искусство открывает каждому клоч голубого неба». Выдумки Карцева казались ей искусством. Они открывали не только клоч неба, но все небо. Они были построены без чувства меры и поражали неистовством красок. Они раздражали Настю. Ее удивляло, что человек в тридцать шесть лет, гидрограф, проживший длинную и тяжелую жизнь, тешит себя фантазиями.

— В жизни все совсем не так, — сердилась Настя. — Вы выдумщик. С выдумщиками никто не считается. А я хочу, чтобы с вами считались, потому что вы способный и умный человек. Неужели нельзя сделать из ваших выдумок что-нибудь стоящее, сделать, чтобы они были нужны и не пропадали даром.

— Они и так нужны, — отвечал Карцев и смеялся. Он доказывал Насте, что на выдумке держится жизнь.

— Великие вещи открываются только тогда, когда опыт остается в стороне, — утверждал он и ссылаясь на Ньютона. — Ему выдумка помогала открыть закон тяготения. Величайшие открытия сделаны фантастами.

Настя спорила, не могла примириться с тем, что Карцев так высоко ставит пустяки — случайную игру ума и чувства, лежащую почти по ту сторону сознания.

Эту черту Карцева она считала женской и дразнила Карцева тем, что в нем, кроме внешности, нет ничего мужского. Но втайне ей нравились рассказы Карцева, нравилось, что он смотрит иными, чем все, глазами и умеет находить даже в мелочах смешное и высокое.

В один из знойных дней Карцев пришел на берег рано утром. Он вышел из дому раньше Семена. «Кафа» еще не разводила пары. Город отдыхал в прозрачном утреннем бризе.

На берегу Карцев застал Настю. Синева под глазами и усталое ее лицо говорили о бессонной ночи. На коленях ее белели шрамы от царапин, как у мальчишки, волосы казались совершенно черными и влажными и еще сильнее оттеняли бледность лица. Настя была чем-то встревожена. Она лежала у края воды и неподвижно смотрела на море.

— Что вы там видите? — спросил Карцев,

— Ничего.

— На турецком берегу есть городок Инеболи, — начал Карцев. — Да, как раз там, куда вы смотрите. Сейчас в Инеболи тоже утро, но не такое, как здесь. Там по утрам свежее. Из Трапезунда плывут в Константинополь фелюги с апельсинами. Они заходят в Инеболи ночевать и становятся вблизи берега на якорь. От самой слабой волны якорные цепи провисают и звенят. Апельсины навалены на фелюгах выше бортов, большими кучами, как у нас наваливают картошку. Вечером на море падает туман и в небе загорается месяц, как на невероятно высоком минарете. Зыбь идет с востока, закат тонет в водах, и фелюги качаются, кивая мачтами. В кофейнях собираются купцы и шкипера. Контрабандисты и крестьяне спорят о ярмарках в Эрзеруме и последних приказах Кемаль-паши. Фелюжники рассказывают истории, например, о том, почему Черное море стало соленым.

— Почему? — спросила Настя.

— У турка Халила жил глупый буйвол. Всю ночь он лизал кусок соли в загоне, а днем много пил. Он ходил так медленно, что двухлетние дети обгоняли его, ковыляя следом за бабушками.

Однажды буйвол нализался слишком много соли. Утром он пошел к морю и начал пить — тогда еще вода в море была пресная. Он пил час, и два, и три, и фелюги у берега сели днищами на камни, потому что вода в море начала быстро убывать.

Буйвол все пил. Фелюжники побежали к Халилу, но Халил не мог оттащить буйвола от воды. Подводные камни начали вырастать в острова, и в ямах на берегу плескались не успевшие уйти с водой камбалы и дельфины.

Буйвол все пил. Смятение охватило город. Из воды появились разрушенные стены древнего храма и остов греческого корабля. Буйвол все пил и медленно двигался за ушедшим морем. От Инеболи до берега было уже полчаса ходьбы. Чайки металась над буйволом, стараясь спугнуть его, но буйвол все пил. Это был самый упрямый буйвол в Турции.

Жители Инеболи прибежали к нему, проваливаясь в мокром песке и водорослях, привязали к хвосту веревку и пытались оттащить его от воды, но буйвол уперся все-

ми ногами и шел следом за морем, волоча за собой рыдающую обессиленную толпу.

— Убей его! — кричали фелюжники Халилу и совали ему кинжал. Но закон запрещает убивать буйволов. Халил боялся нарушить закон.

Тогда разбудили старого муллу Меджида и повели его в мечеть. Меджид молил Аллаха утолить жажду буйвола и спасти море. Аллах внял мольбам правоверных. Меджид сказал им: «Идите на берег и ждите». И чудо совершилось. Буйвол вдруг бросил пить, плюнул, и его даже стошнило. Оказывается, аллах круто насолил морскую воду, и с тех пор она так и осталась соленой.

Буйвол, ревя от горечи и отвращения, побежал в город, а за ним побежали мужчины, женщины и дети, теряя чувяки и восхваляя Аллаха. Море двинулось вслед за буйволом и мирно легло у прежних берегов.

Настя покраснела.

— Знаете что, Карцев. Я жду через четыре месяца сына. Когда он родится, вы будете рассказывать ему такие сказки.

— Вот оно что! — протянул Карцев.

На глазах Насти навернулись слезы.

— Разве вам не нравится, что у меня будет ребенок?

— Наоборот, это прекрасно, — ответил Карцев. — Это прекрасно, — убежденно повторил он и внимательно посмотрел на Настю, но не заметил признаков беременности, если не считать синевы под глазами и бледности. Он смутился из-за своих нелепых рассказов, бросился в море и уплыл очень далеко, чтобы дать Насте время успокоиться. Когда он вернулся, она виновато улыбнулась и сказала:

— Мне все-таки очень страшно.

Бывают дни, наполненные предчувствиями. Пришел такой день и для Карцева. С утра он почувствовал страх.

Пар висел над морем. Солнце затянулось пленкой. Стекланный свет не давал тени и был равномерно разлит над берегом. Смола таяла в пазах палуб.

Карцев весь день ничего не ел, — он только пил теплую сладковатую воду. Казалось, Крым принимал паровую ванну.

Часам к пяти с юга поднялась иссиня-черная туча.

Карцев зашел за Настей, и они пошли купаться. Приближение тучи предвещало прохладу и ветер.

Настя разделась, вздохнула и протянула к туче руки, будто звала ее. Карцев смотрел на Настю и никак не мог поверить в беременность. Настя была стройна, и немного ниже ее черных трусов белела на бедре полоска незагорелой кожи.

Туча росла. На ней дымились грязные клочья мелких облаков, спускавшихся почти до моря. Наступила гулкая тишина, какая всегда бывает перед грозой.

Настя медленно пошла в море. Когда вода дошла ей до колен, она остановилась. От тучи набегал глухой гул. Настя засмеялась, стараясь скрыть мучивший ее страх.

Карцев вздохнул. Ему не хватало воздуха. В ту же минуту он почувствовал ужас, мурашки побежали по коже. Он вскочил. Настя вскрикнула: желтая молния ударила далеко в море. На берег летел нарастающий гул, но не с моря, а с гор. Карцев быстро оглянулся: над Феодосией мчались тучи пыли.

Карцев бросился в воду, но не успел до нее добраться: рваный и страшный толчок вкось сбил его с ног. Земля треснула. Он видел, как качнуло акации и стены на бульваре, и схватился за камни. Камни дрожали. Так дрожит автомобильный мотор, работающий вхолостую.

Карцев инстинктом понял, что будет новый толчок, и хрипло закричал, не узнавая своего голоса, в сторону Насти:

— Назад. Назад, черт!

Второй толчок пришел с моря. Карцев почувствовал, что под его ногами, в метре от поверхности прошел мощный подземный вал. Тяжелый сыплющийся гром долетел с бульвара, — там рушились ограды и осыпалась штукатурка.

Тишина сменилась воплями. Кричали дети и женщины. Карцеву самому хотелось выть звериным, нудным воем. Он даже поймал себя на том, что начал кричать, но спохватился, вскочил и снова побежал в воду, — надо было увести Настю.

Настя медленно отступала спиной к берегу.

Но и второй раз Карцеву не удалось войти в воду. Он мельком взглянул на море и отшатнулся. Гигант-

ская, медленная океанская волна, похожая на выпуклость, катилась к берегу.

Настя побежала к Карцеву, закрыв глаза руками. Она успела выбежать на берег, схватила Карцева за плечо и повернулась лицом к морю. В ее глазах был ужас.

Волна ударила, повалила их и унесла Карцева в море. Карцев оглох. Вынырнув, он увидел Настю. Она лежала на песке.

Карцев выплыл, поднял ее на руки и, не чувствуя тяжести, потащил подальше от берега. Платье их смыло волной.

— Подальше от стен! Не пугайтесь, это землетрясение! — бессмысленно кричал Карцев.

Земля тряслась мелкими отвратительными толчками, как человек, лязгающий зубами от страха. Пыль медленно опускалась на город. Туча разрезала небо пополам. В порту выли пароходы, давая тревожные гудки. По улицам носились, обезумев, извозничьи лошади, волоча разбитые экипажи.

Карцев принес Настю в сад около Настиного дома и положил на траву. Из горла у нее пошла кровь. Он чувствовал, что руки его вытянулись, как плети.

Веские капли дождя начали бить по пыльным камням. Земля вздрагивала реже. Сад был полон жильцов.

Настя пришла в себя. Лицо ее постарело от боли. Она притянула Карцева к себе и сказала на ухо:

— У меня страшно болит внизу живота. Найдите доктора.

Карцев оставил около Насти старуху-соседку и бежал в город. По временам он слеп от волнения.

Он шел наугад, из улицы в улицу, останавливался около дверей и долго, ничего не соображая, читал таблички с фамилиями врачей: почему-то все попадались зубные врачи и венерологи. Иногда Карцеву зло кричали:

— Эй, шляпа, отойди от стены!

Стемнело. В садах и на площади зажгли фонари. Город походил на цыганский табор. Плач детей и женщин перешел в стоны и охи. Звезд не было видно, — очевидно, небо затянулось тучами.

Наконец, он увидел женщину в кривом пенсне. Она стояла, завернувшись в мохнатую простыню, и жарила

на керосинке сыр. Красное ее лицо было невозмутимо. Карцев оглядел ее. По всем приметам это была акушерка: коротконогая, полная и решительная.

— Вы не врач-гинеколог? — крикнул Карцев через низенькую ограду.

Женщина с сердцем сняла сковородку с керосинки, вытерла о простыню руки и ответила внятно:

— Дорогой товарищ, я вижу, что вам нужен не гинеколог, а психиатр. Какая идиотка будет сегодня болеть женскими болезнями? И в чем, наконец, дело? Я не гинеколог, я только женорганизаторша с фабрики Москвошвея. Но на худой конец я тоже могу помочь таким растяпам, как вы.

Карцев торопливо рассказал все, что случилось с Настей. Женщина в простыне заволновалась и спросила, когда у Насти начались боли.

— Часа два назад, — пробормотал Карцев.

— Где же вы ходили до сих пор, интересно знать? — закричала женщина и швырнула сковородку с сыром на стол. — Я не понимаю этих мужчин! Надо же иметь хоть каплю соображения в голове и не вести себя, как годовалый ребенок. Пойдемте!

Она перекинула простыню через плечо жестом римлянки, и Карцев повел ее по улицам, спотыкаясь в темноте о камни.

Изредка земля подрагивала, как кожа лошади, отгоняющей мух. Недавнее безразличие сменилось у Карцева тревогой. Он торопился и стискивал зубы. Что, если Настя умерла. Он, только он один будет виноват в этой смерти. Вместо того чтобы привести врача, он слонялся по улицам в каком-то оцепенении, учил наизусть фамилии венерологов, и у него не было сил, чтобы понять случившееся. И фамилии врачей все были какие-то неприятные: Цоп-Хохловский, Пращюн, Диденко.

Этой ночью Феодосия предстала перед ним без всякого романтического сверкания. Люди, вытряхнутые из домов, как бы показывали Карцеву изнанку города. В ней было достаточно простоты и человечности, похожей издали на грубость. Карцев вспомнил злые окрики и брюзжание неизвестной женщины, шедшей рядом. Она качалась, как улитка, и бранилась на Карцева за то, что на дороге много камней. Женщина шла босиком.

— Наверное, есть лучшая дорога, — говорила она, — а вы повели меня по этой потому, что потеряли голову от землетрясения.

На старом месте Насти не было. Ее перенесли в соседний сад, подальше от детей. Она лежала на походной кровати. Около кровати стоял фонарь, тускло освещавший кровавую воду в цинковых тазах. Пожилой человек в брюках без рубахи сидел на корточках у фонаря и что-то писал на клочке бумаги. Пожилой человек оказался врачом.

— Что случилось? — пронзительным голосом спросила женорганизаторша.

Настя открыла глаза, обведенные коричневыми кругами. Старуха-соседка замахала на женорганизаторшу. Доктор аккуратно оборвал по краям клочок бумаги и спросил Карцева:

— Вы, кажется, ее родственник?

Карцев кивнул головой.

— Пойдите в аптеку, она цела, пусть вам сейчас же дадут эту тинктуру. Надо остановить кровь.

— Товарищ Покровский, — сказала женорганизаторша доктору, — вы идите. Я с ней управлюсь сама. А то ваша жена чрезвычайно волнуется. Ох, уж эти мне капризные женщины! Сколько они выматывают у нас нервов — ужас!

Карцев вышел из сада вместе с доктором. Глухой шум доносился с вокзала: курортники осаждали первый поезд на север.

Карцев спросил доктора, что случилось с Настей.

— Выкидыш, — ответил тот, поживаясь от холода. — У нее был шестой, самый опасный месяц. К тому же первый ребенок. Достаточно было одного испуга, чтобы вызвать выкидыш, а тут еще волна ударила в живот. Был мертвый мальчик.

Карцев не спросил, куда девали мальчика.

Аптека работала во дворе. Изредка низенький и, не смотря на всеобщий хаос, чистенький фармацевт в крахмальном халате бегал в дом и приносил бутылки и банки с латинскими сигнатурами. Он очень вежливо попросил Карцева подождать десять минут.

Карцев пошел к морю. На бульваре он встретил милиционеров. Они торопливо вели двух краснорожих и злых молодцов в кожаных куртках. Молодцы бранились

и называли милиционеров «фараонами». Это были шоферы, арестованные за спекуляцию. Они соглашались везти курортников в Симферополь и Керчь, где легче было сесть на поезд, и заламывали фантастические цены.

Над морем лежали мрак, тишина и редкий туман. От воды пахло свежо и печально. Одинокая звезда светилась, как маячный огонь, в воде, в конце порта. Карцев постоял и вернулся в аптеку.

Ночью Карцев и женорганизаторша дежурили по очереди около Насти, меняли холодные компрессы на животе, давали пить вяжущую тинктуру и со страхом ставили термометр, но сильного жара не было.

К рассвету начал накрапывать дождь. Карцев сидел на траве около Насти и дремал. Было тепло и туманно. Он очнулся от шепота Насти:

— Николай Николаевич, — тихо позвала она и вздохнула. — А, Николай Николаевич!

Карцев нагнулся к ней.

— Николай Николаич, — тихо сказала Настя, и слезы с легким стуком закапали по подушке. — Где его закопали?

— Глупая вы, — сказал Карцев и вздрогнул. — Первый ребенок всегда бывает слабым. Даже хорошо, что он родился мертвым. Будет у вас еще другой, не плачьте.

— Вот и вы не понимаете, — прошептала Настя. — Лучше бы и я умерла вместе с ним.

Женорганизаторша, спавшая на матрасе у ног Насти, проснулась и сказала внятным голосом:

— А может быть, вы, дорогой товарищ Карцев, пошли бы покурить в соседний двор и оставили бы ее в покое?

Настя слабо стиснула руку Карцева и кивнула головой, — дала знак, чтобы Карцев ушел.

Карцев курил, облокотясь на ограду. Мглистый, чуть промазанный мутной алой краской рассвет возник над серым морем. Взошло солнце. Земля нагревалась. Воздух был свеж и смолист.

## ГЛИНИСТАЯ ПЫЛЬ

(главы из романа „Дым отечества“)

От Флорешт до самого Днестра, до Рыбницы, висела над полями глинистая пыль. В этой пыли, мутно поблескивая алюминиевыми крыльями, проносились самолеты.

Пахомов уже не обращал на них внимания. Только изредка, когда сзади начинали стучать кулаком в кабину грузовика и кричать: «Воздух!», он выскакивал, вместе со всеми отбегал в сторону от дороги и ложился на землю — то в помятое просо, то в заросли кукурузы, то прямо на вспаханное поле.

Первое время он ложился лицом вниз и, прислушиваясь к приближающимся взрывам, заставлял себя рассматривать пыльные колючки или муравья, суетившегося перед ним по земле. Но потом Пахомов привык и даже смотрел на подлетавшие самолеты. Он видел, как от них отрываются, как капли чернил, визжащие бомбы. Перед глазами подымалась косматая земля, летели комья, со свистом проносились горячие осколки. Пыль набивалась в глаза, в рот, в уши, и начинала болеть голова. Тогда Пахомов снимал каску. Он был уверен, что голова болит от ее тяжести и от тесного обруча, приделанного внутри к каске, чтобы ее стальная броня не прикасалась к голове.

Пахомов возвращался с фронта в Тирасполь. Он уже успел загореть, пропылиться, в шинель набилась мелкая резаная солома. Как большинство людей на фронте, Пахомов разговаривал мало и без конца курил кислые кишиневские сигареты.

День был жаркий, тусклый. Ехали бессарабскими проселками, избегая больших дорог. По ним бесконеч-

ными колоннами шли машины, а шофер Пахомова не любил тесноты и заторов.

Дорога запоминалась плохо. В памяти оставались только отдельные, не связанные друг с другом куски: свинопас в фетровой шляпе, маленькие клочки разноцветных полей, станции узкоколейки, выкрашенные в оливковый цвет, худые и черные девушки в вышитых рубашках, часовые у колодцев, не позволявшие брать сколько хочешь воды, сломанный мост через мелкую реку и застрявший у моста труп немецкого летчика в сером комбинезоне. Он лежал в реке спиной вверх. На мосту стояли гуси. Вытянув шеи, они смотрели на летчика, гоготали и не решались спуститься в воду.

На перекрестке около фаянсового распятия сидела седая женщина с опухшим лицом в сером платье, похожем на капот. Она что-то крикнула слабым голосом. Шофер остановил машину. Пахомов выскочил, подошел к старухе.

— У вас нет йоду, молодой человек? — спросила она и показала Пахомову окровавленную руку. Йода у Пахомова не было, но был индивидуальный пакет. Он отдал его старухе и помог перевязать руку. Старуха благодарила, желала счастья Пахомову и всем его родственникам.

— Почему вы здесь сидите? — спросил Пахомов.

Старуха рассказала, что она уходит из города Бельцы, отстала от своих, но надеется догнать их у Днестра. Только что здесь упал немецкий самолет. По нему стреляли из зенитных пушек — вон оттуда, из-за клуни — и один маленький осколок попал в нее.

Пахомов предложил старухе довести ее до Днестра, но она отказалась.

— Нет, вы не бойтесь. Я не останусь у немцев. Машина не для меня. Она слишком быстро катится. А я иду себе медленно и думаю, что же это такое случилось с людьми! У меня много детей и внуков. Я должна, наконец, понять, зачем я их родила на этот свет. Довольно страшный свет, молодой человек? Как вы находите?

К мосту через Днестр у Рыбницы подъехали уже перед вечером. Это был высокий железнодорожный мост в одну колею, без перил. Долго стояли в выемке перед мостом, медленно передвигались в заторе. Впереди прошли танки, разломали шпалы. Переправляться по мосту

было трудно — от малейшей оплошности машина могла сорваться в Днестр.

Пахомов шел позади машины по шпалам. Внизу мутно текла вода. Мычали на истоптанных берегах стада, — их перегоняли на восток, в глубь страны.

Рядом с Пахомовым шел смуглый маленький капитан-танкист с забинтованной головой, похожий на Лермонтова. Он попросился на грузовик к Пахомову перед самым мостом.

Пахомов крепко держал капитана за локоть. Капитан был еще слаб после ранения. У него кружилась голова. Он стыдился своей слабости и посмеивался над ней. Из-за ранения капитан отстал от своей части, его хотели положить в лазарет, но он отругался, удрал и теперь разыскивал свой танковый полк, торопился, пересаживался в пути с машины на машину.

В Рыбнице остановились на окраине города. Маленький дом почти висел над кручей, над днестровским берегом. Молодая хозяйка принесла из погреба молока. В комнате горел огарок, висели порыжевшие фотографии храбрых матросов Черноморского флота, играл с медным патроном котенок. На кровати ворочались, не могли уснуть от духоты дети, укрытые лоскутным одеялом.

Пахомов с капитаном-танкистом вышли в садик, сели на перевернутое корыто. В ночной пыли за рекой вспыхивали зарницы и гремел длинный гром. Бой шел в предполье, на бессарабском берегу.

Сидя на корыте, покуривая, капитан рассказал Пахомову, как он был ранен. Говорил капитан по-волжски, окая. Он был родом из Кинешмы. По его рассказам выходило, что ранен он был глупо. Пахомов уже привык, что большинство людей считает из скромности свое ранение последствием нелепого стечения обстоятельств, и потому не удивился. В рассказе капитана его поразили бесхитрость и простота.

— Нескладно, конечно, получилось, — говорил капитан. — Ворвались мы в лесок, а там полным-полно немцев. Я со своим танком вертелся волчком, давил их, как в муравейнике, но соображал, что сильно вылез вперед, оторвался от своих. И было на душе у меня как-то не очень спокойно. А немцы крутятся вокруг как гончие, все прилаживаются, чтобы подложить под гусеницы ми-

ну. Недешево это им стоило, конечно. А один, понимаете, такая упрямая морда, вскочил на танк и хотел замазать смотровую щель тавотом, ослепить танк, но мы его сшибли. Раздавили, между прочим, два орудия. К вечеру какой-то сукин сын все-таки подорвал правую гусеницу, и мы скисли. Снарядов уже нет, пулеметных лент — тоже нет. Остались одни пистолеты. Положение пиковое. Сидим, задраили люки, взяли их на болты. Немцы стреляют, колотят прикладами по броне, кричат, чтобы мы выходили. Мы молчим. Темно. Водитель ранен, мне самому разбило голову, а снаружи возятся немцы. Очень чудно как-то все происходит. Ходят нахально по танку, гремят сапожищами. Я по-немецки немногo понимаю и из их разговоров улавливаю, что мы недаром притихли. Немцы думают, что весь экипаж танка погиб. Ну и пусть думают! Пес с ними! Мне это на руку. Я только этого, может быть, и хочу. По моим фосфорным часам была ровно полночь, когда немцы ушли и оставили около танка двух часовых-пехотинцев и, судя по голосам, людей пожилых. Вот тогда я понял, что мы спасены.

— Почему? — спросил Пахомов.

— Психология очень простая. Танк — это такая чертовщина, что к ней привыкнуть надо. Танк на воображение действует очень сильно. Слабонервные люди на него и в мирное время смотрят со страхом. Я соображаю так: остались около нас пехотинцы, и, безусловно, у них, стервецов, очень пакостно на душе. Стоят они и думают: «Дьявол его знает, что в этом мертвом танке? И какого лешего этот шмерц-лейтенант поставил здесь нас? Постоял бы сам, маменькин сын». И вот, я сам с собой пошел тогда на пари, что часовые долго не выдержат, отойдут подальше. А тут, понимаете, экипаж мой измотан до одурения. Люди засыпают. Мне приходится все время их тихонько будить. Боюсь, как бы не всхрапнул кто-нибудь, не выдал нас немцам. И, представьте, выиграл я пари! Слышу: один часовой говорит другому: «Ты постой, а я отойду в лесок, покурю. Видеть я не могу этот танк». Другой всполошился: отыскал, мол, идиота! Курить — так вместе. В общем, ругались они друг с другом минут пять, обложили последними словами наш танк и ушли. Ну, а остальное было просто. Открыли мы нижний люк и, как ужи, в траву!

Без шороха. До своих доползли к рассвету. Промокли от росы насквозь, но никогда еще не видел я такого утра. Великолепный был воздух. Просто великолепный! Капитан помолчал.

— А танк мой, — добавил он, — на следующий день мой помощник, лейтенант, привел на буксире. Отбил. Правильный у меня лейтенант.

Пахомов спросил капитана, что он чувствовал ночью в подбитом танке.

— Эх, милый вы мой, — сказал капитан и похлопал Пахомова по плечу. — Что я чувствовал — того не вотишь. Только одно вам скажу: не верьте бахвалам, что треплются, будто им все нипочем. Храбрость — штука тончайшая, умная и заключается она в том, чтобы держать себя твердо в руках и делать то, что нужно, а не в том, чтобы бахвалиться и ёрничать. С фанфаронами много не навоюешь. И настоящий хороший боец их, ох, как не любит! Ох, как не любит!

В сад вышла молодая хозяйка, посмотрела на зарево над Днестром.

— И мой там, — сказала она. — Бьется на Дунае, в флотилии. Он моряк, исправный человек. Закопаю завтра свое добро, пойду с хлопчиком в Россию. А вы что ж, спать в хате не будете?

— Мы лучше здесь в садочке, — ответил капитан. — Расстелим шинели. Здесь оно как-то прохладнее. И приятнее.

Хозяйка ушла. Капитан и Пахомов легли под яблоней на шинелях. Ночь была душная. С севера заходила гроза. Глядя на бледные вспышки в небе, Пахомов думал, что это, может быть, не гроза, а отблески отдаленного боя. Потом он уснул, и ему приснилось, что Татьяна Андреевна наклонилась над ним и смотрит в лицо. Чьи-то мягкие руки осторожно подняли его голову. Пахомов проснулся, испуганно спросил: «Кто тут?»

— Та це ж я, — тихо ответил молодой застенчивый голос хозяйки. — Подушку я вам под голову подложила. Разве можно так спать ни на чем?

Хозяйка незаметно ускользнула, ушла. Проснувшись на рассвете, капитан удивленно поглядел на неизвестно откуда взявшиеся под головой и у него и у Пахомова подушки и покачал головой: ловко сделано!

Утром попрощались с хозяйкой, уехали. Хозяйка по-

стояла в воротах, посмотрела вслед машине, потом оглянулась, схватила детей и потащила их в погреб, — из-за Днестра клином шли черные самолеты.

Они пронеслись над Рыбницей, развернулись веером, и Пахомов увидел, как несколько десятков белых лепестков, качаясь, начали спускаться с неба как раз там, откуда, гудя, набирая высоту, уже уходили самолеты.

— Десант! — крикнул шофер и остановил машину.

Парашютисты спускались в поле за широкой балкой, совсем рядом. Пахомов выскочил из машины и смотрел в оцепенении на парашютистов.

— Садитесь! — крикнул ему капитан-танкист.

Он стоял в кузове грузовика и вытаскивал из кобуры револьвер. Пахомов полез в кузов.

— Давай! — крикнул капитан шоферу. — На полный газ! Может, мы их перехватим.

Шофер дал полный газ, свернул с шоссе. Грузовик помчался по боковой проселочной дороге туда, где падали парашютисты. Шофер вел машину правой рукой, а левой вытаскивал у себя из-за спины винтовку. Наперерез прямо по просяному полю мчалась другая машина с бойцами. Она остановилась, бойцы выскочили и побежали, нагибаясь, в балку.

Шофер внезапно затормозил. Впереди была канава, за ней — кукурузное поле. Пахомов, капитан и шофер выскочили, побежали по кукурузному полю.

— Держитесь рядом! — крикнул капитан. Но Пахомов вскоре потерял и капитана и шофера в душных зарослях. Впереди застрочил пулемет. Над головой, взвизгнув, пролетела пуля.

Длинные кукурузные листья хлестали по лицу. Пахомов вынул трофейный пистолет, послал в ствол пулю и пошел медленнее. Парашютистов в небе уже не было. Должно быть, они приземлились.

Поле пошло вниз по скату балки. Кукуруза стала реже. Между ее стволы уже густо цвела медуница, лиловые и цепкие ползучие цветы, высокая полынь, дикая рябинка с желтыми зонтиками мелких твердых цветов.

Пахомов споткнулся о ползучие цветы, вспомнил, что это плохая примета, выругался. Но ползучие стебли снова зацепили его за сапог так крепко, что Пахомов нагнулся, чтобы их отцепить и, нагнувшись, увидел,

как в густой траве по краю кукурузника ползет человек без шапки.

Пахомов быстро лег. Человек полз прямо на Пахомова. Пахомов выстрелил. Человек, казалось, не слышал выстрела и все подползал ближе. Он вполз в заросли, стал на колени. Пахомов увидел его красное потное лицо, светлые растрепанные волосы и растегнутый ворот серо-зеленого мундира.

Человек смотрел на Пахомова круглыми синеватыми глазами и молчал. Пахомову показалось, что прошел час, тогда как на самом деле не прошло и нескольких секунд.

Человек нагнулся. Пахомов отскочил в сторону, выстрелил. Тотчас слева выстрелил еще кто-то.

Пахомов на мгновение оглянулся в сторону выстрела, и его тотчас же сильно ударило в левое плечо. Он не почувствовал боли и, почти не целясь, выстрелил три раза в немца, и только во время последнего выстрела у него от отдачи сильно заболело плечо.

Немец упал, а Пахомов медленно, очень осторожно опустился на колени и искоса посмотрел на свое плечо. По гимнастерке расползлось темное пятно. Индивидуальный пакет был у Пахомова в левом кармане брюк. Он попробовал пошевелить левой рукой — она не двигалась. Пахомов хотел достать пакет правой рукой, но не мог дотянуться до кармана. Тогда он вспомнил, что отдал индивидуальный пакет старухе. Отчаянно заболело плечо. Пахомов сел на землю, зажал плечо рукой и так сидел, прислушивался, но, кроме звона в ушах, ничего не слышал. Потом он наклонился и упал в заросли ползучих цветов. Он слышал, как под землей трещали медведки, хотел поднять голову и потерял сознание.

Капитан и шофер нашли Пахомова нескоро. Капитан перевязал Пахомову плечо, потом вместе с шофером и вынырнувшим из кукурузы бойцом в сдвинутой на затылок каске он перенес Пахомова в машину. Немец остался лежать, уткнувшись в теплую землю, где все так же спокойно кричали в своих укрытиях медведки.

Капитан поспорил с шофером. Шофер хотел отвезти Пахомова обратно в Рыбницу. Капитан сказал, что это галиматья, а надо везти Пахомова в деревню Бруштены, где, как узнал капитан, стоял его танковый полк.

До Бруштен было меньше часу езды. По словам капитана, у него в полку был великолепный врач и хорошая сестра. Никто лучше их не вычистит рану и не сделает перевязку. Шофер покачал головой, но промолчал.

На машине Пахомов пришел в себя. Он лежал в кузове на соломе. Рядом сидел капитан и придерживал его за здоровое плечо. Глаза у капитана были испуганные и добрые. Шофер вел машину осторожно, иногда останавливался, высовывался из кабины, спрашивал: «Ну, как?» — «В порядке!» — отвечал капитан, и шофер ехал дальше.

Пахомову хотелось пить. Капитан напоил его из своей фляги. Вода пахла резиной.

— Жена у вас есть? — спросил капитан Пахомова.

— Есть, — ответил Пахомов. — Актриса.

Капитан посмотрел на Пахомова с уважением.

— А моя, — сказал он как бы извиняясь, — учительница в Кинешме. Дело, конечно, маленькое.

Пахомов выпростал из-под шинели правую руку, нащел руку капитана и крепко пожал ее.

— Ну, вот, — сказал капитан разочарованно, — это совсем напрасно. Зря рану тревожите. Надо лежать тихо.

Приехали в танковый полк. Танки стояли в овраге среди редких поломанных акаций.

Собрались командиры, бойцы, сняли Пахомова с машины, положили на носилки, отнесли в тень большого танка с вмятинами на боках. Пришел врач, осмотрел рану, покачал головой, перевязал заново. Пахомов догадывался, что у него разбита ключица.

— Полежите здесь, отдохните, — сказал врач, — а потом мы вас отправим в санбат и в тыл.

Капитан принес Пахомову поесть, но есть Пахомов не мог. Капитан постоял над ним, пообещал скоро прийти и ушел. Пахомов лежал, закрыв глаза. Два раза он слышал тоненький вой сирены, крики «по щелям», но даже не пошевелинулся. Потом санитар принес ему чаю. Пахомов открыл глаза. Санитар был рыжий, очень веснушчатый и смущенный. Он помог Пахомову напиться.

Пахомов огляделся. У танков, спрятанных под акациями, сидели бойцы — чистились, курили, писали письма. Поодаль под деревом стояли вторые носилки. На них, прикрытый шинелью, лежал человек. На шинель

были навалены зеленые ветки, и из-под них торчали носки маленьких сапог.

— Что это? — спросил Пахомов санитар и показал глазами на носилки.

— Маскировка, — ответил санитар. — Чтобы с воздуха не было заметно.

— Я знаю. Я не о том. Это тоже раненый?

Санитар посмотрел в сторону и нехотя ответил:

— Да нет. Это убитая наша сестра. Ее сейчас хоронить будут.

— Хорошая была сестра?

— Ну, что это вы спрашиваете? — даже удивился санитар. — Конечно, хорошая. Ее осколком наповал ударило. В грудь.

Тогда Пахомов заметил, что с носилок, из-под шинели свешивалась тяжелая коса. Конец ее уже расплелся. Санитар подошел, осторожно поднял косу и, отвернув шинель, положил ее на носилки рядом с головой убитой девушки.

Пахомов рванулся, чтобы встать. Ее белое и холодное лицо как будто улыбалось, и, как всегда у мертвых молодых девушек, даже закрытые ее глаза казались прекрасными, должно быть, из-за опущенных губных ресниц.

Санитар быстро оглянулся.

— Ложитесь! — закричал он. — Куда вы? А то я врача сейчас позову!



Пахомов бывал на юге в мирное время. Но теперь, когда его везли через степи в санитарной машине, он не узнавал прежние, хорошо знакомые места.

Города, покрытые пылью взрывов, казались совершенно чужими. Их белые дома были замазаны для маскировки грязью и глиной. Начались дожди. Они смывали со стен эту глину, и по обочинам улиц бежали грязные пенистые потоки.

Степные шляхи сделались во много раз шире, разбитые танками, грузовиками, орудиями, тысячами возов с беженским скарбом, вытопанные огромными стадами скота, — его перегоняли за Днепр.

На подступах к городам тянулись глубокие противотанковые рвы. В них блестели желтоватые лужи. Вегер шумел в мокрой поломанной кукурузе, во взъерошенных подсолнухах.

Во всех хатах, куда Пахомову случалось изредка заходить, подошвы прилипали к полу от густой грязи. Бойцы счищали эту грязь саперными лопатами, выбрасывали ее за порог, но через час грязь набиралась снова, такая же густая и липкая.

Весь юг превратился в огромное военное становище, а каждый дом — в постоянный двор. Там посетители сменялись беспрестанно, но не было видно хозяев. То ли они совсем ушли, то ли терялись в великом скоплении людей.

Деревья и кусты, когда-то шумевшие листьями, стояли сухие, обломанные для маскировки, обглоданные скотом. Всюду, где бы ни останавливалась машина, шофер тотчас заводил ее под дерево. Пахомов с тоской смотрел на вялую листву, то черную от пыли, то рябую от дождя.

Страна сдвинулась. Она ничего не хотела оставлять врагам. Шли многотысячные обозы крестьян из-под Могилева, Овидиополя, Дубоссар, Балты. Тракторы тащили за собой вереницы комбайнов, молотилок и жаток. К задкам телег были привязаны косматые деревенские псы, преданные человеку до смерти рябчики, шарики и пустобрехи. Они трусили вслед за телегами, высунув языки, рычали на мотоциклистов.

Беженцы растекались по проселочным дорогам, останавливались на отдых в зарослях акации по краям полей, прятались от вражеских истребителей. На полях валялись убитые немецкими летчиками коровы. На них садились степные вороны, надменно смотрели на людские потоки, каркали, дрались друг с другом.

Навстречу толпам беженцев шли тысячи обветренных бойцов. Шли бесконечными цепями. Изредка останавливались, закуривали.

Пахомов неизменно спрашивал бойцов, откуда они родом, и, слушая ответы, думал, что никто не может победить эту страну с ее необъятными пространствами, выносливостью народа, простым его мужеством, немногословной любовью к родимой стороне, насмешливостью, спокойствием. Бойцы были из Красноярска, Кутаиси,

Москвы, Керчи, Бобруйска, Архангельска, Владивостока, Самарканда, Чернигова — из самых разных мест России. Они очень различались поговору, по внешности, но одно у всех бойцов было совершенно одинаковым — твердые лица под стальными шлемами и простодушные, совершенно детские улыбки, когда кто-нибудь упоминал об их родных местах.

Небо без перерыва гудело самолетами. Иногда над головой завязывались воздушные схватки. Машины, завывая, заходили друг другу в хвост.

Запад грохотал. Там шел незатихающий бой. Перебегали в тучах огни разрывов. Иногда вся степь до горизонта ахала, и шофер говорил, что это наши взорвали немецкий склад с толом.

Однажды около Буга, недалеко от Николаева, за ночевали в степной балке.

Рана у Пахомова болела. Она оказалась серьезнее, чем он думал. Пахомова должны были сдать на санитарный поезд, но случая к этому не представлялось. Пахомов был этому отчасти рад.

Он предпочитал вагонам открытую степь. Вот и сейчас, когда машина остановилась в балке, он вышел, опираясь на санитаря, сел на подножку. В траве кричал дергач. Бормотал под камнем родник. Впервые за последние недели Пахомов увидел немятую, но уже увядшую траву. От нее тянуло прохладой. Небо над балкой быстро темнело. На нем, как клубок холодного пара, таяло облако.

В этой тишине в ясности осеннего неба, в мерцании первой звезды было столько прелести, что Пахомов даже выругался, когда над головой начал выть немецкий бомбардировщик.

Ночью за стенками машины зашумел ветер. На крышу упало несколько капель дождя.

— И откуда ее, чертяку, принесло, эту тучу? — сказал снаружи заспанный голос. — Эй, Мунтян, давай, выбирайся из балки! Вода пойдет — завяжем мы здесь, как котятка.

Шофер что-то недовольно ответил, завозился в кабине, потом машина качнулась и поползла назад.

Долго ковыряясь на ухабах, она пятилась в темноту, пока, наконец, Пахомов не услышал рев буксующих грузовиков, ругань, знакомые крики: «А ну, взяли!».

«Еще раз взяли!», требовательные гудки и понял, что их машина влилась в поток машин на большой дороге.

Было жаль тихой балки, прозрачной звезды, закрытой сейчас холодной и ненужной тучей. Шел спорый дождь. Всю ночь машина рвалась, часто буксовала, а на рассвете остановилась.

Пахомов посмотрел в слюдяное залитое дождем окно. Машина стояла в начале крутого вымощенного бульжником спуска. По сторонам чернели мокрые амбары. Под их стенами прятались от дождя озябшие дети, должно быть, школьники, с котомками, корзинками на плечах. Дождь хлестал с крыш потоками. Внизу в серой мути поблескивала вода. Тянулся длинный напływной мост, а за ним был едва виден высокий берег и большой город.

— Что это? — спросил Пахомов санитару.

— Николаев, — ответил санитар. — Видите, мост через лиман.

Пока машина стояла, Пахомов смотрел на детей. Они жались друг к другу — невыспавшиеся, испуганные — и все время поглядывали на девушку в красном платочке, стоявшую среди них. Ситцевое ее платье промокло насквозь, прилипло к телу.

— Их надо взять в машину, — Пахомов показал санитару на детей.

— Бесполезно, — ответил санитар. — Вы поглядите: до самого края земли одни грузовики сбились, и все открытые. Разве водители не видят, не сочувствуют. Было бы куда, так взяли бы.

Затор впереди рассосался. Машины двинулись. Дети и девушка исчезли за пеленой дождя.

Въехали на напływной мост. Пахомов равнодушно смотрел, как о настил разбиваются настоящие черноморские волны — зеленые, тяжелые и прозрачные. Вдали в рассоле ненастного утра темнел длинный миноносец с широкими трубами. Около него качались на воде высокие вехи. По мосту шли прямо по воде промокшие бойцы, хватались за борта машин.

Машина, не останавливаясь, прошла через город, вырвалась в степь. Снова потянулись кукурузники, канавы по обочинам, рыжая трава, водянистое небо.

Через два дня на станции Синельниково Пахомова

пересадили в санитарный поезд. Его раздели, уложили на пружинящую койку, дали горячего чаю, папирос.

Он лежал под легким байковым одеялом в тепле, в сухости, и ему мерещилось, что между ним и фронтом тянется, зацепившись у него за левую руку, тонкая резиновая полоска. Поезд идет, натягивает ее, полоска становится все тоньше и вот-вот лопнет и изо всей силы ударит Пахомова по больному плечу.

Пахомов прикрыл плечо правой рукой, но резина все-таки лопнула, хлестнула по перевязке. Пахомов вскрикнул и больше уже ничего не помнил. Чернота налетала волнами. Она то сгущалась, то чуть серела, и в этой черноте что-то нудело, взрывалось, подымало Пахомова, несло по воздуху и снова опускало на койку, и койка подрагивала в такт стуку колес.

Очнулся Пахомов в госпитале, как оказалось потом, в Таганроге. Пахомов увидел маленькую палату, койку, самого себя, черную школьную доску на стене, написанные мелом на этой доске слова: «Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей» — и усмехнулся.

За окном перепархивал снежок. Цвет неба у края окна был сизый и совершенно зимний. Пришла первая весенняя зима.

# РАССКАЗЫ





## СТАРИК В ПОТЕРТОЙ ШИНЕЛИ

Есть тысячи деревень у нас в России, затерянных среди полей и перелесков. Тысячи деревень, таких же незаметных, как серое небо, как белоголовые крестьянские дети. Эти дети, встретившись с незнакомым человеком, всегда стоят потупившись, но если уж подымут глаза, то в них блеснет такая доверчивость, что от нее защемит на сердце.

Редко-редко среди бесчисленных Сосновок, Никольских и Горелых Двориков попадет деревня с заметным, а иной раз и необыкновенным именем, вроде Мыса Доброй Надежды в Тамбовской области или Колыбельки где-то под Острогожском.

Всегда кажется, что деревни с такими удивительными названиями непременно связаны с интересными историями и что от этого и произошли их имена.

Я тоже так думал, пока мало знал деревенскую Россию. Но потом, с годами, когда мне пришлось лучше узнать страну, я убедился, что почти нет такой деревни — даже самой захудалой, — где бы не было своих замечательных историй и людей.

Возьмем, к примеру, окрестности городка Ефремова в нынешней Тульской области — того самого Ефремова, что, по словам Чехова, был самым захолустным из всех уездных городов России. Какие же глухие деревни должны были окружать этот городок!

На первый взгляд это было действительно так. Но только на первый взгляд.

В 1924 году я прожил все лето под Ефремовом, в деревушке Богово. Шел седьмой год революции, но внешних перемен пока что было еще не так много.

Все те же лысоватые овсяные поля сухо шелестели за околицами, и по ним гулял волнами ветер. Все те же грудные дети в линялых грязных чепчиках лежали в зыбках, слепленные мухами. В базарные дни гремели по большаку телеги, и бабы в онучах тряслись на них и пели визгливыми и притворно веселыми голосами разухабистые песни. И сонно шумела у сгнившей плотины небольшая река Красивая Меча (местные жители называли ее Красивая Мечь).

Пожив в Богове, я узнал, что невдалеке от Ефремова сохранилась усадьба отца Лермонтова, где в рассохшемся доме висит на стене пыльный походный сюртук поэта. Говорили, что Лермонтов останавливался у отца, когда проезжал на Кавказ, в ссылку. Узнал, что на берегах Красивой Мечи охотился Иван Сергеевич Тургенев, а в Ефремове бывали Чехов и Бунин.

Но все это относилось к прошлому. Я же хотел найти черты настоящего, найти людей, связанных с новым временем.

Но как нарочно в Богове даже не было ни одного участника гражданской войны — никого, кто был бы свидетелем недавних событий. И тоже, как будто нарочно, в деревне жил какой-то отставной полковник, судя по рассказам, человек одинокий и молчаливый. Почему он поселился в Богове, никто мне не мог объяснить.

— Живет и живет, — говорили крестьяне. — Зла пока что не делает. Снял избу, сам себе варит картоху да от зари до зари сидит с удочкой на речке. Что с него взять — человек престарелый.

— Чего же он здесь живет?

— А шут его знает! Спрашивать его про это вроде как неудобно. Приехал в летошнем году и остался на жительство. Сторона у нас тихая. Ему, бывшему офицеру, тут, конечно, беспокойства поменьше. Сами знаете, офицер теперь вроде как ящурный. Каждый норовит его стороной обойти.

Встретился я с этим отставным полковником на Красивой Мече около мельничной плотины.

Был хмурый холодноватый день, какие иногда выдаются среди лета. Рыхлые облака ползли над землей, и из них нехотя падали капли дождя. Потом дождь стих.

Я пришел на мельничный омут ловить рыбу. На бревне около плотины сидел худой старик с длинной седой бородой, в старой офицерской шинели и серой кепке. Вместо золоченых форменных пуговиц к шинели были пришиты обыкновенные черные пуговицы, как на бабьих салопсах.

Старик курил короткую трубку, сделанную из колена газовой трубы. Она была, должно быть, очень тяжелая. Когда старик выбивал ее о бревно, то звук был такой, будто он вколачивает гвозди.

Ловил старик на одну удочку и первое время не обращал на меня внимания.

Я же ловил на три удочки, и потому у меня рыба все время срывалась. Пока я менял червя на одной удочке, на другой, как назло, обязательно клевало. Я хватался за нее, но было уже поздно, и я вытаскивал из воды только обрывок червя. Старик же время от времени неторопливо вываживал больших, свинцового цвета подустов и толстых плотниц.

Он неодобрительно покашливал, поглядывая на мою возню с удочками. Она его, видимо, раздражала. Наконец он не выдержал и сказал:

— Ловить следует, молодой человек, на одну удочку. Для душевного равновесия. А так вы только нервы себе испортите.

Я послушался его, смотал две удочки и начал ловить на одну. Тотчас же я вытащил крупного окуня. Старик усмехнулся.

— Видите, — сказал он. — По трем мишеням сразу из трех винтовок не стреляют, а преимущественно мажут. Вот вы и мажете так безбожно, что обидно смотреть.

С реки мы возвращались в Богово в поздние сумерки. Старик шел медленно, смотрел себе под ноги и ни разу не поднял головы. Поэтому до деревушки мы добрались уже в сырой и неуютной темноте.

Всю дорогу старик рассказывал мне, как варить горох для насадки на подуста, и у меня не было удобного случая, чтобы спросить его, кто же он такой и почему поселился в Богове. Здесь, как я знал, у него не было ни одной близкой души.

Багровые тучи на западе медленно гасли. Заунывно кричала выпь. Снова холодные дождевые капли на-

чали тяжело шелкать по лопухам. И эта угрюмость вечера каким-то образом передалась моим мыслям об одинокой старости, о человеке в потертой шинели, что брел рядом со мной.

Только один раз за время нашего разговора старик упомянул о себе и сказал, что до первой мировой войны он был комендантом крепости Осовец в Польше. Вот там-то на реке Бобре он ловил и не таких подустов!

Шло лето. Старик упорно молчал о своем прошлом, и спрашивать его об этом было действительно неудобно. Один раз я попытался обвиняками узнать у него, не нужно ли ему чем-нибудь помочь, но старик только усмехнулся на мои слова и ничего не ответил.

Вся история с этим стариком становилась что ни день, то загадочнее. Особенно когда я узнал, что каждый месяц он получает какую-то повестку из Ефремова, ходит в город и возвращается оттуда усталый, но довольный. И каждый раз приносит подарки деревенским детям и своей соседке Насте — многодетной, но не старой еще женщине, брошенной мужем. Детям — липкие леденцы, а Насте то пачку чая, то катушку ниток.

Я никогда не встречал существа более кроткого, чем Настя. Каждое ее слово и движение выдавали беспомощность и доброту. Она всегда виновато улыбалась, торопливо поправляла под платком волосы, и руки у нее дрожали. Смотрела она растерянно, а в избу к ней я просто стеснялся войти — Настя тотчас бросалась вытирать подолом лавку и стол, выгоняла в сени наседку с цыплятами, краснела до слез и все порывалась поставить погнутой позеленевший самовар.

Наконец пришла осень, и я собрался через несколько дней уезжать в Москву.

Иные места покидаешь и все же думаешь, что когда-нибудь сюда вернешься. Это легче, чем оставлять места, хорошо зная, что ты уезжаешь навсегда. При этом непременно возникает горькое чувство, будто ты оставляешь здесь частицу сердца.

Как бы ни было уныло и неприветливо покинутое место, как бы ты ни тяготился пребыванием в нем, всегда остается в душе сожаление, а может быть, и любовь.

Так, должно быть, мать любит своего хилого ребенка, играющего гнилой щепкой. Любит его до слез, до стона — беспомощного, обреченного на одиночество среди здоровых и смешливых детей.

О ребенке я подумал, очевидно, потому, что такой вот больной и тихий мальчик был у Насти. Звали его Петя.

Ему уже минуло шесть лет, но он почти не умел говорить. Весь день он сидел на дороге, пересыпал пыль из ладони в ладонь и молчал.

Однажды я подошел к нему, присел на корточки и заговорил с ним. Он со страхом взглянул на меня, сморщился и беззвучно затрясся — заплакал, уткнувшись лицом в рукав.

— Ты чего? — спросил я растерянно и дотронулся до его острого плеча, вздрагивающего под застиранной рубашонкой.

Я ничего не понимал. Я видел только огромное, бессловесное и темное горе этого маленького, захлебывающегося от слез существа.

— Ты чего? — повторил я, и внезапно меня, как лезвие ножа, полоснула мысль: «А может быть, он понимает, что с ним?»

Из избы выбежала Настя, схватила мальчика на руки и, как всегда виновато улыбаясь, сказала:

— Он у меня больненький, дурачок, глупенький мой. Вы не гневайтесь. Как его приласкаешь, он завсегда заплачет.

Неожиданно глаза у Насти потемнели, и она сказала злым голосом:

— Я бы их своими руками удавила, мужиков этих окаянных, иродов! Только и жизни, что жрать водку цельными ведрами да материться. Наплодят таких вот детей, а у тебя потом сердце изойдет кровью. Мой он мальчик, живой! И некому за него заступиться.

Как только я решил уезжать, мне тотчас захотелось остаться. Все вдруг открылось в новом облики — и люди, и пажити, и вся эта темная осенняя земля.

Шли дожди, густые пасмурные дни были похожи на рассветы, в избе стало холодно и сыро. И только вороха палых листьев освещали землю своим желтым холодноватым огнем.

Перед отъездом я в последний раз пошел со стариком — звали его Петром Степановичем — на рыбную ловлю. Дожди к тому времени прошли, но над землей по целым дням лежал туман. Он не рассеивался даже к полудню.

Я спросил старика, не нужно ли ему чего-нибудь в Москве.

— Нет, благодарствую, — ответил он. — Я-то Москву больше и не увижу. Здесь дотяну свои дни. Некуда мне ехать да и незачем. Я старый байбак — у меня ни жены, ни детей. А об друзьях и говорить нечего. Иные умерли, а остальные давно разбрелись — рассыпались кто куда. Да, признаться, в старой армии у меня и друзей-то не было. Раз-два — и обчелся.

— Почему? — спросил я.

— Я — солдатский сын. Отец мой был вахмистром. Родом я, как говорили в старое время, из мужичья, из простонародья. Черная кость. Ежели бы не это, то разве меня уволили бы в отставку из старой армии в чине полковника. Коменданту такой крепости, как Осовец, полагалось быть генералом. А меня, сказать по правде, только терпели за добросовестность да за познания в артиллерийском деле. Артиллерист я неплохой.

— Что же вы не женились?

— Теперь-то оно, конечно, обидно, — ответил старик и остановился передохнуть. Худой, высокий, чуть сгорбленный, он чем-то напоминал мне горестный образ Дон-Кихота. Глаза у старика слезились. Он вытащил красный клетчатый платок и вытер слезы.

— Теперь-то я жалею об этом, — сказал он, отдышавшись. — И не столько тому, что жены не было, бог с ней, с женой, насмотрелся я на этих офицерских жен — сколько тому, что не было у меня ни дочери, ни сына. А раз заботиться не о ком, то и существование, выходит, пустое. Холодное существование. Вот и возишься тут с чужими детьми, с такими пузырями.

Я, наконец, решил спросить:

— Как вы попали в Богово?

— Это, милый мой, длиннейшая история с географи-

ей. Расскажешь — все равно не поверите. Некий просто фантастический случай на старости лет. Собственно говоря, попал я сюда просто. Слышал про Красивую Мечу, про прелесть этих мест и решил здесь доживать свой век. Но решению этому предшествовало некое удивительное событие. Я ему и сам до сих пор удивляюсь.

— Какое событие?

— Нервные вы люди! — сказал укоризненно старик. — Я люблю обстоятельный разговор. А у вас все тыр-пыр — и нет ничего!

— Хорошо, Петр Степанович, — сказал я виновато. — Я не буду больше перебивать.

— Вот и прелестно! Произошла революция, а я в то время жил уже в отставке в Калязине. Ну, понятно, лишился пенсии, погоны спорол, пуговицы с гербами спорол, а пальтишка гражданского не достал. Не осилил. И понимаю, что надо мне из Калязина подаваться в те места, где меня никто не знает. А в Калязине я, как на юру. Понимаю, что надо мне затеряться среди людей. А уж где может быть многолюднее, чем в Москве. Пробрался в Москву, снял угол у старухи вдовы в Петровском парке. Денег у меня осталось от пенсии — всего ничего. Но тянусь, выкраиваю кое-как на пропитание. Старуха, хозяйка моя, женщина была рыхлая и довольно добрая, должно быть от болезни, — порок сердца у нее был. И дочка с ней жила, комсомолка. Та меня как будто не замечала. Уж не пойму — действительно не замечала или делала вид. Да я, вправду сказать, всегда был покладистым, а особенно — в то время, ежели принять во внимание тогдашнее мое пиковое положение. Лозунг был у таких, как я, один-единственный: сиди тихо и носа без особой надобности из норы не высывай. Натерла царская армия шею народу своим хомутом. Это я всегда понимал. А в жизни за все приходится расплачиваться.

Да, жил я скудно, скудней не придумаешь, покуда, наконец, не иссякли мои последние рубли. Умирать никому неохота, да и перед хозяйкой совестно. Не спал я две ночи, все думал, да и додумался только до того, чтобы идти милостыню просить, побираться, стать окончательным нищим.

Старик остановился и посмотрел на меня как будто с недоумением.

— Представьте себе, — стать форменным нищим! Это не жизнь, а могильное тление. Сам себе не рад и на себя смотришь с брезгливостью. И все думалось мне тогда — скорей бы бог смерть послал какую угодно, хоть самую подлую, чем жить в таком унижении. Иные привькают, а я не мог. Для нищенства тоже нужны сноровка, опыт, актерство. Ничего этого я не имел.

Я нищенствовал в Петровском парке, дальше не выходил, побаивался. Просил поближе к дому. Стою на углу, глаз не подымаю, совестно прохожим в лицо глядеть. Стою, опираюсь на палку и бормочу что-то такое, что мерзко даже вспомнить сейчас. «Подайте бездомному старику на кусок хлеба». Подавали, прямо скажу, плохо. Шинель моя офицерская всех отпугивала. А бывало и обижали так, что голова холодела от гнева. Но что поделаешь — сдерживался.

Вечером приду в свой угол, считаю мелочь, медяки — и ничего не вижу. Все туманом застилает. Поверите ли, неоднократно думал о том, чтобы наложить на себя руки. И если бы не один случай, так наложил бы. Не очень бы это дело затягивал.

Мы подошли со стариком к мельничному омуту и сели на сырое бревно — обычное место Петра Степановича.

— Что-то холодно, — пожаловался он и поднял ворот шинели. С изнанки ворот был синевато-серого свежего цвета, а с лица — выгоревший и пожелтевший.

Действительно похолодало, хотя и не было ветра. На облаках появился, как всегда в таких случаях, сизый, почти зимний налет.

— Да, — сказал старик, закуривая трубку, — однажды летом вернулся я домой раньше чем обыкновенно, с такой получкой, что и не поверите. Какой-то мальчишка подал мне пятак. И все! За весь день. В орлянку он, должно быть, этим пятаком играл — до того он был весь избитый и покалеченный. Его даже в трамвае бы не взяли, не то что на Инвалидном рынке.

Ноги у меня в то время уже начали опухать. Решил, — ночью окончу эту тягомотину, нет больше возможности за жизнь бороться. Да и зачем? Кому я нужен, отставной козы барабанщик? И как-то так странно подумалось, что все-таки надо бы попрощаться с род-

ной землей, ясным небом, с солнышком (оно уже клонилось к закату), с птицами и деревьями.

Вышел я на улицу и сел у ворот на лавочку. В ту пору улицы в Петровском парке были вроде как деревенские, позарастали травой и шумели над ними по ветру старые московские липы.

Сижу без всяких мыслей в голове. А наискосок, против нашего домишка, было общежитие летних учеников. Народ смешливый, буйный. Никому не давали проходу, особенно мне. Как завидят меня, повысунутся из окон и ну давай кричать: «Старый хрыч! Скобелев! Музейная редкость!» А я прохожу, будто глухой.

— Сижу я так-то на лавочке и вижу — идет по нашей стороне господин невысокого роста, в черном костюме, в кепке. Идет неторопливо, руки засунул за спину под пиджак и о чем-то, видимо, размышляет. Остановится, посмотрит на липы, будто ищет в них чего-то, и идет дальше. Поравнялся он со мной, остановился и говорит этак быстро и вроде шутливо:

— Вы разрешите мне с вами посидеть?

— Пожалуйста, — говорю. — Сидеть здесь никому не возбраняется. Только вы подальше от меня садитесь.

Он прищурился, перестал улыбаться и посмотрел на меня очень внимательно.

— Это почему же? — спрашивает.

Я молчу, а он повторяет:

— Это почему же?

— Вы что же, сами не видите, — отвечаю я несколько зло, — что я нищий.

Он опять взглянул на меня и говорит как бы про себя:

— Да, вижу. Худо вам живется.

— Уж чего хуже. Только и тяну, что из человеческой жалости. Побираюсь среди людей.

— Вы бывший офицер?

— Офицер, — отвечаю. — Собака! Клейменный человек — вот и все!

Он вдруг улыбнулся, да с такой добротой, что я даже несколько опешил.

— Пойдите, — говорит. — Вы не волнуйтесь. Офицеры тоже разные бывали.

— Вот то-то, что разные, а ответ у всех выходит один. Я сам когда-то был комендантом Осовца, всех

этих рукоусев, что норовили мордовать солдат, держал в страхе. Преследовал, сколько мог. Русский солдат — святой человек. Это вы запомните. Руками русского солдата вся наша история свершилась, да кстати и эта ваша революция.

Тут он откинулся несколько назад и залился таким смехом, что я чувствую, как заулыбался ему в ответ. Начал он меня расспрашивать про старую армию, про Осовец и про недавнюю войну. Я ему все обстоятельно объяснил. Сказал, между прочим, что мы, военные, давно знали из секретных приказов, что готовится война. Этими моими словами он почему-то особенно заинтересовался и все говорил: «Так-так! Ну-ну! Что же дальше?», а потом в упор меня спросил:

— А что вы думаете о большевиках? Получится у них что-нибудь?

— Как же, — говорю, — не получится! Что это вы, господин дорогой! Разве сами не видите! Хорошо-то это все хорошо, только следить надо, чтобы нравственного облика народ не терял.

Он снова посмотрел на меня даже как-то пытливо и говорит:

— Совершенно с вами согласен. А так жить, как вы, нельзя. Никак нельзя! Я напишу вам записку в одно место, сходите с этой запиской туда, и вам наверняка помогут.

Вынул блокнот, чего-то быстро там написал и подал мне. Я взял, сложил, засунул в карман. Что мне было в той записке! Кто это будет помогать офицеру? Но, конечно, я его поблагодарил за душевность, и он ушел. А я его вслед спрашиваю:

— Вы что же, гуляете по этим местам?

— Да, — говорит, — я был болен, и врачи приказали мне ежедневно гулять.

Ушел. У меня после этой встречи отлегло от сердца. «Вот думаю, есть еще благородные и отзывчивые люди на свете. Не погнушался этот господин знакомством со мной, поговорил с нищим, с бывшим офицером».

Сижу так, размышляю. Вижу, бегут ко мне летные ученики. Непонятно почему, но все какие-то взъерошенные, даже бледные. Подбегают, спрашивают: «Вы знаете, с кем вы говорили?» Откуда я знаю — с кем. Но у меня на тех летных учеников такое зло было, так наки-

пело на сердце за «старого хрыча» и «Скобелева», что я весь трясусь. «Знаю, говорю. Убирайтесь отсюда ко всем чертям. Вам бы только над старым человеком на-смешничать».

Они сразу осунулись, ушли. А вечером прислали с каким-то мальчишкой пачку чая и сахара не меньше фунта. «С чего бы это? — думаю. — Значит, прогнал я их, и заговорила в них совесть».

Молодежь я очень люблю. Если бы не было молодежи, то нам и жить было бы незачем. Скука была бы адовая. Так что эти летные ученики — не в счет.

Да, а я опять начал нищенствовать. Что поделаешь! Об этой записке позабыл. Засунул ее в старую книгу Данилевского «Сожженная Москва» — единственное мое достояние — и, представьте, позабыл. А среди зимы меня так зажало, что чувствую — упаду где-нибудь на улице в снег и окачурюсь. Тогда только и вспомнил о записке. Отыскал ее, а она вся помятая, будто жеваная.

На записке адрес написан, какое-то ведомство, — я не разобрал. А мне в то ведомство идти неудобно из-за такого непрезентабельного вида записки. Да и далеко куда-то идти, в центр, в город. Там я за свою нищенскую жизнь ни разу и не был. Все-таки пошел, решился. Хозяйка меня просто заставила идти. «Вы, Петр Степанович, говорит, ребенок, а не отставной полковник. Перед всем пасуете. Удивительно, как это вас назначили комендантом крепости. Вам бы гуманитарные науки преподавать, а не стрелять из пушек».

Иду и глаз не подымаю. С нищенских времен появилась у меня эта привычка — людям в глаза не смотреть. Так было легче. Не могу от этой привычки до сих пор избавиться. Да вы, должно быть, сами заметили. Старческие привычки очень назойливые, упорные.

Но в общем пришел. Ведомство большое, но тихое. Всюду ковровые дорожки лежат. Привратник или швейцар — не знаю, как их теперь называют — говорит мне довольно решительно: «Шинельку надо скинуть, гражданин». А как я ее скину. У меня под ней почти ничего нету. «Уважь, — говорю швейцару, — старика. Не срами. Я вот по этой записке». Показываю ему записку. Он посмотрел, весь заметался, пододвигает мне стул и говорит: «Посидите, папаша. Я мигом о вас доложу».

Ушел и возвращается тотчас же. А за ним выходит ко мне средних лет гражданин в очках, лицо строгое, но улыбается ласково. Берет меня под руку и ведет за собой. Я иду, а с моих опорок снег оттаявший сваливается целыми комьями. Набрался я сраму за всю свою жизнь.

Человек этот привел меня в кабинет, усадил в кожаное кресло, спросил, есть ли у меня какие-нибудь документы. Я все, что было, ему отдал. Пропадать так пропадать! Он вышел, а время идет. Прошло полчаса, сижу я один и уже не рад, что ввязался в эту историю. Думал было даже уйти, да никак нельзя без документов. Но тут вернулся этот человек — видимо, немалый начальник — и протягивает мне пенсионную книжку и ордера на питание и одежду и еще на что-то — не то на дрова, не то на лечение в клинике. Заставляет меня расписаться и дает мне пачку денег. «Это, говорит, в счет первой пенсии. Небось наголодались».

Я глазам своим не верю. Он успокаивает меня: «Что вы волнуетесь, Петр Степанович. Мы, говорит, труд высоко ценим, особенно такого знатока своего дела и честного человека, как вы. Вы получили по заслугам». — «Да откуда вы знаете про мои заслуги?» Он смеется. «Из вашего формуляра, говорит. Из вашего послужного списка». Господи! Это из офицерского-то формуляра! Ну и дела!

Попрощались мы с ним, как приятели. Я вышел, плетусь к себе в Петровский парк, головы не подымаю, — и слезы в глазах стоят, и привычку не могу преодолеть.

Дошел до Тверской улицы. Стемнело уже, и зажглись над тротуарами фонари. И витрины магазинов освещены. «Дай, думаю, зайду, куплю хоть хлеба и колбасы какой-нибудь подешевле, хозяйку угощу».

За всю дорогу поднял впервые глаза, и тут меня будто молнией ударило. Портрет в витрине выставлен. Гляжу — он! Тот самый невысокий господин, что дал мне записку! И под портретом подпись печатная: В. И. Ленин (Ульянов). И в соседней витрине — тоже он! Господи твоя воля!

Так я ничего не купил: заторопился домой. Внутри у меня все дрожало, и поверите — всю свою последнюю кровь готов я был отдать за того человека. Освободил он меня из моей душевной тюрьмы. В великом я долгу

перед ним и об одном-единственном сейчас жалею, что нечем мне отблагодарить. Нет уже ни сил, ни здоровья, ни времени впереди.

Пришел домой, можно сказать прибежал, и к дочке хозяйской, к комсомолке, бросился: «Достаньте мне портрет Ленина. Проверить мне надо одно обстоятельство». Она пошла к себе в комнатушку и принесла газету. Называлась она «Беднота». И в газете — его портрет. Да вот он, я его вам покажу.

Старик непослушными пальцами расстегнул шинель и вытащил старый, обвязанный тесемкой бумажник. Он развязал тесемку и вынул из бумажника сильно потертый портрет Ленина, вырезанный из газёты.

— С тех пор всю жизнь его с собой у сердца ношу, — сказал он глухим прерывающимся голосом. — Вот это был человек!

Голова у старика затряслась. Слезы потекли по его желтым сморщенным щекам, но он не вытирал их.

Мы долго сидели молча.

Туман густел, стекал с желтеющих ив большими каплями. Где-то далеко за самым краем земли покрикивал паровоз. Из Богава доносило слабый запах дыма и ржаного хлеба. На дороге за Красивой Мечой простучала телега и девичий голос запел:

Меж высоких хлебов затерялося  
Небогатое наше село...

— Вот видите, какая она, наша Россия, — сказал, помолчав, старик. — Я, голубчик, что-то устал. Года! Пойдемте!

Через десять лет случилось мне проезжать по железнодорожной ветке из Тулы в Елец мимо Ефремова.

Снова была осень. Жесткий вагон гремел, как жестяной. Мутно светили электрические лампочки. Вскрапывали усталые пассажиры. Против меня лежал на верхней полке бритый старик в высоких охотничьих сапогах. Разговорились. Оказалось, что старик едет в Ефремов. Он все приглядывался ко мне, потом сказал:

— Вроде знакомая личность. А где я вас встречал — не припоминаю. Не иначе, как в Бонове.

Оказалось, что это был кузнец из Бogoва. Меня он помнил, но я его никак не мог узнать. Кузнец рассказал мне, что отставной полковник умер лет шесть назад.

— Беззлoбный был человек, — сказал кузнец. — Пенсию получал от нашего правительства. За какие такие дела — об этом никому не известно. Сам он про это молчал. Жил скудно, деньги вроде копил. Вот и пошел по деревне слух, что скупость его одолела. Оно и верно — к старости человек большей частью скупееет. А на поверку вышло иное. Вышло так, что старик наш как почуял, что смерть близится, почитай все деньги отдал на нашу школу. Чтобы, гсворил, духовного облика народ не терял. И Насте — помните ее — оставил достаточно денег. Очень он страдал об мальчишке ее, об Пете. А Петя в запрошлый год умер. Не жилец был на этом свете! Не жилец! Я так полагаю, что это к лучшему.

В Ефремове кузнец сошел. Я вышел на платформу отдышаться от вагонной духоты. Поезд спал. От него тянуло маслянистым теплом.

Там, в ночи, где по моим расчетам находилось Богово и должна была лежать беспросветная тьма, светилось слабое голубоватое зарево.

Я долго гадал, что это за свет сейчас в Бogoве, но так и не догадался. А спросить было некого.

Все рассказанное выше — подлинная история. Повествование отставного полковника записано по памяти. Единственное, чего не сохранила моя память, это фамилию старика. Кажется, его звали Гавриловым, но утверждать этого я не берусь.

1956

## СТАРАЯ РУКОПИСЬ

Несколько лет назад я написал небольшой рассказ, но никому его не показывал и не пытался печатать, а спрятал его между страницами старой рукописи. Там этот рассказ и пролежал до сегодняшних дней.

Так сурово я обошелся с этим рассказом, потому что он показался мне излишне фантастическим и наивным. В нем не было тех твердых признаков действительности, какие придают любому вымыслу достоверность.

Обычно, если не считать нескольких крупных авторов (среди них надо упомянуть Жюль Верна, Герберта Уэллса и нашего писателя Ефремова), то фантастика выглядит в книгах топорно и холодновато. Люди играют сложную роль. Они бесцветны, слишком правильны, их внутренний мир очень скуден. Все это скучно и не заражает людей крылатостью, без которой трудно жить и дышать.

Когда я писал этот рассказ, было время всеобщего, но пока еще умозрительного увлечения межпланетными полетами. Имя Циолковского повторялось все чаще.

Мне случилось в это время попасть в Калугу и там я увидел на спуске к Оке маленький деревянный дом, где жил Циолковский.

Около дома был сад — очень среднерусский и скромный. В саду вздрагивала от летевшего косога дождя листва лип, а под забором цвела глухая крапива.

Еще недавно тут же, рядом седой и застенчивый человек размышлял над планами полетов на Марс и Венеру. Свет лампы из окна падал на куст сирени. Человек смотрел на этот куст. Он не мог не видеть его и не мог не думать об этом сыром саде и свернувшихся к вечеру цветах портулака и петунии. Они плотно закрывали свои лица лепестками, как бы страшась холода ночи, боясь взглянуть ему прямо в глаза.

Я сорвал травинку на краю тротуара, протянул ее между пальцами. Она тихонько скрипнула и запахла так, как пахнут по веснам луга. И я подумал, что там, на других планетах, наверное, нет ни таких травинок, ни таких дождевых капель, ни таких запущенных садов.

С тех пор прошло больше десяти лет. В 1961 году первый человек — летчик Гагарин — облетел на космической ракете вокруг земли. Первые его слова, когда он увидел землю с высоты трехсот километров, были очень простые: «Красота-то какая!» — сказал он и надолго замолчал.

Земля, окруженная черным мировым пространством,

сияла под ним огромной синей полусферой. Она напоминала полукружие прозрачного сапфира. В тех толщах воздуха, что были освещены боковым солнечным светом, горело радужное сияние.

Цвет воздушного пояса походил на голубизну южных водных пространств. Землю окружало как бы невесомое Средиземное море.

И весь этот праздничный океан света стремительно уносился в мировое пространство, ограждая и спасая землю от космического холода и мрака.

Я старался представить себя на месте летчика Гагарина. По своему влечению к поэзии я вспомнил слова Фета о бездне мирового эфира, «где каждый луч плотской и бесплотный твой только отблеск — о, солнце мира! — и только сон, только сон мимолетный», вспомнил его стихи о том, как «на огненных розах живой алтарь мирозданья курится».

Под «огненными розами» поэт подразумевал, конечно, звезды. Несколькими строками выше он сказал о них удивительно точные и какие-то трепетные слова: «В небе, как зов задушевный, мерцают звезд золотые ресницы».

Слова поэта как бы вплотную приближали космос к нашему человеческому земному восприятию, к нашим лирическим состояниям.

Я подумал, что теперь у нас неизбежно возникнет совершенно новая волна ощущений. Раньше в нашем сознании присутствовало загадочное, грозное и торжественное ощущение галактики, а теперь зарождается новая лирика межзвездных пространств. Первые слова об этом сказал старый поэт, глядя из своего ночного сада на роящееся звездное небо где-то в земной глуши около Курска. А вторые слова сказал летчик, увидев под собой земной шар.

Вот этот старый рассказ.

Человек был оторван от земли, брошен в мировое пространство, у него было очень мало надежды на возвращение «домой».

«Домом» он называл старую милую землю. Там набегали прибои, пахло укропом, каменистые дороги блестели от солнца, дети играли в скакалку.

Летчик по временам терял вес. Обморок — он казался хотя и невидимым, но живым существом — прикасался к нему, но летчик отстранял его легкой рукой, и обморок тоже, должно быть, потерявший вес, останавливался в нерешительности.

Неподвижное мировое пространство стояло за окнами несущейся кабины, как летаргия. Ей не было ни начала, ни конца. Только звезды напряженно пылали сквозь непроницаемую ночь мира и напоминали чрезмерно пристальные глаза.

В кабине было тепло, но гибельный космический холод гремел снаружи и сверкал черными изломами, догоняя ракету.

Летчик оцепенел. Он не мог собрать воедино свои разбросанные невесомые мысли. Иногда они метались, как пылинки в солнечном луче.

Летчик думал, что ему было бы легче, если бы он был не один. Нет, пожалуй, было бы страшнее. Он кое-как примирился с мыслью о собственной гибели, он не хотел, чтобы вместе с ним умирал еще другой человек.

Если бы этот человек был вместе с ним в кабине, то летчик, должно быть, больше всего боялся, чтобы этот второй человек не начал вспоминать о том, что где-нибудь у него в Ливнах окуривают сады от весенних заморозков. Или внезапно вот здесь, в безнадежности мирового пространства не полюбил бы милую женщину. Ее он давно забыл. Он не оставил на земле ни родных, ни друзей. Это обстоятельство он считал самым важным для себя в таком безумно рискованном деле, как полет в космос. Но теперь, головокружительно удаляясь от земли, он внезапно почувствовал бы нежность теплой женской ладони на своих губах. И тут же подобно взрыву глубоко и стремительно вернулась бы к нему любовь. И он закричал бы от отчаяния и от силы этой возвращенной любви.

«Хорошо, — думал летчик, — что я совершенно один и во всем этом вечном пространстве я первый, я один и нет рядом ни единой живой души».

Но, думая так, он обманывал самого себя. Конечно, он погибнет, но никто не увидит его смерти и никто и никогда на столетия вперед, кого он звал в последнее смертное мгновение.

Летчик ждал времени, назначенного для спуска. Еще

на земле срок спуска был рассчитан с точностью до сотой секунды.

Он взглянул на часы и усмехнулся. Абсурд! Часы делят время на равные промежутки, а времени здесь, во вселенной не было, нет и не будет. Есть только движение.

Время существует только на земле. Его выдумали люди, чтобы наглухо заключить в него свою жизнь. Зачем?

— Такой порядок! — беспомощно подумал летчик, но тут же сообразил, что было бы ужасно, если бы, предположим, Шекспир жил бесконечно и писал неизмеримое количество своих драм одна за другой.

Вообще бессмертие было бы величайшей пыткой и величайшим несчастьем для человека. Как же радоваться каждой новой весне, если ты будешь знать, что впереди их — тысячи и миллионы и что какой бы ни был исключительный миг на земле, он все равно рано или поздно повторится. И не один раз.

Оцепенение нарастало, глушило звуки. Летчику казалось, будто он навсегда освободился от власти земли, от всех земных законов.

Можно было спокойно уходить в бесконечность вселенной, закрыв глаза, едва чувствуя скользящее движение ракеты.

Но ракета не бесконечна во времени. Каким-то уголком сознания летчик понимал, что спокойствие — это смерть и что он, человек, так же смертен, как и этот самый сложный металлический снаряд, несущий его в галактике.

Он заставил себя приоткрыть глаза, снова взглянул на часы, услышал тихие и настойчивые сигналы с земли, похожие на ворчливое жужжание шмеля, и нажал рычаг торможения.

Земля начала разгораться, свет солнца стал ярче. Под кабиной в неизмеримой глубине и мгlistости пронеслись размытые очертания Африки, похожей на желтоватую наклейку на школьной карте.

Вернулась тяжесть. Летчик испытал ее возвращение, как легкий вздох, как спасение. Он подумал, что если ему суждено погибнуть, то не здесь, в мертвом одиночестве мирового пространства, а на милой земле. И, может быть, в последнее мгновение он услышит запах раз-

вороченной ударом земли — сырой, свежий, похожий на настой ромашки и мяты.

Оцепенение прошло. Земля неслась на него снизу вверх, нарушая все физические законы, неслась в пелене облаков и оловянном блеске морей.

— Кого я встречу первым на земле? — подумал он и неожиданно для себя запел, хотя хорошо знал, что этого делать нельзя. Он пел первое, что ему пришло в голову:

На старой Калужской дороге,  
На сорок девятой версте...

Приземлился он не на старой калужской дороге, а где-то в горах. Очевидно, он нажал рычаг торможения немного раньше, чем следовало.

Он вышел из кабины, тяжело качаясь, упал на нагретую солнцем щебенчатую землю и так пролежал без движения несколько часов. Только к концу дня, когда солнце начало клониться к закату, он пошевелился, открыл глаза и прислушался. Ему показалось, что солнечный свет шумит усыпительно и равномерно. Загадочный этот звук заставил его тяжело сесть и осмотреться.

Он лежал в кустах низкорослого цветущего боярышника на склоне горы, падавшей отвесной стеной в море, а оно спокойно несло к подножью этой горы прозрачные волны. Переливы этих волн колебали на листе боярышника свои слабые отблески.

Лазурь простиралась вокруг от земли до зенита — густая и чуть туманная, рожденная великим безветрием южной благословенной страны.

Среди кустов боярышника были разбросаны, как брызги золотой воды, венчики дрока. А над боярышником и дроком просвечивало небо. На нем застыли на той страшной высоте, где он только что был, облака, похожие на перья.

Хотелось пить. Флягу он оставил в кабине.

Где-то далеко, почти на самом краю земли прокричал петух, а в кустах затрещала, сердясь и вертясь, какая-то крошечная птица с красным горлом.

— Земля! — сказал летчик и погладил ладонью листья боярышника. — Скоро вечер. Скоро запоют соловьи.

— Земля! — повторил он громче, и тяжелый железный комок подкатил к горлу. Он плакал не скрываясь. Он плакал и думал, что имеет на это право. Никогда до этих пор он не знал, не видел, не думал, что земля так трогательна и так нежна.

— За одну минуту... — сказал он медленно и остановился. — За одну минуту жизни на этой земле я отдам все. За одну минуту!

Голова у него кружилась. В кустарнике что-то мелькнуло — белое и легкое — и он закричал:

— Ко мне!

Он кричал, он звал кого-то, но ему казалось будто он беспомощно кричит. Он не слышал собственного голоса. Он не видел, как девочка лет двенадцати -- обыкновенная мечтательная девочка, любившая бродить по склонам этой горы и представлять себя Золушкой, изгнанной из дома, бежала к нему.

Она задыхалась. Она сразу поняла, что это лежит разбившийся летчик. Она плакала и не вытирала слез. Они слетали с ее побледневших щек и брызгали на ее руки и светлое платье. Но после каждой тяжелой слезы глаза девочки сияли все больше и больше.

Летчик, очнувшись, увидел в этих глазах все, чего только можно ждать от жизни: лазурь, и блеск, и нежность, и страх за его жизнь, и любовь такую же робкую, как венчик совершенно крошечного горного цветка, щекотавшего его щеки.

— Вы откуда? — спросила шепотом девочка.

— Да. Я оттуда.

— Я помогу вам. Пойдемте! — сказала она, все еще плача.

Летчик протянул ей руку. Она взяла ее и вдруг прижалась к ней заплаканными глазами.

— Земля! — сказал летчик, пытаясь подняться. — Ты — земля! Ты — радость!

У него все время кружилась голова.

— Да, да, — торопливо повторяла девочка, не понимая, о чем говорит летчик. — Вы обопритесь на меня. Я сильная.

Летчик взглянул на ее худенькие загорелые руки все в веснушках и ласково потрепал их.

Вот, собственно, и все. Я мог бы кое-что добавить к этому рассказу, но не стоит нарушать старый текст. Да и что я могу добавить? Только свое глубокое, неумиряющее, завладевшее мной еще в юности восхищение перед жизнью, перед человеческим мужеством, перед своей страной, перед девической нежностью.

*Таруса  
Апрель 1961 г.*

## С Н Е Г

Старик Потапов умер через месяц после того, как Татьяна Петровна поселилась у него в доме. Татьяна Петровна осталась одна с дочерью Варей и старухой нянькой.

Маленький дом — всего в три комнаты — стоял на горе, над северной рекой, на самом выезде из городка. За домом, за облетевшим садом, белела березовая роща. В ней с утра до сумерек кричали галки, носились тучами над голыми вершинами, накликали ненастье.

Татьяна Петровна долго не могла привыкнуть после Москвы к пустынному городку, к его домишкам, скрипучим калиткам, к глухим вечерам, когда было слышно, как потрескивает в керосиновой лампе огонь.

«Какая я дура! — думала Татьяна Петровна. — Зачем уехала из Москвы, бросила театр, друзей! Надо было отвезти Варю к няньке в Пушкино — там не было никаких налетов, — а самой остаться в Москве. Боже мой, какая я дура!»

Но возвращаться в Москву было уже нельзя. Татьяна Петровна решила выступать в лазаретах — их было несколько в городке — и успокоилась. Городок начал ей даже нравиться, особенно когда пришла зима и завалила его снегом. Дни стояли мягкие, серые. Река долго не замерзала; от ее зеленой воды поднимался пар.

Татьяна Петровна привыкла и к городку и к чужому дому. Привыкла к расстроенному роялю, к пожелтевшим фотографиям на стенах, изображавшим неуклюжие броненосцы береговой обороны. Старик Потапов был в прошлом корабельным механиком. На его дись-

менном столе с выцветшим зеленым сукном стояла модель крейсера «Громобой», на котором он плавал. Варе не позволяли трогать эту модель. И вообще не позволяли ничего трогать.

Татьяна Петровна знала, что у Потапова остался сын моряк, что он сейчас в Черноморском флоте. На столе рядом с моделью крейсера стояла его карточка. Иногда Татьяна Петровна брала ее, рассматривала и, нахмутив тонкие брови, задумывалась. Ей все казалось, что она где-то его встречала, но очень давно, еще до своего неудачного замужества. Но где? И когда?

Моряк смотрел на нее спокойными, чуть насмешливыми глазами, будто спрашивал: «Ну что ж? Неужели вы так и не припомните, где мы встречались?»

— Нет, не помню, — тихо отвечала Татьяна Петровна.

— Мама, с кем ты разговариваешь? — кричала из соседней комнаты Варя.

— С роялем, — смеялась в ответ Татьяна Петровна.

Среди зимы начали приходиться письма на имя Потапова, написанные одной и той же рукой. Татьяна Петровна складывала их на письменном столе. Однажды ночью она проснулась. Снега тускло светили в окна. На диване всхрапывал серый кот Архип, оставшийся в наследство от Потапова.

Татьяна Петровна накинула халат, пошла в кабинет к Потапову, постояла у окна. С дерева беззвучно сошла птица, стряхнула снег. Он долго сыпал белой пылью, запорошил стекла.

Татьяна Петровна зажгла свечу на столе, села в кресло, долго смотрела на язычок огня, — он даже не вздрагивал. Потом она осторожно взяла одно из писем, распечатала и, оглянувшись, начала читать.

«Милый мой старик, — читала Татьяна Петровна, — вот уже месяц, как я лежу в госпитале. Рана не очень тяжелая. И вообще она заживает. Ради бога, не волнуйся и не кури папиросу за папиросой. Умоляю!»

«Я часто вспоминаю тебя, папа, — читала дальше Татьяна Петровна, — и наш дом, и наш городок. Все это страшно далеко, как будто на краю света. Я закрываю глаза и тогда вижу: вот я отворяю калитку, вхожу в сад. Зима, снег, но дорожка к старой беседке над обрывом расчищена, а кусты сирени все в инее. В

комнатах трещат печи. Пахнет березовым дымом. Рояль, наконец, настроен, и ты вставил в подсвечники витые желтые свечи — те, что я привез из Ленинграда. И те же ноты лежат на рояле: увертюра к «Пиковой даме» и романс «Для берегов отчизны дальней». Звонит ли колокольчик у дверей? Я так и не успел его починить. Неужели я все это увижу опять? Неужели опять буду умываться с дороги нашей колодезной водой из кувшина? Помнишь? Эх, если бы ты знал, как я полюбил все это отсюда, издали! Ты не удивляйся, но я говорю тебе совершенно серьезно: я вспоминал об этом в самые страшные минуты боя. Я знал, что защищаю не только всю страну, но и вот этот ее маленький и самый милый для меня уголок — и тебя, и наш сад, и вихрастых наших мальчишек, и березовые рощи за рекой, и даже кота Архипа. Пожалуйста, не смейся и не качай головой.

Может быть, когда выпишусь из госпиталя, меня отпустят ненадолго домой. Не знаю, но лучше не жди.

Татьяна Петровна долго сидела у стола, смотрела широко открытыми глазами за окно, где в густой синеве начинался рассвет, думала, что вот со дня на день может приехать с фронта в этот дом незнакомый человек и ему будет тяжело встретить здесь чужих людей и увидеть все совсем не таким, каким он хотел бы увидеть.

Утром Татьяна Петровна сказала Варе, чтобы она взяла деревянную лопату и расчистила дорожку к беседке над обрывом. Беседка была совсем ветхая. Деревянные ее колонки поседели, заросли лишаями. А сама Татьяна Петровна исправила колокольчик над дверью. На нем была отлита смешная надпись: «Я вишу у дверей — звони веселей!» Татьяна Петровна тронула колокольчик. Он зазвенел высоким голосом. Кот Архип недовольно задергал ушами, обиделся, ушел из прихожей: веселый звон колокольчика казался ему, очевидно, нахальным.

Днем Татьяна Петровна, румяная, шумная, с потемневшими от волнения глазами, привела из города старика настройщика, обрусевшего чеха, занимавшегося починкой примусов, керосинок, кукол, гармоник и

настройкой роялей. Фамилия у настройщика была очень смешная: Невидаль. Чех, настроив рояль, сказал, что рояль старый, но очень хороший. Татьяна Петровна и без него это знала.

Когда он ушел, Татьяна Петровна осторожно заглянула во все ящики письменного стола и нашла пачку витых толстых свечей. Она вставила их в подсвечники на рояле. Вечером она зажгла свечи, села к роялю, и дом наполнился звоном.

Когда Татьяна Петровна перестала играть и погасила свечи, в комнатах запахло сладким дымом, как бывает на елке.

Варя не выдержала.

— Зачем ты трогаешь чужие вещи? — сказала она Татьяне Петровне. — Мне не позволяешь, а сама трогаешь? И колокольчик, и свечи, и рояль — все трогаешь. И чужие ноты на рояль положила.

— Потому что я взрослая, — ответила Татьяна Петровна.

Варя, насупившись, недоверчиво взглянула на нее. Сейчас Татьяна Петровна меньше всего походила на взрослую. Она вся как будто светилась и была больше похожа на ту девушку с золотыми волосами, которая потеряла хрустальную туфлю во дворце. Об этой девушке Татьяна Петровна сама рассказывала Варе.

Еще в поезде лейтенант Николай Потапов высчитал, что у отца ему придется пробыть не больше суток. Отпуск был очень короткий, и дорога отнимала все время.

Поезд пришел в городок днем. Тут же, на вокзале, от знакомого начальника станции лейтенант узнал, что отец его умер месяц назад и что в их доме поселилась с дочерью молдая певица из Москвы.

— Эвакуированная, — сказал начальник станции.

Потапов молчал, смотрел за окно, где бежали с чайниками пассажиры в ватниках, в валенках. Голова у него кружилась.

— Да, — сказал начальник станции, — хорошей души был человек. Так и не довелось ему повидать сына.

— Когда обратный поезд? — спросил Потапов.

— Ночью, в пять часов, — ответил начальник станции, помолчал, потом добавил: — Вы у меня перебудь-

те. Старуха моя вас напоит чайком, накормит. Домой вам идти пезачем.

— Спасибо, — ответил Потапов и вышел.

Начальник посмотрел ему вслед, покачал головой.

Потапов прошел через город, к реке. Над ней висело сизое небо. Между небом и землей наискось летел редкий снежок. По унавоженной дороге ходили галки. Темнело. Ветер дул с того берега, из лесов, выдувал из глаз слезы.

«Ну что ж! — сказал Потапов. — Опоздал. И теперь это все для меня будто чужое — и городок этот, и река, и дом».

Он оглянулся, посмотрел на обрыв за городом. Там стоял в инее сад, темнел дом. Из трубы его подымался дым. Ветер уносил дым в березовую рощу.

Потапов медленно пошел в сторону дома. Он решил в дом не заходить, а только пройти мимо, быть может, заглянуть в сад, постоять в старой беседке. Мысль о том, что в отцовском доме живут чужие, равнодушные люди, была невыносима. Лучше ничего не видеть, не растревлять себе сердца, уехать и забыть о прошлом!

«Ну что же, — подумал Потапов, — с каждым днем делаешься взрослее, все строже смотришь вокруг».

Потапов подошел к дому в сумерки. Он осторожно открыл калитку, но все же она скрипнула. Сад как бы вздрогнул. С веток сорвался снег, зашуршал. Потапов оглянулся. К беседке вела расчищенная в снегу дорожка. Потапов прошел в беседку, положил руки на старенькие перила. Вдали, за лесом, мутно розовело небо — должно быть, за облаками подымалась луна. Потапов снял фуражку, провел рукой по волосам. Было очень тихо, только внизу, под горой, бренчали пустыми ведрами женщины — шли к проруби за водой.

Потапов облокотился о перила, тихо сказал:

— Как же это так?

Кто-то осторожно тронул Потапова за плечо. Он оглянулся. Позади него стояла молодая женщина с бледным строгим лицом, в накинутом на голову теплом платке. Она молча смотрела на Потапова темными внимательными глазами. На ее ресницах и щеках таял снег, осыпавшийся, должно быть, с веток.

— Наденьте фуражку, — тихо сказала женщина, —

вы простудитесь. И пойдите в дом. Не надо здесь стоять.

Потапов молчал. Женщина взяла его за рукав и повела по расчищенной дорожке. Около крыльца Потапов остановился. Судорога сжала ему горло, он не мог вдохнуть. Женщина так же тихо сказала:

— Это ничего. И вы, пожалуйста, меня не стесняйтесь. Сейчас это пройдет.

Она постучала ногами, чтобы сбить снег с ботишков. Тотчас в сенях отозвался, зазвенел колокольчик. Потапов глубоко вздохнул, перевел дыхание.

Он вошел в дом, что-то смущенно бормоча, снял в прихожей шинель, почувствовал слабый запах березового дыма и увидел Архипа. Архип сидел на диване и зевал. Около дивана стояла девочка с косичками и радостными глазами смотрела на Потапова, но не на его лицо, а на золотые нашивки на рукаве.

— Пойдемте! — сказала Татьяна Петровна и провела Потапова на кухню.

Там в кувшине стояла холодная колодезная вода, висело знакомое льняное полотенце с вышитыми дубовыми листьями.

Татьяна Петровна вышла. Девочка принесла Потапову мыло и смотрела, как он мылся, сняв китель. Смущение Потапова еще не прошло.

— Кто же твоя мама? — спросил он девочку и покраснел.

Вопрос этот он задал, лишь бы что-нибудь спросить.

— Она думает, что она взрослая, — таинственно прошептала девочка. — А она совсем не взрослая. Она хуже девочка, чем я.

— Почему? — спросил Потапов.

Но девочка не ответила, засмеялась и выбежала из кухни.

Потапов весь вечер не мог избавиться от странного ощущения, будто он живет в легком, но очень прочном сне. Все в доме было таким, каким он хотел его видеть. Те же ноты лежали на рояле, те же витые свечи горели, потрескивая, и освещали отцовский кабинет. Даже на столе лежали его письма из госпиталя — лежали под тем же старым компасом, под который отец всегда клал письма.

После чая Татьяна Петровна провела Потапова на

могилу отца, за рошу. Туманная луна поднялась уже высоко. В ее свете слабо светились березы, бросали на снег легкие тени.

А потом, поздним вечером, Татьяна Петровна, сидя у рояля и осторожно перебирая клавиши, обернулась к Потапову и сказала:

— Мне все кажется, что где-то я уже видела вас.

— Да, пожалуй, — ответил Потапов.

Он посмотрел на нее. Свет свечей падал сбоку, освещал половину ее лица. Потапов встал, прошел по комнате из угла в угол, остановился.

— Нет, не могу припомнить, — сказал он глухим голосом.

Татьяна Петровна обернулась, испуганно посмотрела на Потапова, но ничего не ответила.

Потапов постелили в кабинете на диване, но он не мог уснуть. Каждая минута в этом доме казалась ему драгоценной, и он не хотел терять ее.

Он лежал, прислушивался к воровским шагам Архипа, к дребезжанию часов, к шепоту Татьяны Петровны, — она о чем-то говорила с нянькой за закрытой дверью. Потом голоса затихли, нянька ушла, но полоска света под дверью не погасла. Потапов слышал, как шелестят страницы, — Татьяна Петровна, должно быть, читала. Потапов догадывался: она не ложится, чтобы разбудить его к поезду. Ему хотелось сказать ей, что он тоже не спит, но он не решился окликнуть Татьяну Петровну.

В четыре часа Татьяна Петровна тихо открыла дверь и позвала Потапова. Он зашевелился.

— Пора, вам надо вставать, — сказала она. — Очень жалко мне вас будить!

Татьяна Петровна проводила Потапова на станцию через ночной город. После второго звонка они попрощались. Татьяна Петровна протянула Потапову обе руки, сказала:

— Пишите. Мы теперь как родственники. Правда?

Потапов ничего не ответил, только кивнул головой.

Через несколько дней Татьяна Петровна получила от Потапова письмо с дороги.

«Я вспомнил, конечно, где мы встречались, — писал Потапов, — но не хотел говорить вам об этом там, дома.

Помните. Крым в двадцать седьмом году? Осень. Старые платаны в Ливадийском парке. Меркнувшее небо, бледное море. Я шел по тропе в Ореанду. На скамейке около тропы сидела девушка. Она увидела меня, встала и пошла навстречу. Когда мы поравнялись, я взглянул на нее. Она прошла мимо меня быстро, легко, держа в руке раскрытую книгу. Я остановился, долго смотрел ей вслед. Этой девушкой были вы. Я не мог ошибиться. Я смотрел вам вслед и почувствовал тогда, что мимо меня прошла женщина, которая могла бы и разрушить всю мою жизнь и дать мне огромное счастье. Я понял, что могу полюбить эту женщину до полного отречения от себя. Тогда я уже знал, что должен найти вас, чего бы это ни стоило. Так я думал тогда, но все же не двинулся с места. Почему — не знаю. С тех пор я полюбил Крым и эту тропу, где я видел вас только мгновение и потерял навсегда. Но жизнь оказалась милостивой ко мне, я встретил вас. И если все окончится хорошо и вам понадобится моя жизнь, она, конечно, будет ваша. Да, я нашел на столе у отца свое распечатанное письмо. Я понял все и могу только благодарить вас издали».

Татьяна Петровна отложила письмо, туманными глазами посмотрела на снежный сад за окном, сказала:

— Боже мой, я никогда не была в Крыму! Никогда! Но разве теперь это может иметь хоть какое-нибудь значение? И стоит ли разуберять его? И себя!

Она засмеялась, закрыла глаза ладонью. За окном горел, никак не мог погаснуть неяркий закат.

1943

## ДОЖДЛИВЫЙ РАССВЕТ

В Наволоки пароход пришел ночью. Майор Кузьмин вышел на палубу. Моросил дождь. На пристани было пусто, — горел только один фонарь.

«Где же город? — подумал Кузьмин. — Тьма, дождь — черт знает что!»

Он поежился, застегнул шинель. С реки задувал холодный ветер. Кузьмин разыскал помощника капитана, спросил, долго ли пароход простоит в Наволоках.

— Часа три, — ответил помощник. — Смотря по погрузке. А вам зачем? Ры же едете дальше.

— Письмо надо передать. От соседа по госпиталю. Его жене. Она здесь, в Наволоках.

— Да, задача! — вздохнул помощник. — Хоть глаз выколи! Гудки слушайте, а то останетесь.

Кузьмин вышел на пристань, поднялся по скользкой лестнице на крутой берег. Было слышно, как шуршит в кустах дождь. Кузьмин постоял, чтобы глаза привыкли к темноте, увидел понурюю лошадь, кривую извозчицью пролетку. Верх пролетки был поднят. Из-под него слышался храп.

— Эй, приятель, — громко сказал Кузьмин, — царство божие проспишь!

Извозчик заворочался, вылез, высморкался, вытер нос полой армяка и только тогда спросил:

— Поедем, что ли?

— Поедем, — согласился Кузьмин.

— А куда везти?

Кузьмин назвал улицу.

— Далеко, — забеспокоился извозчик. — На горе. Не меньше как на четвертинку взять надо.

Он задергал вожжами, зачмокал. Пролетка нехотя тронулась.

— Ты что же, единственный в Наволоках извозчик? — спросил Кузьмин.

— Двое нас, стариков. Остальные сражаются. А вы к кому?

— К Башиловой.

— Знаю, — извозчик живо обернулся. — К Ольге Андреевне, доктора Андрея Петровича дочке. Простой зимой из Москвы приехала, поселилась в отцовском доме. Сам Андрей Петрович два года как помер, а дом ихний...

Пролетка качнулась, залязгала и вылезла из ухаба.

— Ты на дорогу смотри, — посоветовал Кузьмин. — Не оглядывайся.

— Дорога действительно... — пробормотал извозчик. — Тут днем ехать, конечно, сробеешь. А ночью ничего. Ночью ям не видно.

Извозчик замолчал. Кузьмин закурил, откинулся в глубь пролетки. По поднятому верху барабанил дождь. Далеко лаяли собаки. Пахло укропом, мокрыми заборами, речной сыростью. «Час ночи, не меньше», — подумал Кузьмин. Тотчас где-то на колокольне надтреснутый колокол действительно пробил один удар.

«Остаться бы здесь на весь отпуск, — подумал Кузьмин. — От одного воздуха все пройдет, все неприятности после ранения. Снять комнату в домишке с окнами в сад. В такую ночь открыть настежь окна, лечь, укрыться и слушать, как дождь стучит по лопухам».

— А вы не муж ихний? — спросил извозчик.

Кузьмин не ответил. Извозчик подумал, что военный не расслышал его вопроса, но второй раз спросить не решился. «Ясно, муж, — сообразил извозчик. — А люди болтают, что она мужа бросила еще до войны. Врут, надо полагать».

— Но, сатана! — крикнул он и хлестнул вожжой косящую лошадь. — Нанялась тесто месить!

«Глупо, что пароход опоздал и пришел ночью, — подумал Кузьмин. — Почему Башилов — его сосед по палате, когда узнал, что Кузьмин будет проезжать мимо Наволок, попросил передать письмо жене непременно из рук в руки? Придется будить людей, бог знает что еще могут подумать!»

Башилов был высокий насмешливый офицер. Говорил он охотно и много. Перед тем как сказать что-нибудь острое, он долго и беззвучно смеялся. До призыва в армию Башилов работал помощником режиссера в кино. Каждый вечер он подробно рассказывал соседям по палате о знаменитых фильмах. Раненые любили рассказы Башилова, ждали их и удивлялись его памяти. В своих оценках людей, событий, книг Башилов был резок, очень упрям и высмеивал каждого, кто пытался ему возражать. Но высмеивал хитро — намеками, шутками, — и высмеиванный обыкновенно только через час-два спохватывался, соображал, что Башилов его обидел, и придумывал ядовитый ответ. Но отвечать, конечно, было уже поздно.

За день до отъезда Кузьмина Башилов передал ему письмо для своей жены, и впервые на лице у Башилова Кузьмин заметил растерянную улыбку. А потом ночью Кузьмин слышал, как Башилов ворочался на койке и

сморкался. «Может быть, он и не такой уже сухарь, — подумал Кузьмин. — Вот, кажется, плачет. Значит, любит. И любит сильно».

Весь следующий день Башилов не отходил от Кузьмина, поглядывал на него, подарил офицерскую флягу, а перед самым отъездом они выпили вдвоем бутылку припрятанного Башиловым вина.

— Что вы на меня так смотрите? — спросил Кузьмин.

— Хороший вы человек, — ответил Башилов. — Вы могли бы быть художником, дорогой майор.

— Я топограф, — ответил Кузьмин. — А топографы по натуре — те же художники.

— Почему?

— Бродяги, — неопределенно ответил Кузьмин.

— «Изгнанники, бродяги и поэты, — насмешливо продекламировал Башилов, — кто жаждал быть, но стать ничем не смог».

— Это из кого?

— Из Волошина. Но не в этом дело. Я смотрю на вас потому, что завидую. Вот и все.

— Чему завидуете?

Башилов повертел стакан, откинулся на спинку стула и усмехнулся. Сидели они в конце госпитального коридора у плетеного столика. За окном ветер гнул молодые деревья, шумел листьями, нес пыль. Из-за реки шла на горд дождевая туча.

— Чему завидую? — переспросил Башилов и положил свою красную руку на руку Кузьмина. — Всему. Даже вашей руке.

— Ничего не понимаю, — сказал Кузьмин и осторожно убрал свою руку. Прикосновение холодной руки Башилова было ему неприятно. Но чтобы Башилов этого не заметил, Кузьмин взял бутылку и начал наливать вино.

— Ну и не понимайте! — ответил Башилов сердито. Он помолчал и заговорил, опустив глаза: — Если бы мы могли поменяться местами! Но, в общем, все это чепуха! Через два дня вы будете в Наволоках. Увидите Ольгу Андреевну. Она пожмет вам руку. Вот я и завидую. Теперь-то вы понимаете?

— Ну что вы! — сказал, растерявшись, Кузьмин. — Вы тоже увидите вашу жену.

— Она мне не жена! — резко ответил Башилов. — Хорошо еще, что вы не сказали «супруга».

— Ну, извините, — пробормотал Кузьмин.

— Она мне не жена! — так же резко повторил Башилов. — Она — все! Вся моя жизнь. Ну, довольно об этом!

Он встал и протянул Кузьмину руку:

-- Прощайте. А на меня не сердитесь. Я не хуже других.

Пролетка въехала на дамбу. Темнота стала гуще. В старых ветлах сонно шумел, стекал с листьев дождь. Лошадь застучала копытами по настилу моста.

«Далеко все-таки!» — вздохнул Кузьмин и сказал извозчику:

— Ты меня подожди около дома. Отвезешь обратно на пристань...

— Это можно, — тотчас согласился извозчик и подумал: «Нет, видать, не муж. Муж бы наверняка остался на день-другой. Видать, посторонний».

Началась бульжная мостовая. Пролетка затряслась, задрезжала железными подножками. Извозчик свернул на обочину. Колеса мягко покатались по сырому песку. Кузьмин снова задумался.

Вот Башилов позавидовал ему. Конечно, никакой зависти не было. Просто Башилов сказал не то слово. После разговора с Башиловым у окна в госпитале, наоборот, Кузьмин начал завидовать Башилову. «Опять не то слово?» — с досадой сказал про себя Кузьмин. Он не завидовал. Он просто жалел. О том, что вот ему сорок лет, но не было у него еще такой любви, как у Башилова. Всегда он был один.

«Ночь, дождь шумит по пустым садам, чужой городок, с лугов несет туманом, — так и жизнь пройдет», — почему-то подумал Кузьмин.

Снова ему захотелось остаться здесь. Он любил русские городки, где с крылечек видны заречные луга, широкие взвозы, телеги с сеном на пармах. Эта любовь удивляла его самого. Вырос он на юге, в морской семье. От отца осталось у него пристрастие к изысканиям, географическим картам, скитальчеству. Поэтому он и стал топографом. Профессию эту Кузьмин считал все же слу-

чайной и думал, что если бы родился в другое время, то был бы охотником, открывателем новых земель. Ему нравилось так думать о себе, но он ошибался. В характере у него не было ничего, что свойственно таким людям. Кузьмин был застенчив, мягок с окружающими. Легкая седина выдавала его возраст. Но, глядя на этого худенького, невысокого офицера, никто бы не дал ему больше тридцати лет.

Пролетка въехала, наконец, в темный городок. Только в одном доме, должно быть в аптеке, горела за стеклянной дверью синяя лампочка. Улица пошла в гору. Извозчик слез с козел, чтобы лошади было легче. Кузьмин тоже слез. Он шел, немного отстав, за пролеткой и вдруг почувствовал всю странность своей жизни. «Где я? — подумал он. — Какие-то Наволоки, глушь, лошадь высекает искры подковами. Где-то рядом — неизвестная женщина. Ей надо передать ночью важное и, должно быть, невеселое письмо. А два месяца назад были фронт, Польша, широкая тихая Висла. Странно как-то! И хорошо».

Гора окончилась. Извозчик свернул в боковую улицу. Тучи кое-где разошлись, и в черноте над головой то тут, то там зажигалась звезда. Поблестев в лужах, она гасла.

Пролетка остановилась около дома с мезонином.

— Приехали! — сказал извозчик. — Звонок у калитки, с правого боку.

Кузьмин ощупью нашел деревянную ручку звонка и потянул ее, но никакого звонка не услышал — только завизжала ржавая проволока.

— Шибче тяните! — посоветовал извозчик.

Кузьмин снова дернул за ручку. В глубине дома заболтал колокольчик. Но в доме было по-прежнему тихо, — никто, очевидно, не проснулся.

— Ох-хо-хо! — зевнул извозчик. — Ночь дождливая — самый крепкий сон.

Кузьмин подождал, позвонил сильнее. На деревянной галерейке послышались шаги. Кто-то подошел к двери, остановился, послушал, потом недовольно спросил:

— Кто такие? Чего надо?

Кузьмин хотел ответить, но извозчик его опередил.

— Отворяй, Марфа, — сказал он. — К Ольге Андреевне приехали. С фронта.

— Кто с фронта? — так же неласково спросил за дверью голос. Мы никого не ждем.

— Не ждете, а дождались!

Дверь приоткрылась на цепочке. Кузьмин сказал в темноту, кто он и зачем приехал.

— Батюшки! — испуганно сказала женщина за дверью. — Беспокойство вам какое! Сейчас отомкну. Ольга Андреевна спит. Вы зайдите, я ее разбужу.

Дверь отворилась, и Кузьмин вошел в темную галерейку.

— Тут ступеньки, — предупредила женщина уже другим, ласковым голосом. — Ночь-то какая, а вы приехали! Обождите, не ушибитесь. Я сейчас лампу засвечу, — у нас по ночам огня нету.

Она ушла, а Кузьмин остался на галерейке. Из комнаты тянуло запахом чая и еще каким-то слабым и приятным запахом. На галерейку вышел кот, потерся о ноги Кузьмина, промурлыкал и ушел обратно в ночные комнаты, как бы приглашая Кузьмина за собой.

За приоткрытой дверью задрожал слабый свет.

— Пожалуйте, — сказала женщина.

Кузьмин вошел. Женщина поклонилась ему. Это была высокая старуха с темным лицом. Кузьмин, стараясь не шуметь, снял шинель, фуражку, повесил на вешалку около двери.

— Да вы не беспокойтесь, все равно Ольгу Андреевну будить придется, — улыбнулась старуха.

— Гудки с пристани здесь слышно? — вполголоса спросил Кузьмин.

— Слышно, батюшка! Хорошо слышно. Неужто с парохода да на пароход! Вот тут садитесь, на диван.

Старуха ушла. Кузьмин сел на диван с деревянной спинкой, поколебался, достал папиросу, закурил. Он волновался, и непонятное это волнение его сердило. Им овладело то чувство, какое всегда бывает, когда попадаешь ночью в незнакомый дом, в чужую жизнь, полную тайн и догадок. Эта жизнь лежит как книга, забытая на столе на какой-нибудь шестьдесят пятой странице. Заглядываешь на эту страницу и стараешься угадать: о чем написана книга, что в ней?

На столе действительно лежала раскрытая книга. Кузьмин встал, наклонился над ней и, прислушиваясь к

торопливому шепоту за дверью и шелесту платья, прочел про себя давно забытые слова:

И невозможное возможно,  
Дорога дальняя легка,  
Когда блеснет в дали дорожной  
Мгновенный взор из-под платка...

Кузьмин поднял голову, осмотрелся. Низкая теплая комната опять вызвала у него желание остаться в этом городке.

Есть особенный простодушный уют в таких комнатах с висячей лампой над обеденным столом, с ее белым матовым абажуром, с оленьими рогами над картиной, изображающей собаку около постели больной девочки. Такие комнаты вызывают улыбку — так все старомодно, давно позабыто.

Все вокруг, даже пепельница из розовой раковины, говорило о мирной и долгой жизни, и Кузьмин снова подумал о том, как хорошо было бы остаться здесь и жить так, как жили обитатели старого дома — неторопливо, в чередовании труда и отдыха, зим, весен, дождливых и солнечных дней.

Но среди старых вещей в комнате были и другие. На столе стоял букет полевых цветов — ромашки, медуницы, дикой рябинки. Букет был собран, должно быть, недавно. На скатерти лежали ножницы и отрезанные ими лишние стебли цветов.

И рядом — раскрытая книга Блока «Дорога дальняя легка». И черная маленькая женская шляпа на рояле, на синем плюшевом альбоме для фотографий. Совсем не старинная, а очень современная шляпа. И небрежно брошенные на столе часики в никелевом браслете. Они шли бесшумно и показывали половину второго. И всегда немного печальный, особенно в такую позднюю ночь, запах духов.

Одна створка окна была открыта. За ней, за вазонами с бегонией, поблескивал от неяркого света, падавшего из окна, мокрый куст сирени. В темноте перешептывался слабый дождь. В жестяном желобе торопливо стучали тяжелые капли.

Кузьмин прислушался к стуку капель. Веками мучавшая людей мысль о необратимости каждой минуты пришла ему в голову именно сейчас, ночью, в незнакомом

доме, откуда через несколько минут он уйдет и куда никогда не вернется.

«Старость это, что ли?» — подумал Кузьмин и обернулся.

На пороге комнаты стояла молодая женщина в черном платье. Очевидно, она торопилась выйти к нему и плохо причесалась. Одна коса упала ей на плечо, и женщина, не спуская глаз с Кузьмина и смущенно улыбаясь, подняла ее и приколола шпилькой к волосам на затылке. Кузьмин поклонился.

— Извините, — сказала женщина и протянула Кузьмину руку. — Я вас заставила ждать.

— Вы Ольга Андреевна Башилова?

— Да.

Кузьмин смотрел на женщину. Его удивили ее молодость и блеск глаз — глубокий и немного туманный.

Кузьмин извинился за беспокойство, достал из кармана кителя письмо Башилова, подал женщине. Она взяла письмо, поблагодарила и, не читая, положила его на рояль.

— Что же мы стоим! — сказала она. — Садитесь! Вот сюда, к столу. Здесь светлее.

Кузьмин сел к столу, попросил разрешения закурить.

— Курите, конечно, — сказала женщина. — Я тоже, пожалуй, закурю.

Кузьмин предложил ей папиросу, зажег спичку. Когда она закурила, на лицо ее упал свет спички, и сосредоточенное это лицо с чистым лбом показалось Кузьмину знакомым.

Ольга Андреевна села против Кузьмина. Он ждал расспросов, но она молчала и смотрела за окно, где все так же монотонно шумел дождь.

— Марфуша, — сказала Ольга Андреевна и обернулась к двери. — Поставь, милая, самовар.

— Нет, что вы! — испугался Кузьмин. — Я тороплюсь. Извозчик ждет на улице. Я должен был только передать вам письмо и рассказать кое-что... о вашем му

— Что рассказывать! — ответила Ольга Андреевна, вытащила из букета цветов ромашки и начала безжалостно обрывать на нем лепестки. — Он жив — и я рада

Кузьмин молчал.

— Не торопитесь, — просто, как старому другу, сказала Ольга Андреевна. — Гудки мы услышим.

Пароход отойдет, конечно, не раньше рассвета.

— Почему?

— А у нас, батюшка, пониже Наволок, — сказала из соседней комнаты Марфа, — пережат большой на реке. Его ночью проходить опасно. Вот капитаны и ждут до света.

— Это правда, — подтвердила Ольга Андреевна. — Пешком до пристани всего четверть часа. Если идти через городской сад. Я вас провожу. А извозчика вы отпустите. Кто вас привез? Василий?

— Вот этого я не знаю, — улыбнулся Кузьмин.

— Тимофей их привез, — сообщила из-за двери Марфа. Было слышно, как она гремит самоварной трубой. — Хоть чайку попейте. А то что же из дождя да под дождь.

Кузьмин согласился, вышел к воротам, расплатился с извозчиком. Извозчик долго не уезжал, топтался около лошади, поправлял шлею.

Когда Кузьмин вернулся, стол уже был накрыт. Стояли синие старые чашки с золотыми ободками, кувшин с топленным молоком, мед, начатая бутылка вина. Марфа внесла самовар.

Ольга Андреевна извинилась за скудное угощение, рассказала, что собирается обратно в Москву, а сейчас пока работает в городской библиотеке. Кузьмин все ждал, что она, наконец, спросит о Башилове, но она не спрашивала. Кузьмин испытывал от этого все большее смущение. Он догадывался еще в госпитале, что у Башилова разлад с женой. Но сейчас, после того как она, не читая, отложила письмо на рояль, он совершенно убедился в этом, и ему уже казалось, что он не выполнил своего долга перед Башиловым и очень в этом виноват. «Очевидно, она прочтет письмо позже», — подумал он. Одно было ясно: письмо, которому Башилов придавал такое значение и ради которого Кузьмин появился в неурочный час в этом доме, уже ненужно здесь и неинтересно. В конце концов Башилову Кузьмин не помог и только поставил себя в неловкое положение. Ольга Андреевна как будто догадалась об этом и сказала:

— Вы не сердитесь. Есть почта, есть телеграф, — я не знаю, зачем ему понадобилось вас затруднять.

— Какое же затруднение! — поспешно ответил Кузьмин и добавил, помолчав: — Наоборот, это очень хорошо.

— Что хорошо?

Кузьмин покраснел.

— Что хорошо? — громче переспросила Ольга Андреевна и подняла на Кузьмина глаза. Она смотрела на него, как бы стараясь догадаться, о чем он думает, — строго, подавшись вперед, ожидая ответа. Но Кузьмин молчал.

— Но все же, что хорошо? — опять спросила она.

— Как вам сказать, — ответил, раздумывая, Кузьмин. — Это особый разговор. Все, что мы любим, редко с нами случается. Не знаю, как у других, но я сужу по себе. Все хорошее почти всегда проходит мимо. Вы понимаете?

— Не очень, — ответила Ольга Андреевна и нахмурилась.

— Как бы вам объяснить, — сказал Кузьмин сердясь на себя. — С вами тоже так, наверное, бывало. Из окна вагона вы вдруг увидите поляну в березовом лесу, увидите, как осенняя паутина заблестит на солнце, и вам захочется выскочить на ходу из поезда и остаться на этой поляне. Но поезд проходит мимо. Вы высовываетесь из окна и смотрите назад, куда уносятся все эти рощи, луга, лошаденки, проселочные дороги, и слышите неясный звон. Что звенит — непонятно. Может быть, лес или воздух. Или гудят телеграфные провода. А может быть, рельсы звенят от хода поезда. Мелькнет вот так, на мгновение, а помнишь об этом всю жизнь.

Кузьмин замолчал. Ольга Андреевна пододвинула ему стакан с вином.

— Я в жизни, — сказал Кузьмин и покраснел, как всегда краснел, когда ему случалось говорить о себе, — всегда ждал вот таких неожиданных и простых вещей. И если находил их, то бывал счастлив. Ненадолго, но бывал.

— И сейчас тоже? — спросила Ольга Андреевна.

— Да!

Ольга Андреевна опустила глаза.

— Почему? — спросила она.

— Не знаю точно. Такое у меня ощущение. Я был ранен на Висле, лежал в госпитале. Все получали письма, а я не получал. Просто мне не от кого было их получать. Лежал, выдумывал, конечно, как все выдумывают, свое будущее после войны. Обязательно счастли-

вое и необыкновенное. Потом вылезился, и меня решили отправить на отдых. Назначили город.

— Какой? — спросила Ольга Андреевна.

Кузьмин назвал город. Ольга Андреевна ничего не ответила.

— Сел на пароход, — продолжал Кузьмин. — Деревни на берегах, пристани. И очертившее сознание одиночества. Ради бога, не подумайте, что я жалуясь. В одиночестве тоже много хорошего. Потом Наволоки. Я боялся их проспять. Вышел на палубу глухой ночью и подумал: как странно, что в этой огромной, закрывшей всю Россию темноте, под дождливым небом спокойно спят тысячи разных людей. Потом я ехал сюда на извозчике и все гадал, кого я встречу.

— Чем же вы все-таки счастливы? — спросила Ольга Андреевна.

— Так... — спохватился Кузьмин. — Вообще хорошо. Он замолчал.

— Что же вы? Говорите!

— О чем? Я и так разболтался, наговорил лишнего.

— Обо всем, — ответила Ольга Андреевна. Она как будто не расслышала его последних слов. — О чем хотите, — добавила она. — Хотя все это немного странно.

Она встала, подошла к окну, отодвинула занавеску. Дождь не стихал.

— Что странно? — спросил Кузьмин.

— Все дождь! — сказала Ольга Андреевна и обернулась. — Такая вот встреча. И весь этот наш ночной разговор, — разве это не странно?

Кузьмин смущенно молчал.

В сыром мраке за окном, где-то под горой, загудел пароход.

— Ну, что ж, — как будто с облегчением сказала Ольга Андреевна. — Вот и гудок!

Кузьмин встал, Ольга Андреевна не двигалась.

— Погодите, — сказала она спокойно. — Давайте сядем перед дорогой. Как в старину.

Кузьмин снова сел. Ольга Андреевна тоже села, задумалась, даже отвернулась от Кузьмина. Кузьмин, глядя на ее высокие плечи, на тяжелые косы, заколотые узлом на затылке, на чистый изгиб шеи, подумал, что если бы не Башилов, то он никуда бы не уехал из этого городка, остался бы здесь до конца отпуска и жил бы, волнуясь

и зная, что рядом живет эта милая и очень грустная сейчас женщина.

Ольга Андреевна встала. В маленькой прихожей Кузьмин помог ей надеть плащ. Она накинула на голову платок.

Они вышли, молча пошли по темной улице.

— Скоро рассвет, — сказала Ольга Андреевна.

Над заречной стороной синело водянистое небо. Кузьмин заметил, что Ольга Андреевна вздрогнула.

— Вам холодно? — встревожился он. — Зря вы пошли меня провожать. Я бы и сам нашел дорогу.

— Нет, не зря, — коротко ответила Ольга Андреевна.

Дождь прошел, но с крыш еще падали капли, постукивали по дощатому тротуару.

В конце улицы тянулся городской сад. Калитка была открыта. За ней сразу начинались густые, запущенные аллеи. В саду пахло ночным холодом, сырым песком. Это был старый сад, черный от высоких лип. Липы уже отцветали и слабо пахли. Один только раз ветер прошел по саду, и весь он зашумел, будто над ним пролился и тотчас стих крупный и сильный ливень.

В конце сада был обрыв над рекой, а за обрывом — предрассветные дождливые дали, тусклые огни бакенов внизу, туман, вся грусть летнего ненастья.

— Как же мы спустимся? — спросил Кузьмин.

— Идите сюда!

Ольга Андреевна свернула по тропинке прямо к обрыву и подошла к деревянной лестнице, уходившей вниз, в темноту.

— Дайте руку! — сказала Ольга Андреевна. — Здесь много гнилых ступенек.

Кузьмин подал ей руку, и они осторожно начали спускаться. Между ступенек росла мокрая от дождя трава.

На последней площадке лестницы они остановились. Были уже видны пристань, зеленые и красные огни парохода. Свистел пар. Сердце у Кузьмина сжалось от сознания, что сейчас он расстанется с этой незнакомой и такой близкой ему женщиной и ничего ей не скажет — ничего! Даже не поблагодарит за то, что она встретила его на пути, подала маленькую крепкую руку в сырой перчатке, осторожно свела его по ветхой лестнице, и каждый раз, когда над перилами свешивалась мокрая ветка и могла задеть его по лицу, она тихо говорила:

«Нагните голову!» И Кузьмин покорно наклонял голову.  
— Попрощаемся здесь, — сказала Ольга Андреевна. — Дальше я не пойду.

Кузьмин взглянул на нее. Из-под платка смотрели на него тревожные, строгие глаза. Неужели вот сейчас, сию минуту, все уйдет в прошлое и станет одним из томительных воспоминаний и в ее и в его жизни?

Ольга Андреевна протянула Кузьмину руку. Кузьмин поцеловал ее и почувствовал тот же слабый запах духов, что впервые услышал в темной комнате под шорох дождя.

Когда он поднял голову, Ольга Андреевна что-то сказала, но так тихо, что Кузьмин не расслышал. Ему показалось, что она сказала одно только слово: «Напрасно...» Может быть, она сказала еще что-нибудь, но с реки сердито закричал пароход, жалуясь на промозглый рассвет, на свою бродячую жизнь в дождях, в туманах.

Кузьмин сбежал, не оглядываясь, на берег, прошел через пахнущую рогожками и дегтем пристань, вошел на пароход и тотчас же поднялся на пустую палубу. Пароход уже отваливал, медленно работая колесами. Кузьмин прошел на корму, посмотрел на обрыв, на лестницу — Ольга Андреевна была еще там. Чуть светало, и ее трудно было разглядеть. Кузьмин поднял руку, но Ольга Андреевна не ответила.

Пароход уходил все дальше, гнал на песчаные берега длинные волны, качал бакены, и прибрежные кусты лозняка отвечали торопливым шумом на удары пароходных колес.

1945

## Ш И П О В Н И К

Ночью над рекой опустился туман. Пароход не мог идти дальше: за туманом не было видно ни бакенов, ни перевальных огней.

Пароход приткнулся к крутому берегу и затих. Только равномерно поскрипывали сходни, переброшенные на берег. По этим сходням матросы завели с носачалку и закрепили ее вокруг старой ракиты.

Маша Климова проснулась среди ночи. Такая тишина стояла вокруг, что было слышно, как в дальней каюте всхрапывал пассажир.

Маша села на койке. В открытое окно лился свежий воздух, сладковатый запах ивовых листьев.

Темные кусты, неясные от тумана, нависали над палубой. Маше показалось, будто пароход непонятным образом очутился на земле, в чаще кустарников. Потом она услышала легкое журчание воды и догадалась, что пароход остановился у берега.

В кустах что-то шелкнуло и затихло. Потом шелкнуло опять. И опять затихло. Будто кто-то, шелкнув, прислушивался, пробовал на звук тишину и отзывчивость ночи. Вскоре шелканье перешло в длинный перелив и оборвалось коротким свистом. Тотчас на свист откликнулись десятки птичьих голосов, и внезапный соловьиный раскат пронесся по зарослям.

— Слышь, Егоров? — спросил кто-то наверху, должно быть, на капитанском мостике.

— Такого соловьиного боя даже на Шексне не было, — ответил снизу хрипловатый голос.

Маша улыбнулась, вытянула перед собой руки. Они казались очень смуглыми при смутном свете ночи — только ногти белели на пальцах.

— Отчего это мне грустно, не понимаю? — спросила вполголоса Маша. Жду чего-то? А чего, и сама не знаю.

Она вспомнила бабушкины разговоры о том, что есть на свете непонятная девичья грусть, и сказала:

— Глупости! Какая там девичья грусть! Просто у меня начинается своя жизнь. Потому чуть-чуть и страшно.

Маша окончила недавно лесной институт и ехала сейчас из Ленинграда на Нижнюю Волгу на работу — сажать колхозные леса.

Маша хитрила, конечно, перед собой, когда думала, что ей только чуть-чуть страшно. Страшно ей было по-настоящему. Она представляла себе, как приедет на лесной участок и начальник — обязательно пыльный, угрюмый человек в черной куртке с оттянутыми карманами, в залепленных комьями глины сапогах, — посмотрит на нее, на серые ее глаза («Совсем, как оловянные площадки», — думала о своих глазах Маша), на косы и подумает: «Прелестно! Не хватало нам еще этих девочек с косичками! Небось все будет теперь

твердить про свои учебники. А у нас тут не до них! Как хватит суховой «астраханец», так твои учебники, милая, тебе здесь не очень помогут».

За длинную дорогу Маша привыкла к мысли об угрюмом начальнике в черной куртке и перестала его бояться. Но грусть все же не проходила. Маша не знала, что это вовсе не грусть, а чувство, какому нет еще, пожалуй, точного названия, — замирание сердца перед неизвестным будущим, перед простой красотой земли с ее реками, туманами, глубокими ночами и шумом прибрежных ветел.

Сон не приходил. Маша оделась, вышла на палубу. Все было в росе — перила, проволочная решетка вдоль борта, скамейки и плетеные кресла.

На баке слышался приглушенный разговор.

— Я ему говорю, — рассказывал молодой матрос. — «Дед, а дед, оставь мне покурить». Он дал мне окурок. Я затаился, спрашиваю: «Чего ты тут, дед, делаешь ночью, в лугах?» — «Зарю, — говорит, — стерегу». А сам смеется. «Может, это последняя заря в моем существовании. Тебе, — говорит, — этого не понять. Ты парень молодой».

Матросы замолчали. Снова в кустах защелкали соловьи.

Маша облокотилась на перила. Далеко во тьме дружно заголосили петухи, — там, за туманом, была, очевидно, деревня.

«Какие же это петухи? Первые или вторые?..»

Маша подумала, что не знает, когда поют первые, а когда вторые петухи. Десятки раз читала об этом в книгах, а не знает.

Посоветовала Маше поехать парохом бабушка — вдова речного капитана. Маша была рада, что послушалась ее. Пароход шел сначала по черно-синей Неве, потом пересек Ладогу. Маша впервые увидела ее серую воду и каменные маяки на низменных мысах. Увидела бурливую Свирь, шлюзы на Мариинском канале, берега, заросшие хвощом, неизменных мальчишек на пристанях, сосредоточенно удивших уклеек кривыми удочками.

Попутчики менялись, но все они казались Маше интересными. В Белозерске сел на пароход молодой еще летчик с седыми висками. Он отдыхал, должно быть, в

Белозерске, у матери, — худенькой старушки в сером ситцевом платье. Она тихонько плакала на пристани, провожая сына, а летчик говорил ей с палубы:

— Ты не забудь, мама: я ту рыбу, что наловил, повесил в погребе, за лесенкой.

— Не забуду, Паша, никак не забуду, — кивала старушка, вытирая глаза свернутым в комочек платком.

Летчик улыбался, шутил, но смотрел на старушку, не отрываясь. Щека у него дрожала.

Потом на пароход сели актеры. Они много шумели, остроили, тотчас перезнакомились со всеми пассажирами. В салоне теперь почти не затихало отсыревшее от речных туманов пианино.

Один пожилой актер, остролицый, быстрый, пел чаще других. Маша с удивлением слушала его песни — до тех пор она ни одной песни не знала. Особенно часто актер пел польскую песенку о влюбленном воре. Ему не удалось украсть для любимой девушки звезду с ночного неба, и девушка его за это прогнала.

Каждый раз, когда актер оканчивал эту песню, он громко захлопывал крышку пианино и говорил:

— Мораль сей песенки ясна. Будьте снисходительны к любящим. Не возражайте! Разговор окончен.

Он поправлял черный галстук бантиком, садился за столик и заказывал себе пиво и воблу.

В Череповце на пароходе появилось несколько студентов архитектурного института. Они возвращались в Москву из Кирилло-Белозерского монастыря. В монастырь они ездили на практику — делать обмеры и зарисовки старинных построек.

Всю дорогу студенты спорили о каменной резьбе, сводах, Андрее Рублеве и о высотных домах в Москве. Маша, слушая их, только краснела за свое невежество.

Когда на пароходе появились студенты, пожилой актер как-то притих, перестал петь песенку о воре и все время сидел на палубе, читал Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Читая, он надевал очки. От этого его лицо делалось добрым и старым. И Маше стало ясно, что все напыщенные актерские тирады — застарелая привычка и что человек этот гораздо лучше, чем хочет казаться.

Сейчас все пассажиры спали — и летчик, и актер, и

студенты. Одна Маша стояла на палубе и слушала звуки ночи, стараясь их разгадать.

Далекий гул возник в небе и медленно затих. Должно быть, выше тумана прошел ночной самолет. Ударил под берегом рыба, а потом где-то в отдалении запел пастуший рожок. Он пел так далеко, что сначала Маша не могла понять, что это за протяжные и приятные звуки.

Кто-то чиркнул спичкой за спиной у Маши. Она оглянулась. Позади стоял летчик и закуривал папиросу. Горящую спичку он бросил в воду. Она медленно падала сквозь туман. Вокруг спичечного пламени образовался радужный пар.

— Соловьи спать не дают, — сказал летчик, и Маша, не видя, догадалась, что он улыбается в темноте. — Прямо как в песне: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, — пусть солдаты немного поспят»...

— Я никогда еще не слыхала таких соловьев, — сказала Маша.

— Поездите по Советскому Союзу — не то еще узнаете, — ответил летчик. — Такая страна и во сне не всегда приснится.

— Это потому, что вы летаете, — заметила Маша, — и земля все время меняется у вас под крылом.

— Не думаю, — ответил летчик и надолго замолчал. — Светает, — сказал он наконец. — Засинело уже на востоке... Вы куда едете?

— В Камышин.

— Есть такой городок на Волге. Жара, арбузы, помидоры...

— А вы куда?

— Я дальше.

Летчик облокотился о перила и смотрел, как разгорается рассвет. Пастуший рожок пел уже ближе. Подул ветер. Туман зашевелился. Его понесло клочьями над рекой. Стали видны мокрые кусты и среди них сплетенный из ивы шалаш. Около шалаша курился очаг.

Маша тоже смотрела на рассвет. На золотеющем краю неба горела, как капля серебряной воды, последняя звезда.

«С сегодняшнего дня, — подумала Маша, — буду жить совсем по-другому. Раньше я ничего не замечала

как следует. А теперь буду все замечать, запоминать и беречь у себя на сердце».

Летчик оглянулся на Машу.

— Задумалась девушка, — пробормотал он, отвернулся, но тотчас опять посмотрел на нее.

Он вспомнил слова из давно прочитанного романа, что нет ничего лучше на свете, чем глаза детей и девушек по утрам, — в них еще темнеет ночь, но вместе с тем уже сверкает утренний свет.

«Пожалуй, это не так уж и глупо сказано», — подумал летчик.

С мостика сбежал обветренный помощник капитана в брезентовом плаще.

— Не спите? — весело окрикнул он Машу. — Через час отваливаем. Можете сойти на берег, прогуляться.

— Я, пожалуй, пойду, — сказала Маша летчику. — Нарву, кстати, цветов.

— Ну что ж, — согласился летчик, — пойдемте.

Они сошли по шаткой сходне на берег. Из шалаша вылез старик, должно быть, тот самый, что сторожил ночью зарю. Тотчас над туманами взошло солнце.

Травы стояли вокруг темно-зеленые, как глухие, глубокие воды. От них еще тянуло резким холодом ночи.

— Чем ты тут занимаешься, дед? — спросил старика летчик.

— Корзинщик я, — ответил старик и виновато улыбнулся. — Плету помаленьку. Вентеря, корзины под колхозную картошку, кошелки... А вы что же? Лугами интересуетесь?

— Да вот хотим поглядеть.

— Во какие быстрые! — засмеялся старик. — Я тут семьдесят годов обитаю, в этом лугу, да и то всего не поспел разглядеть. Ступайте вон по этой тропе до осокоря. Дале не ходите. Дале трава выше головы — росой вас зальет. За весь день не обсушитесь. Там росу можно в горлачи собирать и пить.

— А ты ее пил? — спросил летчик.

— Как не пил! Целебная вещь.

Маша с летчиком медленно пошли по тропе. Маша прошла несколько шагов до того места, где тропа огибала высохший осокорь, и остановилась.

По сторонам тропы высокими и крутыми стенами стоял шиповник и цвел таким алым и влажным огнем,

что даже ранний солнечный свет, падавший на листву, рядом с цветами шиповника казался холодным и бледным. Казалось, что цветы шиповника навсегда отделились от колючих веток и висят в воздухе, как яркое маленькое пламя. В зарослях шиповника озабоченно гудели шмели, черные с золотыми полосками на спине.

— Георгиевские кавалеры, — заметил летчик.

Действительно, шмели были похожи на коротенькие ленты от георгиевских медалей. И вели они себя бесстрашно, как старые бойцы, не обращая внимания на людей и даже сердясь на них.

Кое-где заросли шиповника прерывались, и в прогалинах цвел стройными свечами синий, почти до черноты, шпорник. За ним в неслыханной густоте вздымалось, переливаясь солнечной рябью, разнотравье: красная и белая кашка, подмаренник, белоснежный поповник, дикая мальва с прозрачными на свету розовыми лепестками и сотни других цветов, чьи названия ни Маша, ни летчик не знали.

Перепела с треском вырывались из-под ног. Укрывшись в сыром коряжнике, скрипел, насмехаясь над всеми, дергач. Жаворонки, трепеща, подымались ввысь, но звон их почему-то не совпадал с тем местом, где они вились в небе, — он, — казалось, доносился с реки. Там, прокашлявшись, загудел пароход, зазывая Машу и летчика обратно.

— Что ж это такое? — говорила растерянно Маша, глядя на цветы. — Что ж это такое?..

Она торопливо рвала обеими руками охапки цветов. Пароход прогудел второй раз, уже требовательно и сердито.

— Ну что же это такое! — с досадой сказала Маша, повернувшись к тому месту, где над зарослями струился дым из паровой трубы, и крикнула: «Сейчас! Идем!»

Они быстро пошли к пароходу. Платье на Маше промокло и хлестало ее по ногам. Косы, уложенные на затылке узлом, расплелись и упали. Летчик шел сзади. На ходу он успел срезать ножом несколько цветущих веток шиповника.

Матросы, дожидавшиеся их, чтобы снять сходни, мельком взглянули на охапки цветов, сказали:

— Вот это да! Все луга оборвали. — Ну, давай, Семен, разом!

Помощник капитана сказал с мостика:

— В салон несите цветы. Для всех пассажиров!.. — и крикнул в рупор: — Вперед самый малый!

Тяжело повернулись колеса, плицы вспенили воду, и берег отплыл, шумя кустарником.

Маше стало жаль расставаться с этим берегом, с лугами, с шалашом и дедом-корзинщиком. Все как-то сразу стало ей здесь родным, будто она здесь выросла, а этот дед был ее пестуном и наставником.

— Удивительно, — подумала Маша, подымаясь по трапу в салон. — Я ведь не знаю даже, где, в какой области, в каком районе, около какого города мы сейчас.

В салоне было чисто и холодно. Солнце еще не прогрело полированные деревянные стены, столики и ореховое пианино.

Маша начала разбирать и расставлять цветы в вазах. Летчик принес с нижней палубы в ведре свежей воды.

— У моей матушки в Белозерске, — сказал летчик, помогая Маше расставлять цветы, — маленький сад. Но цветов груды. Особенно бархатцев.

— Вы хорошо отдохнули в Белозерске? — спросила Маша.

— Ничего. Читал, приводил в порядок свою жизнь. А больше там и делать нечего, в Белозерске.

— Как это «в порядок»? — удивилась Маша.

— Все записал, что видел, делал, думал. Потом разобрался, правильно ли я жил, в чем ошибался, и подсчитал, чем меня жизнь одарила за последнее время.

— Ну и как?

— Позади все теперь ясно. Можно со свежей головой жить дальше.

— Вот я и не знала, что так бывает, — промолвила Маша и внимательно посмотрела на летчика.

— А вы попробуйте, — посоветовал, улыбнувшись, летчик. — Сами удивитесь, какая у вас окажется наполненная жизнь.

— Bravo! — сказал за спиной у Маши знакомый голос.

Маша обернулась.

В дверях стоял актер с мохнатым полотенцем на плече. На нем была синяя пижама с коричневыми отворотами на рукавах.

— Bravo! — повторил он. — Люблю утренние разговоры. По утрам наши мысли бывают такие же чистые, как только что вымытые руки.

— Бросьте вы! — недовольно сказал летчик.

— Да, все это глупости! — согласился актер. — Не гневайтесь. Я невольно подслушал ваш разговор и хочу добавить к нему одну частности. Одну неопровержимую истину. Я добрался до нее в самом, можно сказать, конце своей жизни.

— Какая же это великая истина? — спросил летчик.

— «Я не люблю иронии твоей», — сказал актер нарочитым жирным голосом плохого чтеца и рассмеялся. — Истина простая. В каждом дне жизни всегда есть что-нибудь хорошее. А подчас и поэтическое. И когда вы приводите в порядок, как вы изволили выразиться, свою жизнь, вы невольно вспоминаете главным образом это ее поэтическое и разумное содержание. Это великолепно! И удивительно! Все вокруг нас полно поэзии. Ищите ее. Вот вам мое стариковское напутствие на веки веков. Не возражайте. Разговор окончен.

Актер ушел, посмеиваясь, а Маша задумалась над тем, что, действительно, все окружающее ее очень просто и вместе с тем необыкновенно. В Ленинграде, в институте, это было не так заметно, как сейчас в поездке. Может быть, это и была та скрытая раньше, а сейчас открывшаяся ей доля поэзии, что заключена в каждом дне существования...

На Волге все дни дул ветер. По реке и по бортам парохода пролетела, переливаясь волнами, воздушная синева. Маше казалось, что ветер проносит перед ней, играя, все эти летние дни, один за другим.

По вечерам ветер стихал. Река несла свои воды из тьмы в тьму. Только пароходные огни вырывали из этой черноты небольшой круг освещенной воды.

Маше было хорошо и временами грустно. Она никак не могла поверить, что новая ее жизнь, начавшись так хорошо, может стать иной.

В Камышине Маша сошла. Ветер нес над Волгой желтую мглу.

Летчик и актер вышли на пристань проводить Машу.

Маша растерянно попрощалась с летчиком. Летчик, не зная, что делать, вернулся на пароход, остановился у борта и смотрел оттуда, как актер прощается с Машей.

Актер снял шляпу, взял Машины руки, посмотрел в лицо прищуренными смеющимися глазами.

— Вы будете счастливы, — сказал он. — Но мое счастье больше вашего, потому что я старый человек.

— О чем вы говорите? — спросила Маша.

— Вы не можете понять того счастья, какое дано немолодым! — напыщенно сказал актер. — Счастья видеть слезы на глазах Дездемоны, любящей другого.

Он отпустил Машины руки и, держа шляпу в руке, отступил к сходням. Пароход дал третий гудок и отвалил.

Ветер с реки, пахнувший нефтью, бил в лицо. Низенький седоусый старик топтался около Маши и вполголоса говорил: «Поднести вещицы, гражданочка?» Но Маша не слышала его и не отвечала. Тогда низенький старик сел в стороне на деревянную скамью и закурил — стал дожидаться, когда Маша наконец успокоится.

Через день Маша жила уже далеко от Камышина, в передвижном вагончике, стоявшем в степи, около пруда с глинистыми голыми берегами. В этом доме-вагончике — его называли «казенкой» — поселились работники колхозной лесной посадки.

Начальник участка оказался совсем не пыльным и угрюмым, а, наоборот, очень подвижным и шутливым человеком. Но настроение на участке с первого же дня приезда Маши было беспокойное. Все волновались из-за новых желудей, присланных для посадок, — взойдут ли? Волновались из-за суховея, приближавшегося с юго-востока, — там, за Волгой, уже залегла по горизонту стекловидная мгла. Слово «солончаки» повторялось беспрерывно. Солончаки были, самыми назойливыми и опасными врагами молодого леса — эти мертвые лишай среди степей, эта желтая глина, блестящая на изломе белым отблеском соли.

Однажды Маша по совету летчика проверила свою жизнь и обнаружила, что она уже резко делится на три части — жизнь в Ленинграде, поездку на пароходе и работу в приволжских степях. В каждом таком отрезке жизни было свое хорошее содержание и своя, как говорил старый актер, поэзия.

В Ленинграде была бабушкина квартира, откуда был виден закат над Лахтой, были подруги, институт,

книги, театры и сады. В поездке Маша впервые поняла прелесть мимолетных, но глубоко задевающих душу встреч и прелесть речной привольной России. А здесь, в степи, она поняла великий смысл и силу своей работы.

И где-то в самой глубине сердца не умирала память о летчике, о том, как он смущенно улыбнулся, пожаловавшись на соловьев, как он смотрел на нее в Камышине с палубы парохода и щека у него вздрагивала, как и тогда в Белозерске. Человек прошел мимо, и это было очень жаль.

Маша так часто вспоминала недавнюю поездку, что однажды она ей даже приснилась. Приснился густой шиповник в росе. Стояли сумерки. Молодой, нежный месяц, будто забытый жницей серебряный серп, лежал на синем пологие ночи. И было так тихо и легко на сердце, что Маша даже засмеялась во сне...

Лесные посадки зеленоватой мелкой рекой переливались через взгорья и уходили в сухие степи, где курилась над широкими шляхами красноватая пыль.

Было много работы. Надо было рыхлить землю между молодыми дубками, сажать акацию. Маша делала это с особой заботой, даже с нежностью к молоденьким деревцам.

Маша загорела. Косы ее выщвели от солнца. Она стала похожа на степную девчонку. Платье, руки, все вокруг пропахло полынью. Полынью пахло даже от мохнатой шкуры черного пса Нарзана, сторожившего вагончик, когда все сотрудники уходили в степь на работу.

Сторожили вагончик Нарзан и мальчик семи лет, Степа, сын начальника участка.

Весь день они сидели вдвоем в тени вагончика и слушали свист сусликов и шум ветра в корявой дикой груше. Она звенела так сильно, будто литая из бронзы.

К концу лета на посадки напали тушканчики. Они рыли ямки около дубков и катались в этих ямках в пыли, чтобы избавиться от блох. Из областного города вызвали самолет «огородник», чтобы разбросать на лесные полосы отравленный овес.

Однажды вечером, когда Степа сидел на ступеньках вагончика и чистил картошку, Нарзан поднял голову и зарычал. Низко над степью со стороны заходящего

солнца летел, лениво погромыхая мотором, маленький самолет.

Он пролетел над вагончиком, круто завернул, сел в сухую траву и, пробежав несколько шагов, остановился.

Из кабины вышел летчик и пошел, сняв шлем, к вагончику. Летчик был еще молодой, но виски у него были седые. На куртке летчика Степа увидел две полоски орденских ленточек.

Нарзан вместо того, чтобы обляять летчика, залез под вагончик и начал там незаметно рычать.

— Здравствуй, мальчик! — сказал летчик, сел рядом со Степой на ступеньки и закурил. — Это пятнадцатый участок?

— Да, — робко ответил Степа. — Вы к нам?

— К вам, — ответил летчик. — Тушканчиков буду травить...

— Вот сколько у вас орденов, — сказал, подумав, Степа, — а вы тушканчиков травите. Мы думали, что к нам пришлют летного ученика.

— Я сам напросился к вам, мальчик, — ответил летчик и помолчал.

— Маша Климова здесь работает?

— Здесь, — ответил Степа и прищурился. — А что?

— А где она?

— Там, в лесу, — Степа махнул рукой в сторону посадок.

— Действительно, лес! — засмеялся летчик, встал и пошел, не оглядываясь, к посадкам.

Степа смотрел ему вслед. Уже стемнело, и плохо было видно в степи. Но все же Степа увидел, как шла из степи Маша. Летчик быстро пошел ей навстречу, но Маша до летчика не дошла, она остановилась и закрыла лицо руками.

Было уже совсем темно. Над прудом повисла, заглядывая в черную воду с огромной своей высоты, бродячая степная звезда.

«Зачем Маша закрыла лицо руками?» — подумал Степа и повторил шутливые слова, какие часто говорил о Маше его отец.

— Она у нас чудачка!

А Нарзан всю ночь рычал из-под вагончика на самолет, мирно дремавший на сухой, теплой земле.

## БЕГЛЫЕ ВСТРЕЧИ

Поздней осенью я проезжал на машине по Великолукской и Псковской областям и видел много маленьких лесных деревень. Особенно запомнилась мне деревня с приветливым названием Звоны.

Стояли эти Звоны на бугре, над глухим и, очевидно, очень глубоким озером. Дело было к вечеру. Небо уже померкло, но в окнах домов еще отражался желтоватый холодный закат.

Вечером того же дня я приехал в просторный и тихий городок Опочку. Среди города шумела и пенилась река Великая.

Я остановился в опочечкой гостинице. И была у меня в этой гостинице мимолетная и интересная встреча.

В гостинице только что окончился ремонт, и потому все было забрызгано известкой, даже электрические лампочки под потолком.

Через час после приезда я встретился в прихожей гостиницы с низеньким седым человеком в потертом пальто.

Старик этот, оказывается, уже знал, что я приехал из Москвы. Он остановил меня и спросил:

— Когда в последний раз вы были в Большом зале консерватории?

Я был озадачен этим вопросом, но ответил, что был месяц назад, на концерте Святослава Рихтера.

— Суть в том, — сказал старик, — что я окончил Московскую консерваторию. По классу композиции. Когда вернетесь в Москву, то поклонитесь от меня Большому залу консерватории и нашему знаменитому органу. Очень прошу вас!

— А вы давно были в Москве?

— Семь лет назад, — ответил композитор и тут же спросил: — Интересовались ли вы, сколько в Великолукской области пианино и роялей в так называемых «сельских местностях»? В колхозных клубах и таких городках, как эта благословенная Опочка?

Я снова был озадачен и ответил, что нет, этим вопросом я не интересовался.

— Вот видите! — горестно воскликнул композитор. — А их до безобразия мало.

В прихожую вошел человек в ватнике. От него сильно несло бензином. Должно быть, это был шофер.

— Папаша, — сказал он композитору, — пойдете в столовую пообедать. Я сегодня при деньгах. Заправимся под самую пробку.

— Спасибо, голубчик. Но у меня через два часа концерт в школе. Буду играть Чайковского и Шостаковича. Никак не могу.

Композитор повернулся ко мне.

— Семь лет! — воскликнул он и взял меня за рукав пальто. — За семь лет я объехал весь север, а теперь объезжаю Великолукскую область. Я даю концерты по селам и маленьким городам. Я мог бы жить в Москве и даже, может быть, преуспевал бы, как многие мои товарищи. Человек я одинокий, мне не много надо. Как сказал некий поэт: «Только корку хлеба, кружку молока да вот это небо, эти облака». Но я, как видите, предпочитаю скитаться по городам и весям и давать концерты. По существу за гроши. Но не в этом суть! Вы не можете представить себе, как народ тянется к музыке. Особенно молодежь. До слез на глазах. И как люди благодарны за музыку. Ради этого стоит походить в поношенном пальто.

— На дорогу и то небось не хватает, — заметил шофер.

— Не было еще случая, — гордо ответил старик, — чтобы меня не перевезли бесплатно из одного места в другое. Я композитор, но сейчас я выступаю как пианист. Это справедливо.

— Почему? — спросил я.

— Суть заключается в том, — ответил композитор, — чтобы правильно наметить для себя ту наибольшую меру прекрасного, которую вы можете передать людям. Вы понимаете меня? Моим собственным музыкальным вещам далеко до Моцарта или Чайковского, Мусоргского или Шостаковича. Поэтому я предпочитаю увеличить степень своей полезности для народа и лучше играть чужие вещи, чем сочинять свои.

— Точно! — сказал шофер. — Я вот шофер третьего класса, так я на ЗИЛ-110 за руль не сяду. Могу запороть машину.

— Погоди, Захар Иванович, — сказал композитор. — Что такое я? Как композитор? Простая мелодия. Без

исполинского порыва ввысь, без страсти. А в наше время прежде всего нужно воспитывать большие человеческие чувства. Прежде всего! Прошу мне верить, поэтому я и стал пианистом, исполнителем бессмертных вещей. Некий поэт сказал: «Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопенье». Золотой отблеск, который бросает на нас искусство, — вечен! Он бесконечно облагораживает нас. В этом суть, дорогой товарищ!

Композитор помолчал, как бы прислушиваясь к отдаленному звуку, потом сказал:

— Я неясно говорю. Плохая привычка. Мне придется подчас быть не только пианистом, но и настройщиком. И даже музыкальным мастером. На днях был такой случай. Есть здесь поблизости деревушка Звоны. Да, да, чудесная деревня. Над озером. И вот, оказывается, в этих Звонах у тамошней сельской учительницы стоит в домишке рояль. Остался ей в наследство от старушки предшественницы. Как он попал к этой старушке, никто толком не знает. Замечательный инструмент! Но на нем было восемь немых клавиш. Пришлось мне самому его чинить. Правда, провозился я с ним долго. Но починил. Звук — божественный! Теперь его перевезли в колхозный клуб. Вот так и работаем.

— Если рассуждать практически, — сказал шофер, — то вы, Леонид Петрович, вроде как малый ребенок. Как же это можно так спокойно существовать в вашем преклонном возрасте!

— А ты не рассуждай практически, — заметил композитор и показал глазами на дежурную по гостинице, короткую женщину с выпуклыми глазами и поджатым ртом. Она сидела за перегородкой и шелкала на счетах. — Таких вот практически рассуждающих развелось, как капустной тли. Ты лучше на концерт бы пришел.

— А как же! — ответил шофер. — Вы без меня, Леонид Петрович, пока ни одного концерта в Опочке не давали.

Композитор попрощался и вышел.

— Кто этот человек? — спросил я дежурную.

— Сами не видите, что ли! — грубо ответила она и передернула плечами. — Побирается за счет музыки. Только и знает, что нарушать правила внутреннего рас-

порядка. То поет, то приведет мальчишек из ремесленного и учит их в номере играть на гитаре. А у нас люди стоят солидные, командировочные. Выселить его следует за это.

К ночи задул над Опочкой сумрачный, серый ветер, нагнал тучи. Порывами налетал дождь, бил твердыми каплями в оконные стекла, смывал с них известку.

Темнота залегла так густо, что даже яркие фонари на пустынных улицах не могли отодвинуть ее за пределы города. Так она и пролежала над Опочкой до водянистого и холодного рассвета.

Среди ночи я проснулся. Шумел ветер, мотал на улице за окном голые деревья. Тусклые тени от веток беспорядочно шевелились на стене над моей головой.

Внизу, в прихожей часы пробили шесть.

Я лежал и вспоминал о старом композиторе. Как ему, должно быть, одиноко в такие окаянные ночи в чужом городке...

За дверью кто-то прошел. Застучал медный стержень рукомыльника, висевшего в коридоре, заплескалась вода, и человек, умываясь, запел вполголоса:

Пусть плачет и стонет осенняя выюга  
И волны потока угрюмо шумят...

Тотчас тяжело закрипела лестница. Кто-то вошел в коридор, и я услышал сварливый голос дежурной:

— Прекратите безобразие! Ишь чего придумали — петь по ночам!

— Молилась ли ты на ночь, Дездемона? — спросил ее в ответ композитор, но таким свистящим шепотом и с такой наигранной свирелой угрозой, что дежурная, что-то бормоча о правилах внутреннего распорядка, быстро ушла, а композитор совершенно по-мальчишески рассмеялся ей вслед. Я тоже рассмеялся у себя в номере.

И я понял, что никакие неприятные ночи и никакие бездушные люди не смогут смутить этого чистого сердцем и веселого человека.

Утром я уехал из Опочки в Псков. По пути я заехал в Пушкинские горы на могилу поэта.

Как всегда поздней осенью, там было безлюдно и тихо. С могильного холма виднелись сизые дали, тронутые последней позолотой.

На могиле, около простого белого памятника с над-

лисью «Александр Сергеевич Пушкин», я никого не застал. Только через час пришло несколько цыган и цыганок — табор их я видел невдалеке от Пушкинских гор.

Цыгане сели на землю около могилы, о чем-то тихо посоветовались между собой и едва слышно запели протяжную и печальную цыганскую песню.

Не пела только одна молодая цыганка. На ее плечи была накинута нарядная шелковая шаль. Она тоже сидела на земле и перебирала палые листья. Потом она встряхнула головой, вынула из черных гладких волос алую бумажную розу, бросила ее к подножью памятника Пушкину и улыбнулась, сверкнув влажными зубами.

Цыганская песня все лилась, как заглушенный звон. Я вспомнил композитора в Опочке, и у меня в сознании возникла вдруг какая-то явная связь между этим протяжным напевом и звуками рояля в самых глухих, самых отдаленных углах страны, во всех этих Звонах, Горячих Станах, Сосенках и Каменных Гривах.

Цыгане встали и начали слускаться по выветренной каменной лестнице с могильного холма.

Молодая цыганка ушла последней. Она постояла около могилы, потом обернулась ко мне, сказала хрипловатым голосом: «Я бы тебе, дорогой, спела «Черную шаль», да нельзя — горло сильно болит», — легко повернулась и ушла вслед за цыганами.

Я остался. Короткий, как мимолетная улыбка, день быстро иссякал, сливая все краски осени в один угрюмый серый цвет. В этом цвете было уже предчувствие снега, зимних сумерек с их почерневшим серебром старых берез и стелющегося дыма.

И почему-то мне пришли на память слова композитора о вечном отблеске, что бросает на нас искусство.

1954

## КОРЗИНА С ЕЛОВЫМИ ШИШКАМИ

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.

Все леса хороши с их грибным воздухом, с шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря.

В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туманы, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелеными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах живет, как птица перемешник, веселое эхо. Оно только и ждет, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками — дочь лесника. Она собирала в корзинку еловые шишки.

Стояла осень. Если бы можно было собрать все золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал на горах. К тому же кованые листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от птичьего свиста.

— Как тебя зовут, девочка? — спросил Григ.

— Дагни Педерсен, — вполголоса ответила девочка.

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись.

— Вот беда! — сказал Григ. — Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев.

— У меня есть старая мамина кукла, — ответила девочка. — Когда-то она закрывала глаза. Вот так!

Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Григ заметил, что зрачки у нее зеленоватые и в них поблескивает огоньками листва.

— А теперь она спит с открытыми глазами, — печально добавила Дагни. — У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит.

— Слушай, Дагни, — сказал Григ, — я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.

— Ой, как долго!

— Понимаешь, мне нужно ее еще сделать.

— А что это такое?

— Узнаешь потом.

— Разве за всю свою жизнь, — строго спросила Даг-

ни, — вы можете сделать всего пять или шесть игрушек? Григ смутился.

— Да нет, это не так, — неуверенно возразил он. — Я сделаю ее, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.

— Я не разобью, — умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав. — И не сломаю. Вот увидите! У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с нее пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.

«Она совсем меня запутала, эта Дагни», — подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми:

— Ты еще маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты ее едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чем-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжелая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят гораздо больше сосновых.

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал:

— Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?

— Хагеруп, — ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила: — Разве вы не зайдете к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять ее в руки.

— Спасибо. Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!

Григ пригладил волосы девочки и пошел в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из нее вываливались шишки.

«Я напишу музыку, — решил Григ. — На заглавном листе я прикажу напечатать: «Дагни Педерсен — дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет».

\* \* \*

В Бергене все было по-старому.

Все, что могло приглушить звуки, — ковры, портьеры, и мягкую мебель — Григ давно убрал из дома. Остался

только старый диван. На нем могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить.

Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль. Если человек был наделен воображением, то он мог услышать среди этих белых стен волшебные вещи — от рокота северного океана, что катил волны из мглы и ветра, что высвистывал над ними свою дикую сагу, до песни девочки, баюкающей тряпичную куклу.

Рояль мог петь обо всем: о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и черные клавиши, убегающая из-под крелких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали.

Тогда в тишине еще долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сестрами.

Григ, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок.

Становилось слышно, как, отсчитывая секунды с точностью метронома, капает из крана вода. Капли твердили, что время не ждет и надо бы поторопиться, чтобы сделать все, что задумано.

Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше месяца.

Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром.

Вскоре пошел снег. Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык.

Григ писал о глубочайшей прелести девичества и счастья.

Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелеными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо!» — говорит она, сама еще не зная, за что она благодарит его.

«Ты как солнце, — говорит ей Григ. — Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и наполнил все твое существо благоуханием вес-

ны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодежи жизнь, работу, талант. Отдал все без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни.

Ты — белая ночь с ее загадочным светом. Ты — счастье. Ты — блеск зари. От твоего голоса вздрагивает сердце.

Да будет благословенно все, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься».

Григ думал так и играл обо всем, что думал. Он подзревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок. снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье.

Каждый слушал по-своему.

Синицы волновались. Как они ни старались, их трескотня не могла заглушить рояля.

Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и поглядывал в щелку за Григом.

Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы подслушать звон, лившийся ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, на пол. Около ее босых ног стояли хрустальные тувельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из комнаты Грига.

Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов.

\* \* \*

В восемнадцать лет Дагни окончила школу.

По этому случаю отец отправил ее в Христианию погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец считал ее еще девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой, с тяжелыми русыми косами) посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится.

Кто знает, что ждет Дагни в будущем? Может быть, честный и любящий, но скуповатый и скучный муж? Или работа продавщицы в деревенской лавке? Или служба в одной из многочисленных пароходных контор в Бергене?

Магда работала театральной портнихой. Муж ее Нильс служил в том же театре парикмахером.

Жили они в комнатухе под крышей театра. Оттуда был виден пестрый от морских флагов залив и памятник Ибсену.

Пароходы весь день покрикивали в открытые окна. Дядюшка Нильс так изучил их голоса, что, по его словам, безошибочно знал, кто гудит — «Нордерней» из Копенгагена, «Шотландский певец» из Глазго или «Жанна д'Арк» из Бордо.

В комнате у тетушки Магды было множество театральных вещей: парчи, шелка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с черными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфорт с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потерянных на сгибах. Все это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить.

На стенах висели картинки, вырезанные из книг и журналов: кавалеры времен Людовика XIV, красавицы в кринолинах, рыцари, русские женщины в сарафанах, матросы и викинги с дубовыми венками на головах.

В комнату надо было подниматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком от позолоты.

\* \* \*

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели.

Напуганная этим тетушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс обозвал Магду за это «наседкой» и сказал, что, наоборот, в театре надо верить всему. Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила.

Но все же тетушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия на концерт.

Нильс против этого не спорил. «Музыка, — сказал он, — это зеркало гения».

Нильс любил выражаться возвышенно и туманно. О Дагни он говорил, что она похожа на первый аккорд увертюры. А у Магды, по его словам, была колдовская власть над людьми. Выражалась она в том, что Магда шила театральные костюмы. А кто же не знает, что человек каждый раз, когда надевает новый костюм, совершенно меняется. Вот так оно и выходит, что один и тот же актер вчера был гнусным убийцей, сегодня стал пылким любовником, завтра будет королевским шутом, а послезавтра — народным героем.

— Дагни, — кричала в таких случаях тетушка Магда, — заткни уши и не слушай эту ужасную болтовню! Он сам не понимает, что говорит, этот чердачный философ!

Был теплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом.

Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть свое единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в черном и, наоборот, в темные сверкать белизной платья.

Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела черное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной.

Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав — ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и ее длинные с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат.

— Посмотри, Магда, — сказал вполголоса дядюшка Нильс, — Дагни так хороша, будто идет на первое свидание.

— Вот именно! — ответила Магда. — Что-то я не видела около себя безумного красавца, когда ты пришел на первое свидание со мной. Ты у меня просто болтун. И Магда поцеловала дядюшку Нильса в голову.

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту. Выстрел означал заход солнца.

Несмотря на вечер, ни дирижер, ни оркестранты не включили лампочек над пультами. Вечер был настолько светлый, что фонари, горевшие в листве лип, были заж-

жены, очевидно, только для того, чтобы придать нарядность концерту.

Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на нее странное действие. Все переливы и громы оркестра вызвали у Дагни множество картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал ее имя.

— Это ты меня звал, Нильс? — спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И так же смотрела на нее, прижав ко рту платок, тетушка Магда.

— Что случилось? — спросила Дагни.

Магда схватила ее за руку и прошептала:

— Слушай!

Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал:

— Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвященная дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет.

Дагни вздохнула так глубоко, что у нее заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступившие к горлу слезы, но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями.

Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она, наконец, услышала, как поет ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр.

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться.

Да! Это был ее лес, ее родина! Ее горы, песни рожков, шум ее моря!

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувывравшихся в воз-

духе, в ауканье детей, в песню о девушке — в ее окно любимый бросил на рассвете горсть песку. Дагни слышала эту песню у себя в горах.

Так, значит, это был он! Тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант! И она его укоряла, что он не умеет быстро работать.

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет.

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила все пространство между землей и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась легкая рябь. Сквозь нее светились звезды.

Музыка уже не пел'а. Она звала. Звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастья, где солнце горит, как корона в волосах сказочной доброй волшебницы.

В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты — счастье, — говорил он. Ты — блеск зари!»

Музыка стихла. Сначала медленно, потом все разрастаясь, загремели аплодисменты.

Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на нее. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою бессмертную вещь.

«Он умер! — думала Дагни. — Зачем?» Если бы можно было увидеть его! Если бы он появился здесь! С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы ему навстречу, обняла бы за шею, прижалась мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» — «За что?» — спросил бы он. — «Я не знаю... — ответила бы Дагни. — За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек».

Дагни шла по пустынным улицам. Она не замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться ей на глаза, шел Нильс, посланный Магдой. Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни.

Сумрак ночи еще лежал над городом. Но в окнах слабой позолотой уже занимался северный рассвет.

Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне, без единого всплеска.

Дагни сжала руки и застонала от не ясного еще ей самой, но охватившего все ее существо чувства красоты этого мира.

— Слушай, жизнь, — тихо сказала Дагни, — я люблю тебя.

И она засмеялась, глядя широко открытыми глазами на огни пароходов. Они медленно качались в прозрачной серой воде.

Нильс, стоявший поодаль, услышал ее смех и пошел домой. Теперь он был спокоен за Дагни. Теперь он знал, что ее жизнь не пройдет даром.

1954

## МОЛИТВА МАДАМ БОВЭ

Все называли ее «мадам», даже водовоз Федор. По утрам он привозил на подмосковную дачу, где жила мадам, воду в большой зеленой бочке.

Мадам выходила из дому, чтобы помочь Федору перелить воду из бочки в кадучку, и выносила кусок хлеба старой водовозной кляче. Сонная кляча тотчас просыпалась, осторожно брала хлеб из руки у мадам теплыми губами, долго его жевала и кивала мадам головой.

— О-о! — смеялась мадам. — Она меня благодарит, эта старая лошадь.

Мадам не знала, что ее, Жанну Бовэ, кое-кто из соседей тоже называл «старой клячей».

Мадам была стара, но ходила и говорила так быстро и у нее были такие румяные щеки, что это обманывало окружающих, и ей давали меньше лет, чем было на самом деле.

Уже давно мадам жила в России, в чужих семьях, учила детей французскому языку, читала им нараспев басни Лафонтена, водила гулять и прививала хорошие

манеры. В конце концов мадам почти забыла Нормандию, где когда-то росла голенастой девчонкой.

Когда немцы обошли с севера линию Мажино и вторглись во Францию, — когда французская армия, преданная генералами, сдалась и пал Париж, — мадам не сказала ни слова. В это утро она только не вышла к чаю.

Дети — две девочки — вполголоса рассказывали родителям, что видели, как мадам стояла на коленях в своей комнате перед окном, выходящим в лес, и плакала.

В лесу кричали кукушки. Лес был густой. В его глубине на крик кукушек отзывалось эхо.

— Теперь она никогда не перестанет плакать, — сказала отцу старшая девочка с двумя выгоревшими от солнца косами.

— Почему?

— Потому что у нее нет больше Франции, — ответила девочка и начала теревить косу.

— Не расплетай косу, — ответил отец. — Франция будет.

Мадам спустилась из своей комнаты только к обеду. Она сидела за столом строгая, сухая. Губы ее были стиснуты, и румянец исчез с ее маленьких щек.

Никто не заговорил о Франции. Мадам тоже молчала.

На следующее лето Германия напала на Советский Союз. Немцы налетали на Москву. Тяжелые бомбы падали невдалеке от дачи.

В это трудное время мадам поражала всех своей светливостью. С раннего утра до ночи она хлопотала, ездила в Москву за продуктами, стирала, штопала, готовила скудную пищу, шила ватники для солдат. И все время, возясь, работая, она напевала про себя французскую песенку: «*Quand les lilas refleurriront*».

— «Когда опять зацветет сирень», — перевела слова этой песенки старшая девочка. — Почему вы все время поете эту песенку, мадам?

— О! — ответила мадам. — Это старая песенка. Когда надо было терпеть и ждать чего-нибудь очень долго, моя бедная мать говорила мне: «Ничего, Жанна, не горюй, это случится, когда опять зацветет сирень».

— А сейчас вы чего-нибудь ждете? — спросила девочка.

— Не спрашивай меня об этом, — ответила мадам и посмотрела на девочку строгими серыми глазами. — Ты поняла меня?

Девочка кивнула головой и убежала. С тех пор она, так же как и мадам, начала напевать о расцветающей сирени. Эта песенка ей правилась.

Все чаще девочке мерещилась пышная весна, тихие утренние сады и заросли сирени над прудом. *Quand les lilas... quand les lilas refleurriront... refleurriront...*

Конец весны в 1944 году был теплый и свежий от частых и коротких дождей. В начале июня в саду около дачи зацвела сирень.

Ее холодные гроздья всегда были покрыты росой, и когда кто-нибудь нюхал сирень, все лицо у него делалось мокрым. В лесу перекликались птицы. Всех веселила какая-то неизвестная птица, прозванная «часовщиком». «Трр-трр-трр!» — кричала она, и этот металлический крик был похож на звук, который бывает, когда заводят ключом стенные часы.

Но лучше всего были сумерки, когда над седыми березовыми рощами подымалась туманная луна. На вечернем небе виднелись тонкие тени плакучих ветвей. В сизом воздухе стояли над лесом облака и тлели слабым светом. А потом над огромной притихшей землей воцарялась ночь, до самых краев налитая прохладным воздухом и запахом воды.

Мадам укладывала детей спать, выходила в сад, садилась отдохнуть на скамейку около сирени и прислушивалась. Долегал отдаленный шум дачных поездов, голоса людей, идущих по шоссе. Ничто вокруг не напоминало о войне, но война шла — тяжкая, суровая, — и, может быть, потому в то лето люди с особенной силой ощущали прелесть лесов, птичьего крика, неба, покрытого звездами.

Мадам впервые пошла этой весной в церковь, в соседнюю деревню. Был троицын день. Церковь была убрана березками. Каменный пол посыпали травой. Она была примята ногами и пахла печально и сладко — осенью, увяданьем.

Дряхлый священник служил с трудом, очень медленно, и потому мадам многое поняла. Она вздохнула, когда священник читал молитву «о благорастворении воздуха, изобилии плодов земных и временах мирных». Когда придут эти времена для ее далекой-далекой, почти забытой страны!

Вечером в этот день мадам вышла в сад позже, чем всегда. Хозяйка дома уехала в Москву, и мадам пришлось работать больше обычного.

В саду было очень тихо. Луна бросала прозрачные тени. Мадам сидела задумавшись, сложив на коленях руки. Потом она оглянулась, встала — кто-то бежал мимо дачи. Мадам подошла к калитке и увидела соседского мальчика Ваню.

— Иван! — окликнула мадам.

— Я из Москвы! — крикнул мальчик, пробегая мимо. — Вторжение началось! Сегодня утром. В Нормандию! Наконец-то!

— Как, как! — спросила мадам, но мальчик, не отвечая, побежал дальше.

Мадам сжала руки, быстро пошла к себе в комнату. В столовой сидел хозяин дома и, как всегда, читал книгу за стаканом остывшего чая.

Мадам на мгновение остановилась и сказала очень быстро, задыхаясь.

— Они высадились... у нас... в Нормандии. Я говорила... *Quand les lilas refleurriront...*

Хозяин швырнул книгу на стол, вскочил, дико посмотрел вслед мадам, взъерошил волосы, прошептал: «Вот здорово!» — и пошел на соседнюю дачу узнавать новости.

Вернулся он через час и остановился на пороге столовой. Комната была ярко освещена. Горели все лампы. На рояле пылали, дымя, восковые свечи. Круглый стол был накрыт тяжелой белоснежной скатертью. На ней черным стеклом блестели две бутылки шампанского.

И всюду — на столах, окнах, на рояле, на полу — громоздились в вазах, кувшинах, в тазах, даже в деревянном дубовом ведре груды сирени.

Мадам расставляла на столе бокалы. Пораженный хозяин смотрел на нее и молчал. Он не сразу узнал ее — свою старую мадам, всегда озабоченную, суетливую, с покрасневшими от работы руками — в этой то-

ненькой седой женщине в сером шелковом платье. Такие изящные, но старомодные платья хозяин видел только в детстве на балах и на семейных праздниках. Жемчужное ожерелье светилось на шелку, и черный веер с треском закрылся в руке мадам и повис на золотой цепочке, когда она, увидев хозяина, улыбнулась и вкрадчиво сказала:

— Простите, месье, но я думаю, что по этому случаю можно разбудить на одну минуту девочек.

— Да... конечно! — пробормотал хозяин дома, еще ничего не понимая.

Мадам вышла, но запах тонких, должно быть, парижских духов остался в комнате.

«Что же это? — подумал хозяин. — Блеск глаз, улыбка, свободный жест, которым мадам захлопнула веер! Откуда все это? Боже мой, как она, должно быть, была хороша в молодости! И это платье! Единственное платье, которое она надевала на единственный бал где-нибудь в Кане или Гранвиле. Никто в доме до сих пор не знал, что у мадам есть такое платье, и ожерелье, и веер, и эти духи. И где она прятала бутылки с шампанским?»

Сверху спустились девочки, удивленные и взволнованные. Мадам быстро сошла за ними, села к роялю, поправила волосы и заиграла.

Да, хозяин угадал! Как всегда, у него начало холодеть под сердцем от этой звенящей томительной музыки:

Подымайтесь за Родину!  
День славы настал!

Хозяин слушал, откупоривая бутылку с шампанским. Девочки стояли среди столовой, прижавшись друг к другу, и смотрели на мадам сияющими глазами.

«К оружию, граждане!» — гремела «Марсельеза», заполняя дом, сад, казалось, весь лес, всю ночь.

Мадам плакала, закинув голову, закрыв глаза, не переставая играть.

Мерным громом пел рояль. Они идут! Они идут, дети Франции, сыновья и дочери прекрасной страны! Они подымаются из могил, великие французы, чтобы увидеть свободу, счастье и славу своей поруганной родины.

«К оружию, граждане!» Ветер Нормандии, Бургундии, Шампани и Лангедока сдувает слезы с их щек — слезы благодарности тем тысячам английских, русских и американских солдат, что смертью своею уничтожили смерть и вернули жизнь, отечество и честь благородному измученному народу.

Мадам перестала играть, обняла за плечи девочек и повела их к столу. Девочки прижимались к ней, гладили ее руки.

Хозяин дома сидел в кресле, прикрыв ладонью глаза, и так и выпил свой бокал шампанского, не отнимая ладони. Младшая девочка подумала, что у него, должно быть, от слишком яркого света болят глаза.

На рассвете старшая девочка проснулась, тихо встала, накинула платье и пошла в комнату к мадам.

Дверь была открыта. Мадам в сером шелковом платье стояла на коленях у открытого окна, прижавшись головой к подоконнику, положив на него руки, и что-то шептала.

Девочка прислушалась. Мадам шептала странные слова, — девочка не сразу догадалась, что это молитва.

— Святая дева Мария! — шептала мадам. — Святая дева Мария. Дай мне увидеть Францию, поцеловать порог родного дома и украсить цветами могилу моего милго Шарля. Святая дева Мария!

Девочка стояла неподвижно, слушала. За лесом подымалось солнце, и первые его лучи уже играли на золотой цепочке от веера, все еще висевшего на руке у мадам.

1945

## ТОЛПА НА НАБЕРЕЖНОЙ

— Когда ты сойдешь на берег в Неаполе, — сказала мне моя дочь — молодая женщина, склонная к неожиданным поступкам, — то подари эту матрешку первой же итальянской девочке.

Я согласился. Кто знает, — может быть, это поручение приведет к какому-нибудь лирическому событию. От таких событий мы основательно отвыкли.

Возможно, не все представляют себе, что такое матрешка. Это деревянная кукла, похожая на «ваньку-встаньку». Изображает она русскую крестьянскую девушку. Матрешка внутри пустая, выдолбленная и легко разнимается на две части. Внутрь матрешки вкладывают несколько меньших матрешек, располагая их по росту. Если матрешку показать незнакомому человеку, например иностранцу, то вряд ли он догадается, что в ней спрятано еще несколько таких же кукол.

До моего отъезда матрешка в шали пышного алого цвета стояла на письменном столе. Она была густо покрыта лаком и блестела, как стеклянная.

В ней было скрыто еще пять матрешек в разноцветно раскрашенных шалих: зеленой, желтой, синей, фиолетовой и, наконец, — самая маленькая матрешка, величиной с наперсток, — в шали из сусального золота.

Деревенский мастер наградил матрешек русской красотой, соболиными бровями и рдеющим, как угли, румянцем. Синие их глаза он прикрыл такими длинными ресницами, что от одного их взмаха должны разбиваться вдребезги мужские сердца.

С детских лет я представлял себе Неаполь довольно ясно, даже с некоторыми подробностями.

В действительности Неаполь оказался как бы сдвинутым в пространстве и цвете. То, что я привык представлять себе с правой стороны, находилось слева; то, что в воображении я видел белым, оказывалось оливковым или коричневым, а классический дым над Везувием совершенно исчез. Везувий уже два года не дымил. Говорили, что он погас навсегда.

Ранним утром наш пароход причалил к молу около замка Каstell-Нуово. На молу толпились черные монахини в белых крылатых чепцах. Они еще издали торопливо крестили и благословляли наш пароход.

Внезапно к монахиням подъехала на мотороллере полная пожилая игуменья и что-то гневно крикнула. Монахини, испуганно озираясь, засеменяли мелкой рысью прочь от нашего парохода и скрылись в утрен-

ней дымке неаполитанских улиц. Игуменья, рыча мого-роллером, умчалась за ними.

Очевидно, произошла путаница, и монахини встретили и благословили совсем не тот пароход, какой было нужно.

Действительно, вскоре рядом с нами причалил старый, кривой на один борт пароход «Палермо». Выцветший итальянский флаг уныло висел на его корме. Пароход привез из Палестины паломников, поклонявшихся гробу господню.

От «Палермо» несло кофейной гущей и ладаном. В каютах висели черные распятия и пучки колючей травы. То были злаки и тернии Иудеи, жалкий корм верблюдов и ослов, одеревенелые растения пустыни.

«Палермо» высадил паломников и тотчас уснул, навалившись на пристань. Изредка он блаженно вздыхал отработанным паром. Густые шершавые водоросли свисали с его красного днища, и казалось, что престарелый этот пароход так устал от длинного рейса, что у него не хватило силы побриться.

Но «Палермо» не повезло. Ему не дали поспать даже полчаса. Два развязных буксира с трубами набекрень подошли к «Палермо», зацепили сонный пароход стальными тросами и оттащили от мола, чтобы дать место американскому пароходу «Президент Гувер».

Американец был белый, длинный и скучный. Он привез туристов, в большинстве пожилых. По его палубам бродили, переваливаясь, крашенные леди в сморщенных купальных костюмах и темных окулярах самых затейливых форм: в виде летучих мышей, трапеций, тропических бабочек и парашютов. Мужчины ходили в трусах, не стесняясь своих синеватых петушиных ног.

Но самым удивительным здесь, в Неаполе, где краски неба, облаков и моря превращают весь видимый мир в голубой вкрадчивый дым, а ночи рыдают голосами уличных музыкантов, — самым удивительным и неприятным было то обстоятельство, что эти американские мужчины и женщины оказались неслыханно пресными, скучливыми и, конечно, не поступились ни одной из своих застарелых привычек. Для них в мире не было ничего поразительного. Земля не давала им достаточных поводов для восхищения, хотя и заслуживала по временам поощрительного похлопывания по плечу.

Через огромный зал таможни с выложенными на полу мозаиками каравелл мы вышли на мол и ступили на итальянскую землю. Она была вымощена обыкновенной брусчаткой. По камням бродили толпы голубей.

Полицейские в белых тропических шлемах и белых лакированных портупеях смотрели на нас пристально и выжидательно. Иногда их глаза просто умоляли нас о чем-то для нас непонятном. Но вскоре выяснилось, что полицейские жаждали получить московские сувениры («сувениро ди Моска»), в особенности значки с видами Кремля. Открыто выпрашивать сувениры они не решались.

Я вышел на набережную. Я не забыл об итальянской девочке и нес матрешку, завернутую в папиросную бумагу. Любители сувениров некоторое время молча и укоризненно брели за мной, потом отстали.

Никакой девочки я сразу не встретил. Правда, я легко мог пропустить ее потому, что часто останавливался и смотрел в глубину улиц, выходивших на набережную.

Эта глубина улиц была заманчива и таинственна. Заманчива причудливым переплетением мощных завитков колонн с черными ветками тиса, крикливых вывесок — со струями совершенно хрустальной воды из фонтанов, крылатых полногрудых богинь на фасадах домов с разноцветным блеском церковных витражей, полосатых тентов над кофейнями с одуряюще пахнущими олеандрами. Их розовые цветы слабо качались от непрерывного автомобильного ветра. Улицы выносили, как реки, на раскаленную набережную холодный ток воздуха из мраморных зданий.

Девочки не было. Я с досадой подумал, что она успела, должно быть, незаметно прошмыгнуть мимо меня. Я заставил себя, наконец, оторваться от зрелища приморских улиц и посмотрел вдоль набережной. Прежде всего у меня потемнело в глазах от плотного солнечного света, потом зарябило от корзин с незнакомыми цветами, выставленными на продажу вдоль мостовой, и, наконец, я увидел ее.

По пути к берегам Италии я иногда представлял себе девочку, которую встречу в Неаполе первой. Она казалась мне похожей на юную сборщицу винограда с известной картины Брюллова: те же синие волосы, пол-

ные глубокого солнечного блеска, те же лукавые глаза и смуглые персиковые щеки.

Девочка, что сейчас шла мне навстречу, была совсем не такая. Ей было лет десять. Она вела за руку маленького мальчика. Он все время оглядывался на что-то, поразившее его воображение, и потому шел боком. Девочка просто волокла его и что-то сердито ему выговаривала.

Зрелище за спиной мальчика было, конечно, не совсем обыкновенное. На небольшой пароход (должно быть, этот пароход ходил недалеко — в Сорренто или Каstellамаре) втаскивали старого плешивого осла. Осел не хотел идти на сходни, упирался всеми четырьмя ногами и отвратительно икал от возмущения. В конце концов на него накиннули лямку и втащили его на палубу паровой лебедкой. Делалось это, очевидно, из одного озорства.

Лебедка тарахтела. Из нее бил пар. Портовые грузчики в пестрых рубахах свистели и аплодировали ослу, но он не обращал на это никакого внимания.

Я смотрел на девочку. Она была лучше, чем брюлловская сборщица винограда, — несравненно проще, беднее и прекраснее.

На ней было старенькое черное платье, протертое на локтях, заштопанные светлые чулки и старые — тоже черные — тапочки. И все это черное удивительно вязалось с ее худеньким, бледным лицом и неожиданно светлыми, чуть рыжеватыми косами, завязанными у нее на груди небрежным узлом.

Когда девочка подошла, я развернул папиросную бумагу и вынул из нее матрешку.

Она увидела матрешку, остановилась и засмеялась, прижав к груди смуглые пальцы. Чему она смеялась, я не знаю. Быть может, красоте неизвестной игрушки, пылавшей под солнцем Неаполя. Так люди смеются, когда сбываются их любимые или смешные сны.

Я протянул девочке матрешку. Она не взяла ее. Она перестала смеяться, сжала темные брови и испуганно метнулась в сторону. Я схватил ее за руку и почти силой заставил ее взять матрешку.

Она потупилась, присела и сказала едва слышно:

— Грацие, синьоро!

Она снова присела и подняла на меня влажные, си-

яющие глаза. Мне трудно было поверить в то, что девочка так сильно обрадовалась такому пустяку, как матрешка. Но я увидел вблизи ее худенькие ключицы под платьем, пахнущим мазутом, увидел и другие приметы безропотной бедности и поверил, что для этой девочки матрешка и вправду — большая радость.

Тогда я еще не видел зловонных от гнилых овощей кварталов Неаполя, не видел и окраин к северу от города, где дым канареечного цвета, пахнувший кислотами, висит над пустырями. И там и тут жили люди.

Все это я увидел позже. Сейчас же Неаполь беспечно сверкал, щедро отдавая морю тот блеск, что оно на него изливало, отвечая ему таким же блеском.

Девочка все благодарила меня. Мальчик был еще так мал, что, как ни задира л голову и ни старался увидеть, что происходит с сестрой, не мог заметить матрешку. Но все же, подражая сестре, он гудел снизу, из-за ее коленок, хриплым басом:

— Грацие, синьоро!

Я наклонился к мальчику, но в это время кто-то обнял меня сбоку за шею, заглянул в лицо, и я увидел рядом с собой смеющиеся твердые губы и широкие радостные глаза.

Молодая женщина, должно быть крестьянка, в синей юбке с оборками и легкой черной шали, накинутой на плечи, прижалась на мгновение горячей щекой к моей щеке и сказала гортанно и нежно все те же слова:

— Грацие, синьоро!

Это была одна из продавщиц цветов, сидевших на набережной. Она подбежала ко мне и начала благодарить за то, что я подарил такую редкую игрушку итальянской девочке.

Через минуту вокруг нас уже перекрикивалась разноцветная толпа продавщиц. Они оставили без надзора свои лотки с апельсинами, дешевыми кораллами, цветами, лентами, американской жевательной резинкой и сигаретами. Они хлопали меня по плечу, обнимали, что-то кричали мне прямо в лицо, и глаза у них смеялись.

Матрешка пошла по рукам. Женщины смотрели на нее, как на солнце, прикрыв глаза ладонями, и чмокали от восхищения. Они тормошили девочку, поздравляли ее, поправляли на ней старенькое платье. Одна из жен-

щин быстро заплела девочке наново косы и вплела в них оранжевую ленту.

Женщины всячески старались украсить девочку, даже приколоты к ее платью бутон желтой розы. И девочка, действительно, как бы расцветала под их пальцами.

Во всей этой шумной заботе было заметно смущение женщин перед иностранцем, перед «советским синьором», — смущение из-за изможденного лица девочки, ветхого ее платья и всего ее нищенского вида.

Толпа росла. Мчавшиеся по набережной такси оставались около нас. Шоферы спрашивали, что случилось, после чего поспешно выскакивали вместе с пассажирами из машин и протискивались к девочке. Портовые рабочие, те, что освистали старого осла, напирала сзади. Откуда-то нахлынули школьники. Они аплодировали матрешке, хлопая книгой о книгу, и при этом из книг вылетали оторванные страницы. С военного грузовика соскочили и смешались с толпой солдаты-берсальеры с петушиными хвостами на кеги.

Старый извозчик влез на козлы своего веттурино, украшенного цветами и бубенцами, будто это был маленький цирк на колесах, и пел фальцетом, воздев руки к небу, какую-то песенку.

Девочка вся искрилась от восторга, от всего этого необыкновенного случая в порту.

Внезапно все стихли. Я оглянулся. К толпе медленно шел таможенный надсмотрщик в кеги с золотым галуном и маленьким, как будто игрушечным пистолетом, висевшим на поясе в белой лакированной кобуре.

Он шел уверенно, раздвигая толпу. Лицо его с короткими усиками было совершенно бесстрастно.

Надсмотрщик подошел к девочке, взял у нее из рук матрешку и начал тщательно рассматривать, наморщив брови. Девочка умоляюще смотрела на него. Несколько раз она робко протягивала к матрешке руку, но тотчас отдергивала ее.

Надсмотрщик поднял голову и обвел глазами толпу. Десятки настороженных глаз в свою очередь смотрели на него. Тогда надсмотрщик усмехнулся и щелкнул пальцами. Толпа неопределенно зашумела.

Надсмотрщик поднял над головой матрешку, показав ее на все стороны, как это делают фокусники

(«О, ля-ля!»), потом быстрым и совершенно незаметным движением открыл матрешку и выхватил из нее вторую — в яркой зеленой шали.

По толпе прошел тихий восторженный гул. Надсмотрщик снова щелкнул языком, и из зеленой матрешки мгновенно появились желтая, потом синяя, фиолетовая, и, наконец, он вынул двумя пальцами и осторожно поднял последнюю, самую маленькую матрешку — в золотой шали.

Тогда толпа как бы взорвалась. Вихрь криков пронесся над ней. Люди хлопали в ладоши, свистели, били себя по бедрам, топали ногами и хохотали.

Надсмотрщик так же спокойно собрал все шесть матрешек в одну и отдал девочке. Она прижала матрешку не к груди, а прямо к своему бющемуся от счастья горлу, схватила мальчика за руку и бросилась бежать.

Надсмотрщик на ломаном французском языке сказал мне наставительно и суховато:

— Вы сделали маленькую оплошность, мосье.

— Какую?

— Вы могли подарить эту игрушку не одной, а шестью девочкам-неаполитанкам.

Он был прав, конечно, относительно шестерых девочек. Может быть, поэтому он так величественно поднес руку в белой перчатке к своему кепи и ушел несколько надменно и горделиво.

Вот, собственно, и все, что случилось в то утро с матрешкой в неаполитанском порту, если бы не некоторое добавочное обстоятельство. Оно принадлежит к тому ряду явлений, какие, может быть, существуют только в нашем воображении и являются плодом наших желаний. Но, несмотря на это, они действуют на дальнейшее течение наших дней с неотразимой силой.

Девочка убежала, забыв напоследок поблагодарить меня. Эту ее ошибку исправила все та же молодая крестьянка в синей юбке с оборками. Она снова обняла меня, снова ласково прижалась смуглой пылающей щекой к моей щеке и сказала, но теперь уже вполголоса и смущенно:

— Грацие, мио каро синьоро!

Она тотчас убежала вместе с другими продавщицами к своим корзинам с цветами, а у меня на щеке остался горьковатый и тягучий запах ее лица. Он был похож на запах лаванды.

Он был удивительно стойкий, этот запах, держался несколько дней и исчез только в Риме, куда я ездил на несколько дней из Неаполя. Может быть, я так долго слышал этот запах только потому, что мне этого очень хотелось.

Когда поезд Неаполь — Рим, поминутно пытаюсь сорваться с рельсов и обрушиться в желтые ущелья Апеннин, мчался к Риму, я смотрел в окно на маленькие горные города и думал, что каждый из них мог быть родиной этой крестьянки.

То были очень старинные города на вершинах гор, зубчатые крепости, обнесенные выщербленными стенами. Там позванивали колокола угрюмых соборов, где, может быть, светились в полутьме алтарей божественные фрески Джотто или самого Рафаэля.

Белые — петлистые и пустынные — дороги подымались к этим городам из выжженных засухой долин. По этим дорогам семенили ослы. Лучше всего были видны их темные уши. Тоненькие ослиные ноги сливались с цветом шиферной пыли, и потому их было нельзя рассмотреть.

Я всматривался в эти города, в узкие улицы около высохших от старости фасадов, в пестрые вывески кино и треснувший мрамор разрушенных фонтанов, в узловатые оливы в садах, как бы отлитые из ноздреватого олова, и думал, что, может быть, вот в этом городе у меня уже есть близкое сердце — такое же нежное, как теплота ее маленькой зардевшейся щеки. И если мне в жизни будет особенно тяжело, то это простодушное сердце никогда не откажет мне в помощи и утешении.

Я был уверен в этом. И эта вера бесконечно облегчала жизнь.

На обратном пути поезд из Рима пришел в Неаполь поздней ночью. В открытое окно вагона дул теплый морской ветер с привкусом нефти. В узких домах вдоль полотна было, конечно, темно, и только в ярко освещенной будке стрелочника сидел на подоконнике и играл на мандолине юноша с бакенбардами и лицом Ива Монтана.

Это было мое последнее впечатление от Неаполя.

Поезд подали на мол прямо к пароходу. Он тотчас отчалил. С палубы было видно в свете неестественно ярких фонарей то место на набережной, где днем сидели продавщицы. Я всматривался в него, стыдясь сознаться самому себе, что я жду чуда, жду, что на пустынной мостовой появится молодая крестьянка в синей юбке с оборками и побежит по молу вслед за пароходом, уже медленно резавшим стальным носом мрак ночи и черную воду залива.

На мгновение мне даже показалось, что я вижу вдали неясную женскую фигуру. Но это была одна из легких теней, какими полны портовые ночи.

Я просидел на палубе до рассвета, пока не открылись в слабо голубеющих и необъятных водах огни Сардинии.

Рассвет я встретил с сожалением. Я знал, что каждый день будет удалять от меня прошлое и погружать его в темноту так же медленно и верно, как иссякает на сцене электрический свет, взятый на реостат.

*Таруса*  
1957

## ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗАПИСИ

К этому человек, должно быть, никогда не привыкнет — остановить такси в березовой роще под Москвой, выйти, чтобы послушать в последний раз, как шумит по деревьям дождь, через тридцать—сорок минут сесть в реактивный самолет и, спустя пять часов, выйти на жарком аэродроме итальянского города Турина. Об этом городе ты ни разу в жизни не вспоминал и почти ничего о нем не знаешь, кроме того, что Турин — бывшая столица Сардинского королевства. Так по крайней мере нас учили в гимназии.

Но до Турина была еще Прага, был черепичный Цюрих среди плавных альпийских предгорий, были Альпы — сплошное курчавое море облаков, лишь в одном месте разорванное снеговой пирамидой Монблана. По-

том самолет качнуло над озером Комо, а Милан встретил нас знойным порывистым ветром.

От Милана до Турина мы летели над сочной и плоской Ломбардией на удивительно милом самолете. У нас это сооружение назвали бы, очевидно, «самолетом районного значения».

В тесноватую кабину набилось много народу. То были преимущественно крестьяне со своей деревенской поклажей. Один старик вез даже в корзине огненного петуха. Вид у петуха был наглый, а у его хозяина — испуганный. Старик, должно быть, боялся, что петух запоет.

Женщины тараторили с необыкновенной быстротой и что-то вязали. Через пять минут после отлета мужчины закурили, достали бутылки с вином и начали перекидываться в кости.

В кабине пахло кофе и почему-то сеном. Мы пролетали над Новарой. Мне было приятно думать, что в самолет проникает запах новарских цветущих полей. На самом деле это было, конечно, не так.

Стюардесса, вопреки обыкновению, не виляла модными бедрами по проходу между пассажирами, а продавалась, засучив рукава, с чашками кофе, нанизанными на пальцы.

Это была не обычная стильная стюардесса с улыбочивыми глазами, а простая краснощекая девушка с реки По, с тучных полей, убежавших под крылья машины.

Самолет походил на дилижанс. Он раскачивался на воздушных ямах, как на ухабах.

\* \* \*

В Турин мы прилетели на конгресс Европейского общества писателей. Конгресс был созван в связи с годовщиной объединения Италии. Объединение произошло в Турине. Поэтому и конгресс происходил в этом городе.

На аэродроме в Турине нас встретил маленький стройный человек, весь серебряный от ровной седины. Седой человек оказался сотрудником Европейского общества писателей. Звали его Альдо Леви. Он был отставным адмиралом итальянского флота.

Редко я встречал людей таких внимательных, сердечных и исполнительных до последней мелочи, как этот адмирал-еврей. По этой последней причине он был вынужден при Муссолини скрываться в лесах Сицилии.

Адмирал свободно владел почти всеми европейскими языками, изъездил весь мир, и потому мы были тронуты тем, как охотно он тратил уйму сил и времени на то, чтобы исполнить каждое наше желание, даже если оно с точки зрения положительного человека могло показаться наивным и легкомысленным.

Был такой случай. Перед поездкой я достал в Москве планы Милана и Турина. Как-то вечером моя дочь — молодая женщина, которой были свойственны веселые поступки, — взяла карандаш, закрыла глаза, опустила острие карандаша на план Турина и сказала:

— Вот это место ты сними обязательно! И вот это — тоже. И это. И привези снимки.

Она поставила несколько точек на планах Турина и Милана. В Милане ей повезло — кончик карандаша попал на великолепный дворец Сфорца, а в Турине, наоборот, — на тюрьму и кавалерийские казармы.

На второй день после приезда в Турин, когда мы ехали на конгресс на низкой машине, как бы навсегда присевшей для прыжка, я, смеясь, рассказал об этом адмиралу Леви. Адмирал необыкновенно взволновался и обрадовался. Обрадовался и шофер. До них обоих «дошла» эта выдумка. Они оба сочли ее весьма интересной и даже поэтической.

Пока я сидел в зале конгресса, адмирал изучал с шофером мой план города с отмеченными местами.

Тотчас после заседания мы сели в машину и помчались по улицам, пестрым от обилия цветов и разноцветных тентов над кофейнями. Мы мчались к тюрьме и казармам. Адмирал беспокоился. Он считал мой план Турина устаревшим и боялся, что теперь на месте тюрьмы и казарм уже выстроены новые дома.

Но нам повезло. Все было цело. Я снял тюрьму с распятием на воротах и снял казарму, где у входа стояли строгие часовые. Адмирал попросил, чтобы я снял отдельно этих красавцев-часовых. Они были польщены этим и позировали так торжественно, будто стояли в почетном карауле у дворца самого президента.

Вся улица играла от ветра и солнца. И все мы, включая солдат, были очень довольны этим небольшим происшествием.

Во время пребывания в Турине мы жили не в городе — слишком жарком, — а в нескольких километрах к западу от него, в лесистых и прохладных предгорьях Пьемонтских Альп, в местности по названию «Эремо». Там к старому католическому монастырю его владельцы недавно пристроили гостиницу. Называлась она «Резиденция Романья».

Кажется, мы, писатели разных европейских стран, были первыми жильцами этой гостиницы — пустой, светлой, гулкой и очень тихой.

За окном моей комнаты по свежему зеленому склону тянулись кудрявые фруктовые сады. Крестьяне косили между деревьев траву. Запах сена наполнял все комнаты гостиницы. Он был более острым и терпким, чем запах нашего русского сена. Должно быть, в этом итальянском сене было много пряных и горьковатых горных цветов.

С Пьемонтских Альп все время налетал легкий ветер. Шумели вековые каштаны. На старой кампанилле у моего окна время от времени дребезжал колокол. Где-то поблизости вдохновенно рыдали ослы.

По утрам меня будило пение молодых монахинь. Они парами шли под моим окном в соседнюю церковь. Увидев меня, они опускали головы и начинали петь громче.

Невдалеке от «Резиденции Романьи» на обочине пустынного шоссе скрывался под тенью ореховых деревьев маленький «ресторанте». Я часто ходил туда пить кофе и долго просиживал за столиком во дворе «ресторанте», разглядывая прохожих, пыльные машины, студентов, пронесившихся на мотороллерах вместе со своими подругами, и полицейских с белыми портупелями через плечо. В чужой стране это занятие было увлекательным.

Каждый раз ко мне подходил маленький ворсистый ослик с колокольчиком на шее. Он долго стоял, навалившись всем телом на меня, и дожидался сахара. Время от времени он хлопал меня по руке пыльным ухом. То ли он напоминал мне о своем существовании, то ли

отгонял мух. Во всяком случае он хлопал ушами очень часто и постукивал при этом копытцами.

Однажды ослик не рассчитал расстояния, ударил ухом по чашке кофе на столике, перевернул ее и облил скатерть и мои брюки. На ослика это не произвело никакого впечатления, но хозяйка «ресторанте» страшно раскричалась и обрушила на голову ослика самые жестокие проклятья.

Через некоторое время я узнал, что этот безмятежный «ресторанте» был местом тяжелой драмы. В нем застрелился прекрасный итальянский писатель Павэзэ — человек, измученный войной, благородный и непримиримый.

В последние годы жизни его преследовала мысль, что ни один человек не может до конца понять другого и не может быть понят этим другим. То была драма человека сложного, тонкого, встревоженного жизнью и бессильем слов к выражению своего внутреннего мира. Все мы знаем в той или иной мере это бессилие, все проходили через это испытание, но Павэзэ его не мог вынести и так и ушел из жизни непонятым.

Турин — автомобильная столица Италии. В нем расположен грандиозный завод «Фиат».

Это, конечно, не завод. Это самостоятельное государство со многими учреждениями и свойствами суверенной страны.

Завод нельзя обойти. Его можно только объехать на машине, но и это займет много часов. Объехать на машине все огромные, теряющиеся в дымке цеха, где работу выдает тихий гул автоматов. Да и весь завод с его инженерами и рабочими — сплошной исполинский автомат.

Недаром директор завода синьор Валетта похож на конквистадора времен покорения Америки. Это — низенький молчаливый человек с железными глазами, рассчитавший, очевидно, всю свою жизнь по секундам. Он холодно и несколько принужденно вежлив.

Он подарил нам пластинки для патефона с записью песенки, сочиненной каким-то поэтом «для завода» «Фиат». Передавая нам эти пластинки, синьор Валетта снисходительно улыбался. Он как бы хотел сказать, что

вот, мол, приходится ради рекламы мириться даже с поэзией и музыкой, хотя совершенно ясно, что это занятие преимущественно для бездельников.

После закрытия конгресса в старинном ресторане-дворце среди тенистого парка был устроен для делегатов прощальный ужин.

Ужин этот интересен тем, что на два часа перенес нас в обстановку восемнадцатого века.

Случилось это потому, что над Турином в тот вечер прошла грохочущая гроза. В городе погас свет. Вспышки бенгальского небесного огня вырывали из мрака то длинные массивные колоннады на «пьяцца Каstellо», то конные статуи героев и королей, то перевернутые ветром столики кафе, летящие вдоль улиц салфетки, битое стекло и листья каштанов.

Пышные залы дворца-ресторана погрузились во мрак. Ветер распахнул окна. Блеск молний безнаказанно носился по старинным картинам, серебрёной мебели и встревоженным лицам гостей.

В парке за окнами трещали сучья деревьев и водопадом низвергался ливень.

Я сидел у окна с чешской писательницей Майеровой — мужественной и бесконечно доброй женщиной. Несмотря на возраст и болезнь, она приехала в Турин из Праги на машине.

Мы говорили о молодых чешских и русских писателях, о том, что им надо дать возможность поехать как следует хотя бы по Европе.

— Писательство, — сказала Майерова, — это знание. А знание дает человеку, в числе других качеств, способность к бесконечному разнообразию ощущений. Даже гроза здесь в Турине ощущается не так, как в Карловых Варах. Хотя бы потому, что мы знаем о множестве вековых ореховых деревьев, окружающих Турин. Поэтому все время чудится запах ореховых листьев, промокших от дождя.

Электричество погасло надолго. Кельнеры начали зажигать свечи в старых позванивающих люстрах и канделябрах.

Трепетание теней и дрожащие язычки огня сразу перенесли нас на два столетия назад. Даже лица писате-

лей — депутатов конгресса стали какими-то старинными, более таинственными и более выразительными.

Из Турина я уехал на крайний северо-запад Италии, в бывшее герцогство Аосту.

Десять дней, проведенных в свежей и нежной долине Аосты у подножья величайших альпийских вершин Монблана, Маттергорна и Монте-Розы, прочно оторвали меня от городской жизни.

Тишина стояла до самых вершин гор и еще выше, — до бледного от снегов высокого неба. Только ветер, хлопавший створками жалюзи в окнах гостиницы, и сонный рокот реки Дора нарушали эту тишину. Да еще голоса детей.

В долине Аосты я жил в маленьком городке Сен-Висенте — типичном не итальянском, а французском провинциальном городке. Савойя была рядом.

К вечеру на главной улице собирались жители городка, чтобы попить кофе за крошечными столиками на узеньких тротуарах, посудачить и посмотреть на приезжих.

А посмотреть стоило. Через городок в сторону Альп проносились, приседая, машины, — длинные, низкие, бесшумные, сверкающие ослепительными лаками всех возможных цветов.

В машинах сидели люди одетые ярко и пестро, как попугай, преимущественно во все красное или во все желтое. Это были альпинисты. Такие яркие костюмы они носили, чтобы их легче было найти в случае несчастья на горных снегах и глетчерах. Красный и желтый цвета видны очень далеко. Даже лыжи у альпинистов были ярких цветов — зеленые, оранжевые, красные и черные.

По узкой улице проносились машины с альпинистами и бегали с озабоченными мордами одни и те же добродушные псы. Через три дня я уже знал всех их в лицо.

В Сен-Висенте я жил в гостинице «Биллия». В ней останавливались, главным образом, миланские купцы, миллионеры и крупные игроки.

Рядом с гостиницей было казино с рулеткой и другими азартными играми. Рулетка эта была, кажется, единственной в Италии.

Казино соединялось с гостиницей подземным ходом. На его мраморных стенах висели картины новейших художников.

Впервые я столкнулся с теми, кого мы называем капиталистами. Я наблюдал их в казино, ресторанах, ночном кафе, в обширных холлах гостиницы и на улицах городка.

В большинстве это были скучные и надменные люди с дурными манерами. Любой носильщик, кондуктор пульмана или чистильщик сапог вел себя с гораздо большей непринужденностью и достоинством.

Ничто не изменилось с тех пор, как Бунин написал своего «Господина из Сан-Франциско».

Та же холодная пустота расчетливого ума, вера во всемогущество доллара и лиры, отчужденность и стандартное модное веселье или, вернее, погоня за тем, что должно было бы быть весельем, но никогда им не бывает. Веселье рекламируется, как кока-кола. А какое же истинное веселье нуждается в рекламе!

Особенно резко бросалось в глаза это последнее качество миллионеров и мультимиллионеров в ночном кафе, где их дочери и жены танцевали в красном дразнящем полумраке с наемными партнерами. То были смазливые и хищные юноши с ослепительными проборами и искусственно бледными лицами. Некоторые из них гримировались под «битников» — грязноватых, неуклюжих и развязных.

Миллионеры оживлялись только в казино за столами с рулеткой.

Казино — это сиреневый туман сигарет, сквозь который проступает витиеватое золото люстр и светятся драгоценные камни на пальцах, шеях женщин. Почему-то все эти камни кажутся здесь фальшивыми. Может быть, потому, что молодые женщины (за редкими исключениями) избегают бывать в казино, а за игорными столами, кроме мужчин, сидят пожилые женщины и старухи, и камни на их дряблой коже, естественно, кажутся мертвыми.

Чаще всего в казино я видел старух. Иногда они комкали платки и плакали. Зрелище дряхлой плачущей женщины невыносимо. Даже крупье отводили от них глаза.

То обстоятельство, что в казино я почти не видел

молодых женщин, вызвало у меня внезапный прилив благодарности к ним. Очевидно, свежесть, девичество, изящество несовместимы с залами, где низменное волнение, жадность и азарт людей приобрели чисто внешнее отталкивающее выражение. Нигде так ясно, как в казино, не видны под нейлоновыми костюмами алчность и враждебность к соседям.

Казино — это глухой гул людской толпы. В казино не разговаривают, но волнуются. И вот, оказывается, это безмолвное человеческое волнение порождает тревожный и незатаивающий шум.

Этот гул прорезают только беспощадные и ледяные возгласы крупье: «Ставок больше нет!» После этого возгласа только быстро жужжит, подскакивая, шарик и тотчас происходит стремительная и почти незаметная выдача выигршей.

Крупье работают, как лучшие фокусники и жонглеры в мире. Все их движения точны и беспощадны. Они должны помнить все ставки и никогда не ошибаться. Они должны чуть показывать зубы в деланной улыбке и не спускать глаз с рук игроков. Это — адская работа, и потому крупье меняются каждые два часа.

\* \* \*

В трехстах метрах от дымного и бессонного казино пустынная дорога выводила меня сквозь заросли в долину. Там пенилась река, озерами цвели анемоны, пели птицы, стояли на перекрестках молоденькие каменные мадонны и кто-то клал к их ногам охапки свежей травы. В дощатой таверне веселый мальчик наливал мне в толстый стакан густого сицилийского вина, а старая мохнатая собака приносила в зубах все одну и ту же вчерашнюю измятую газету.

Вдоль реки — вернее, не реки, а потока бешеной пышной пены — по едва заметной тропе среди скал я добирался до римского моста.

Вокруг не было ни души. Река кипела под ветхим настилом. Вблизи на скале стоял старый замок. Его двор зарос выгоревшей травой. На стенах сохранилась бледная фреска. На ней рыцарь помогал подняться с земли молодой женщине с печальным и нежным лицом.

Что означала эта фреска, я не знал. Но она была прекрасна.

Леса вокруг источали бальзамический воздух. Старый пастух заходил во двор замка и, присев на ступеньку, ел хлеб с сыром и запивал свой завтрак вином из глиняной фляги. Своих овец пастух оставлял за стеной замка.

В узкую калитку вместе с пастухом всегда протискивался, боясь отстать от хозяина, невероятно лохматый пес розового цвета.

Пастух всегда садился рядом со мной, а пес ложился вдалеке, у самой калитки, не решаясь подойти ближе. Оттуда он смотрел на меня смеющимися глазами и, заигрывая, отмахивался от меня лапой. Потом, осмелев, он начинал медленно подползать ко мне, вежливо брал мою руку в свою жаркую пасть, чуть прикусывал ее, но тотчас отпуская, растягивался у моих ног и начинал старательно подметать хвостом каменные плиты двора.

— Он играет с вами, — говорил пастух на смеси французского и итальянского. — Прочь, Волкано! Не пыли в лицо синьору.

Этого пастуха я встречал в замке три раза. И каждый раз он с такой радостью угощал меня вином, что я не мог отказаться. Мы ни о чем не говорили, а только улыбались друг другу. Но и этого было довольно.

Пастух уходил, а я ложился на сухую траву. От каменных стен замка тянуло тысячелетней теплотой.

Я долго лежал, глядя в небо Италии с летучими облаками, которые так легко и точно умели писать художники Возрождения. От облаков исходил на землю мирный свет и тишина.

Большую часть своего времени в Сен-Висенте я проводил у римского моста и в замке. Я с неохотой возвращался в «Биллию», ощущая как оскорбление те поспешные и низкие поклоны, которые отпускали мне привратники и мальчишки-лифтеры. Я ощущал эти поклоны как оскорбление именно потому, что все эти люди так же кланялись миллионерам и игрокам и, может быть, принимали и меня за представителя этой пустой породы людей.

Но как только уборщица Романья — ясноглазая и смешливая уроженка Пармы — узнала, что я русский

из Москвы, тотчас все изменилось. Со мной здоровались радостно и почтительно и начали протягивать мне дружески руку.

Альпы синели и дымились совсем недалеко. Но, чтобы подойти к ним, как говорится, «на вытянутую руку», надо было поехать в ближайший альпийский поселок Червинию.

Дорога туда живописна и вместе с тем однообразна, как и все красивые горные дороги.

В горных странах — у нас ли на Кавказе, в Карпатах, в Апеннингах или на Балканах — красоты часто повторяются. Крутые повороты, мосты, синеватый дым над долинами, сосны на скалах, исполинские зубцы, присыпанные снегом, — все это есть в любой горной стране. Не повторяются только люди и постройки. Здесь разворот огромный — от дагестанских аулов и деревянных ступенчатых изб в Татрах до швейцарских шале — уютных и пылающих изо всех окон и балконов традиционной геранью.

Автобус-пульман шел осторожно, все время покрикивая. Его крик повторяло со всех сторон печальное эхо.

С каждым поворотом становилось холоднее. Бешено мчались по обочинам серо-зеленые ручьи, взбивая пену. Горы делались круче, зловещее, чернее.

Кое-где у дороги стояли «альберто» — маленькие гостиницы для туристов, все в рекламах вермута и джина.

Потом перед нами открылся отвесный, уходящий в небо, совершенно голый склон без единого деревца и кустика. По нему десятками белых растрепанных ветром нитей падали с высоты тонкие водопады. Они лились почти вплотную один около другого. Их отделяло друг от друга расстояние не больше, чем в три—четыре метра. Это делало склон горы похожим на те тяжелые занавеси из стеклянных нитей, какие часто встречаются в тавернах на окраинах Рима и Афин.

Червиния оказалась поселком довольно угрюмым. Стены гор скрадывали свет. Его явно не хватало для полного освещения Червинии.

Червиния — город горных проводников. Они очень театральны в своих фетровых шляпах, со связками ка-

проновых канатов на плечах и с блестящими ледорубами.

Из холодного кафе я долго смотрел на пропасти Маттергорна в сером снегу. Около одного крутого гребня горы была видна оранжевая черточка, — это, очевидно, шли альпинисты.

Рыжая девушка подала мне кофе, села рядом и начала читать какой-то роман в заманчивой обложке. Изредка она щелкала языком, неодобрительно качала головой и что-то говорила мне быстро и убежденно. Я, конечно, ничего не мог ей ответить. И, не дождавшись ответа, она с осуждением похлопала меня по руке, лежащей на столе, как бы говоря: «Эх, ты, дурачок, дурачок!» Потом обняла меня за плечи, засмеялась и ушла за стойку. Там она снова принялась читать растрепанный роман.

Лились за окнами водопады. Когда кто-нибудь открывал дверь в кафе, я прислушивался. Я ждал, что услышу шум этих десятков водопадов. Но они лились в полной тишине.

Над Маттергорном начала клубиться мгла. Там начиналась метель. Я видел через окно, как женщины на улице закутывали головы теплыми платками.

Я достал блокнот с изображением Миланского собора и начал писать письмо в Тарусу, — именно в Тарусу, а не в Москву.

Я вспомнил, как стоят над Окой летние розовеющие облака. Исполинский Маттергорн с его смертоносными лавинами показался мне грозным и неудобным. Я подумал о том, что ни за что не стал бы лезть на его клыкастую вершину. Очевидно, я человек долин, лесов, мягких линий горизонта. Горы больше всего меня привлекают в виде громад и башен кучевых облаков.

Из Сен-Висента я ездил на один день в Милан — посмотреть «Тайную вечерю» Леонардо.

Это случилось — именно случилось — в сумрачном и пустом зале монастырской трапезной при церкви Санта-Мария делле Грацие.

Писать о «Тайной вечере» невозможно. Она производит впечатление чуда. Это впечатление остается на всю жизнь.

Ее можно или принять сразу и безвозвратно, как событие твоей собственной жизни, или остаться холодным и торопиться выйти из трапезной на жгучую и переполненную светом улицу. Так и было с несколькими посетителями.

Фреска покрыта, как все драгоценные и старинные вещи, легким тускловатым налетом. Она просвечивает через нее, как через слой теплой воды.

Я часто слышал слова: «Увидеть Неаполь — и умереть» или «Увидеть «Тайную вечерю» Леонардо — и умереть!»

Эти слова, конечно, — выражение неудержимого пафоса, но по сути своей они неверны.

После встречи с «Тайной вечерей», как и со всяким великим произведением искусства, хочется не умереть, а жить, — жить, если бы это было возможно, без утомления, без ущерба, чтобы увидеть всю красоту мира во всех ее выражениях — от красной крымской земли до картин Ван-Гога и от лилового Эгейского моря до белой зари над Олонцем.

Я не стесняюсь высказать эту простую мысль. Я чувствую наследие предков, их стремление к совершенству жизни. В Милане я прикоснулся к стенам театра Ла Скала с нежностью лишь потому, что эти стены видели прекраснейших людей. Прежде всего Байрона и Стендаля.

Но я дотронулся не только до стены театра Ла Скала. Возвратившись из Милана в Сен-Висент, я с благодарностью дотронулся до пыльного кузова пульмана, возившего меня в Милан, и пожал руку загорелому и спокойному водителю Нино.

Я знал, что больше никогда в жизни не увижу ни этого пульмана, остывавшего в тени акаций, ни водителя Нино, но, к своему удивлению, не испытывал особого огорчения, — впереди были новые дороги и встречи.

В Милане меня приютил на один день представитель Общества «Италия — СССР» доктор Иван Зеленкин.

Маленьким мальчиком родители увезли Зеленкина из Новочеркасска в Италию, но он еще смутно помнил Россию и считал себя коренным донским казаком.

В его холостяцкой квартире стоял на круглом столе

посреди гостиной медный тульский самовар — символ потерянной родины.

Доктор был прост в обращении, приветлив и хорошо, хотя и с легким акцентом, говорил по-русски. Управляла докторской квартирой веселая и крикливая прислуга Эмма — неистовая патриотка Милана. По ее словам, все лучшее в мире было только миланское, — только «миланэзэ».

По случаю приезда гостя из Москвы доктор созвал ближайших друзей. Эмма накормила нас тяжеловатым и сытным миланским обедом. Во время обеда из коридора в столовую вошли на цыпочках четыре мохнатые собачки разных цветов — черная, за ней рыжая, потом — белая и позади — бежевая.

Собачки чинно сели около стола. Они не скулили и ничего не просили. Они только смотрели на нас преданно и умоляюще. Но это не помогло.

— Виа! Виа! — строго прикрикнул доктор, и собачки так же покорно ушли, как и пришли, соблюдая тот же порядок — сначала черная, за ней — рыжая, белая и позади — бежевая.

Собачки побыли в коридоре минуты две, снова в том же порядке вернулись к столу, опять были изгнаны, опять вернулись и упорно проделывали это круговращение, пока не окончился обед.

Поэтому и разговор за столом шел как бы циклами, — от одного возгласа «виа!» до другого.

Говорили о нашей поэзии, о Пастернаке. Потом — «виа!» — и разговор перешел на конгресс Европейского сообщества писателей в Турине. Снова «виа!» — и началось обсуждение картины «Рокко и его братья». Опять «виа!» — и молоденькая прелестная американка Джуди, соседка доктора, рассказала о том, как делаются золотые туфли на «шпильках» — те самые, какие были у нее на ногах.

Для большей наглядности Джуди сняла золотую туфлю и пустила ее по рукам.

Бронзовые волосы Джуди висели на затылке «конским хвостом». Ее глаза были салатного и несколько туманного цвета, а пышные и короткие юбки погромыхивали при каждом движении.

Кроме Джуди, за столом сидели молодой инженер — знаток советской поэзии и какой-то очень ласковый и

очень едкий старичок. Он все время добродушно кивал головой, но ни с чем и ни с кем не соглашался.

Доктор и все его друзья очень дружно показывали мне Милан в меру того короткого времени, которое я мог провести в этом городе. Дело в том, что Милан не был вписан в мою итальянскую визу. Поэтому я мог быть в Милане только днем, но не мог в нем ночевать. Вечером мне пришлось возвратиться в Сен-Висент.

В Милане меня не покидало ощущение, что в отдаленной юности я жил в этом городе и когда-то уже чувствовал неподвижный и желтоватый жар его улиц.

Знаменитый собор стоял в лесах. Его реставрировали, и леса придавали этому фантастическому зданию еще более величественный вид.

Мы смотрели на собор со стороны прославленной миланской «галлерии» — огромного пассажа, своего рода архитектурного чуда прошлого века.

Вся «галлерия», терявшаяся вдаль, была густо заставлена ресторанными столиками. Среди них приходилось лавировать, чтобы никого не задеть. Джуди шла впереди, легко изгибаясь, качая свои пышные юбки.

Позже, когда мы медленно проходили залы и дворцы замка Сфорца, я почувствовал внезапное удушье, будто мне зажали рот широкой горячей ладонью.

— Астма! — сказал доктор Зеленкин. — Едем сейчас же домой. Я сниму этот припадок. Вы должны знать, что в Европе есть два города, где астматикам нельзя жить, — Милан и Мадрид.

Я не знал этого.

Дома доктор дал мне яркие зеленые пилюли. Я тотчас уснул в шезлонге среди бегоний, а через полчаса проснулся без всяких признаков астмы.

Доктор и все его друзья так же дружно проводили меня до автобуса в Сен-Висент.

Доктор явно загрустил. Его расстроили мои рассказы о Москве и родном Новочеркасске.

Автобус мчался по темнеющей автостраде среди полей, маленьких рощ, разливов мелкой и тихой воды. За городом Аквиллой он резко свернул в сторону Альп.

Мимо проносились еще не остывшие заросли, темные замки на крутых холмах. В глубине отдаленных долин то появлялись, то исчезали снега на вершинах Монте-Розы и Маттергорна. И над всем этим вечерующим ми-

ром висел в небе бледный месяц. Его свечение было таким ясным, будто на земле совершенно исчез воздух.

Я дремал и только по громкому эхо, повторявшему пение клаксона, догадался, что автобус уже вошел в предгорья Альп.

На следующий день после возвращения в Сен-Винсент я уехал в Турин, а оттуда улетел в Рим.

Воздушная глубина за окнами самолета казалась не синей, а черной. Тирренское море поблескивало внизу, в бездне, как чешуйчатый щит.

На щите вдруг нестерпимо сверкнула прилипшая к нему золотая песчинка. Мой сосед — сухощавый итальянский профессор с профилем Данте — показал мне на эту песчинку и внятно сказал:

— Монте-Кристо! Дюма!

Внизу в безбрежном океане воздуха и воды острой точкой горел маленький остров Монте-Кристо. Владельца этого острова Дюма выбрал героем своей очередной полувыдумки, своего увлекательного романа. В нем было много наивных страстей и простодушия.

Старая Европа плыла под самолетом — частица нашей удивительной планеты, окруженной сиреневым сиянием, Старая Европа, где родилось, возмужало, страдало и радовалось сердце. Оно стремилось передать всем, кто слышал его биение, тревогу жизни и красоту земли.

Стюардесса в сером обтянутом платье — тонкая и длинная, как земляная оса — принесла на подносе горку разноцветных конфет в таких ярких обертках, будто веселый художник пробовал на них новые краски. Появление конфет означало, что самолет начинает спускаться. Обычно у пассажиров от смены давления возникает шум в ушах. Глотание сладкого конфетного сока ослабляет этот шум, а иной раз и совсем его устраняет.

Слух вернулся ко мне вместе со вкусом патоки и барбариса. Я услышал, как стюардесса произнесла с непременной зауценной улыбкой знакомое слово:

— Чивитавеккья!

Самолет шел уже довольно низко над морем вдоль итальянского берега, освещенного заходящим солнцем. Был ясно виден этот сухой желтоватый город с резкими тенями в глубине аркад, разорванный прибором на части

каменный мол, спящие пароходы без единой струйки дыма из труб и красноватый воздух на площадях.

Да! Старая Европа вся целиком — до последних клочков материка, до последнего изгиба маленьких бухт — наполнена воспоминаниями, сжимающими сердце.

Вот Чивитавеккья — город, где полтора года лет назад настойчивый искатель счастья Стендаль служил французским консулом.

Лучше всего он сказал о себе сам: «Подлинное мое ремесло — писать романы где-нибудь на чердаках».

В Чивитавеккье он целые дни напролет читал и читал. Чтение было для него самой милой и напряженной работой. Он научился извлекать со страниц древних авторов мысли столь современные, что их можно было применить ко всему: и к новейшей политике и к скучному характеру своего помощника по консульству — старичка-итальянца.

Старичок делал за Стендаля всю его консульскую работу. Стендаль же изредка, и то главным образом из любопытства, принимал капитанов кораблей, застрявших в этом скучном итальянском порту.

Стендаль часто ездил из Чивитавеккьи в Рим и полюбил дорогу через скудную равнину, ограниченную далекой стеной Апеннин.

Уединение в Чивитавеккье было плодотворно для Стендаля.

Может быть, уединение нужно время от времени всем людям, особенно писателям. Оно очищает сердце и придает счастливую длительность нашим мыслям и чувствам.

В Рим мы прилетели в сумерки.

Новый римский аэровокзал расположен на равнине вблизи моря. Он геометричен и прозрачен.

На аэровокзале было много патеров, монахов и монахинь. Они ждали самолеты на Брюссель, где происходил какой-то католический съезд.

Патеры охотно и весело болтали с красивыми стюардессами, а пожилые монахини достигли совершенства в искусстве поджимать губы. Почти у всех монахинь губы были сжаты так крепко, будто из них выдавили всю

кровь. Снаружи осталась только полоска синеватой кожи. Из-под ряс у монахинь виднелись крепкие, хорошо начищенные ботинки. Кирпичный румянец лежал на выпуклых щечках. По внешнему виду монахини были вполне добротными старыми девами — мастерицами по вышивке и изготовлению спагетти.

Молодые монахини казались застенчивыми и часто краснели. Даже короткий, но пристальный мужской взгляд бросал их в краску и вызывал преувеличенный блеск в глазах.

Что касается монахов, то они элегантно подпоясывали свои грубые власяницы капроновыми веревками, а иные подъезжали к аэровокзалу на мотороллерах.

Вообще, у нас до сих пор существуют превратные представления о многих вещах на Западе. Мы удивляемся, когда видим ласковых и доброжелательных кондукторов автобусов, шутливых и заразительно хохочущих на посту полицейских, детей, внимательных к взрослым, шоферов такси, у которых, как это ни странно, всегда находится сдача.

От аэродрома до Рима тянулась туманная низина. По ней мчался рой белых и красных автомобильных огней. Они отражались и дробились в глубине маслянистой трассы.

С быстрым шумом пролетали по сторонам темные платаны. Казалось, что они прячут в своих вершинах ветер и выпускают его на свободу только в те мгновения, когда стремительно равняются с нашей машиной.

Рим разливался огнями все шире, казалось, — до самых Сабинских гор.

Иногда вместо мерного пения асфальта под колесами гудели каменные плиты, — быть может, остатки дорог времен цезарей.

Внезапно на плавном закруглении улицы мимо нас пронеслись пинии, подкрашенные алым огнем световых реклам. Мы начали огибать могучий овал Колизея.

За ним уже пылал Рим современный.

У некоторых городов, кроме звуков, общих для всех человеческих поселений, есть еще звуки, принадлежащие только им.

О таких городах говорят, что у них есть свой голос. Большею частью он звучит под сурдинку.

Каков же голос Рима? Мне кажется, что это шорох и плеск фонтанов. Я не буду говорить о пенистом фонтане Треви. Не было ни одного описания Рима за последние двести лет, где бы не упоминался этот фонтан.

В Риме я полюбил фонтан на Навонской площади и еще один безвестный и скромный фонтан около холма Яникул.

Около этого фонтана всегда сидела молчаливая старуха — продавщица цветов. Цветы у нее были самые простые, каких множество и у нас в России — пионы, гвоздики, львиный зев и даже ноготки.

На Яникуле часто дул ветер. Малейший порыв его относил в сторону брызги фонтана. Дети с хохотом пробегали под этими брызгами. Вода в фонтане была зеленоватого цвета, как в лагуне.

Старуха держала цветы в большом эмалированном ведре. Фонтан все время орошал цветы. От этого они казались ярче и душистее. Сама же старуха сидела подале от брызг под большим полотняным зонтиком и вязала красный грубый шарф.

Я сел недалеко от нее и долго рассматривал каждого мальчишку и каждую девочку, игравших около фонтана, и всех людей, что сидели на скамейках в тени деревьев.

Далеко над мглой мерцал купол святого Петра.

Старик в сером нейлоновом костюме лежал на скамейке и спал, прикрыв лицо газетой. По газете пощелкивали брызги. Рыжий слепец в шляпе с петушиным пером сидел на складном стуле и торговал зубочистками.

Мальчик со светлыми легкими волосами попросил у старухи граненый стакан и принес в нем слепому воды из фонтана. Потом выполоскал стакан и принес воды мне, хотя я его об этом и не просил.

Я поблагодарил его по-русски. Он подпрыгнул на месте от восторга и что-то меня спросил. Я ответил наугад:

— Москва!

Тогда он протянул мне руку, потом умчался с пустым стаканом, зачерпнул из фонтана воды и принес ее старухе с цветами. Она подарила ему за это маленькую красную гвоздику. Мальчик побежал со всех ног к даль-

ней скамейке, где читала книгу молодая женщина в трауре. Он отдал ей гвоздику, она приколотила ее к платю на груди и поцеловала мальчика.

Мальчик схватил женщину за руку и начал изо всех сил стаскивать ее со скамейки.

Она засмеялась и поднялась. Мальчик подвел ее ко мне и сказал с горящими глазами, что я — из Москвы!

Мерно шуршал фонтан.

Женщина отколола гвоздику, засунула ее в маленький нагрудный карман моего пиджака, взяла мальчика за руку и ушла. Фонтан как бы рванулся ей вслед, швырнув множество брызг. Тогда она и мальчик обернулись и помахали на прощанье мне и фонтану.

Все плескалась зеленоватая вода. Мимо прошли веселые студенты в таких узких брюках, что было непонятно, как они могли натянуть их на ноги.

В четыре певучих тона пропел автобус-пульман. И я подумал о том, что все-таки хорошо жить на свете broadly, от случая к случаю.

Несколько лет назад я увидел в Риме Навонскую площадь — «пьяцца Навона».

Приближался вечер. Боковой солнечный свет придавал зловещую живописность старым фасадам домов и воде, широкими струями лившейся из фонтана в бассейн.

«Пьяцца Навона» показалась мне живым воплощением старой Италии с ее карнавальными тайнами, пышной скукой и страстями. Страсти эти возникали от мимолетного взгляда, но сплошь и рядом приводили к ряду катастроф.

Невдалеке струился Тибр. Плакучие ивы полоскали в его мутноватой воде узкие острые листья.

За Тибром возвышался крутой приземистый Замок святого Ангела. Солнце покрывало багрянцем его ноздреватые стены.

Я когда-то уже писал, что в 1930 году увидел в самом неожиданном месте — в селе Гришино, на реке Пре, на границе мещорских лесов — картину, написанную маслом неизвестным художником, очевидно, в конце восемнадцатого века. Картина изображала «пьяцца Навона» в Риме. Поэтому и в первый раз, когда я увидел эту площадь, и сейчас, когда я ее увидел во второй раз, я вспомнил Гришино и запах богульника с окрестных болот.

Гришино было селом насквозь русским. На его песчаных улицах росла ромашка, клокотали черно-золотые петухи, и ласковые старухи все охали, все сокрушались о тяжкой людской доле.

Так эта площадь соединилась в моих мыслях с рязанской деревней и теплыми налетами смолистого ветра из сосновых лесов.

Сейчас, во второй раз, я попал на «пьяцца Навона» поздним вечером. Несколько знакомых итальянцев, в том числе превосходный переводчик русских книг Пьетро Цветаремич — вольный, веселый и беспечный человек, — пригласили меня поужинать на «пьяцца Навона».

Вся площадь была заставлена столиками и превращена в сплошной ресторан. Только по обочинам были оставлены на мостовой узкие проходы для пешеходов и экипажей (проезд машин по площади был по вечерам запрещен).

Экипажи медленно проезжали мимо столиков, покрытых пышными скатертями, уставленных оплетенными бутылками с вином и букетами цветов, уже немного увядшими от духоты.

Мы сидели за столом, освещенным только уличными фонарями и большой и спелой желтой луной. Она висела над соседней церковью в мгlistом летнем небе.

Рядом с нами щелкали бичи веттурино и старательно цокали по мостовой подковы.

Мы пили вермут и всякие вина. Они пахли чуть горько. То был подлинный сок итальянской земли — кремнистой, сухой — сок земли, омытой густыми морями.

Цветаремич говорил о дружбе, возникшей на расстоянии. С нами сидел библиотечарь книгохранилища по истории искусств во Дворце Венеции Паоло Падовани. Это был скромный и ласковый человек, хорошо знавший нашу литературу.

Книги роднят людей. Я в сотый раз убедился в этом в ту ночь на «пьяцца Навона», когда три человека, далекие друг от друга по месту своей жизни, люди с разными биографиями, воспитанием, темпераментом, разными познаниями и разным языком, были близки друг другу, как люди одного общего дела.

Может ли возникнуть дружба, когда видишь челове-

ка впервые? На этот вопрос мне ответил Цветаревич несколько позже в письме из Рима.

«Я думаю, — писал он, — что когда возникает обоюдная симпатия, основанная на проникновении в какую-то созвучную зону другого человека, то она вполне оправдывает звание друга, несмотря на краткость знакомства».

Луна зашла за церковную башню. Тайнственная ночная тень перерезала наискось площадь. Где-то далеко прозвонил колокол. Мы разошлись.

Потом у себя в смешном, очень узком номере гостиницы около виа Венета я долго оттягивал сон, долго слушал ночной Рим. Сон мне казался по меньшей мере преступлением.

Все же к утру он одолел меня. Но я вскоре проснулся от шума воды из шлангов. Улицы поливали. Метались по стенам солнечные зайчики, отброшенные сильной и холодной струей. Зелень виллы Боргезе еще дышала ночной прохладой.

Днем я вылетел в Москву через Брюссель.

На длинном пути нас всегда тревожит ожидание случайности. К сожалению, никак нельзя догадаться, что эти случайности принесут с собой — досаду или удачу?

Во время итальянской поездки одна из случайностей возникла в Риме, — мы узнали, что лететь в Москву нам придется не через Париж, как мы надеялись, а через Брюссель.

Мы, естественно, огорчились, обозвали про себя «битником» человека, доставшего нам билеты, а потом, уже в римском аэропорту, долго с недоверием смотрели, как за стеклянной стеной авиавокзала механики разогревали паяльником какие-то части в моторе нарядного бельгийского самолета общества «Сабена». На нем мы должны были лететь в Брюссель. Конечно, мы предпочли бы Париж и французскую «Каравеллу».

Самолет был небольшой, изящный, и взлетел он с таким же бешеным ревом, как и все самолеты, но грациозно и весело. Он как будто вспорхнул на воздух и даже заплясал на воздушных волнах.

Он оказался очень быстрым, этот легкомысленный самолет. Стюардесса с лицом восходящей кинозвезды

едва успевала сообщать пассажирам о красотах земли, пронесившихся внизу за слоем облаков: «Остров Корсика», «Лазурный берег», «Прованс», «Страсбург».

Так, играя, мы домчались до Бельгии, прорезали сверху пелену облаков, и вдруг под нами закачалась, как на праздничной ярмарочной карусели, веселая разноцветная страна. С воздуха казалось, что ее построили дети из кубиков на стриженной и очень зеленой траве.

В пустынном и непомерно просторном брюссельском аэровокзале выяснилось, что самолет на Москву пойдет только завтра днем и нам придется больше суток прожить в Брюсселе.

Мы обрадовались, но тут же испугались, — у нас не было бельгийской визы и не было денег, кроме тех грошей, которые мы оставили на последний короткий перелет из Парижа в Москву.

Но визы нам выдал бесстрастный жандарм в высоком, как вавилонская башня, кепи (при этом он незаметно сфотографировал наши паспорта), а деньги на жизнь, на гостиницу и такси нам тут же выдало, как это и полагается, агентство воздушного общества «Сабена».

Меня как «размагниченного интеллигента» все время смущала в Брюсселе мысль, что «Сабена» на нас ничего не заработала, а, может быть, наоборот, даже доложила свои деньги. Успокоил меня только вид служащих «Сабены», — они просто сияли, будто мы не могли доставить им большей радости, чем прожить за счет их фирмы целые сутки в несколько старомодном и несколько патриархальном Брюсселе.

В Брюсселе я убедился, что привычка вспоминать стихи с годами у меня не прошла. В Брюсселе я часто повторял прочитанные еще в 1914 году стихи Северянина:

О Бельгия, ты светозарна!  
Твоих городов карусель  
Под строки Эмиля Верхарна  
Кружит, кружевея, Брюссель.

Нельзя сказать, что Брюссель прошел перед нами. Он промелькнул отнюдь не в светозарном, а в несколько туманном пространстве. И я понял, что этот туман и есть постоянный воздух Фландрии. Может быть, поэтому особенно яркими, будто только что вынутыми из глянце-

витой воды, представлялись цветы в корзинах у цветочниц и в брюссельских садах.

Гостиница — чистая, но поблекшая — попахивала старой мебелью и корицей.

В уличных кафе сидело много пожилых женщин. К ножкам столиков были привязаны дремлющие собаки.

Во многих кино шла картина «Ночи Европы». Я пошел на нее. Я вошел в зал во время сеанса. Девушка, совсем невидимая в темноте, подошла ко мне, взяла за руку и, освещая электрическим фонариком свои стройные ноги, провела меня на место.

На экране среди всяческих эстрадных номеров и рок-н-ролла возник стриптиз. Красивая перетонченная женщина в трауре медленно раздевалась, отбросив только что прочитанное и, должно быть, печальное письмо. Из-под ресниц ее медленно текли очень блестящие слезы.

Старухам-зрительницам (их было большинство), должно быть, давно уже надоело зрелище этого стриптиза. Они озабоченно вязали шарфы и распашонки, сидя в удобных креслах, и только изредка взглядывали на экран.

Может быть, потому, что женщина в трауре была очень красива, нежна и беспомощна, зрелище стриптиза оказалось совсем не сексуальным.

Я вышел. Уже спустился вечер. Неяркий свет заливал улицы. Я свернул в темный кривой переулок. Коегде в маленьких узких витринах стояли аляповатые статуэтки знаменитого мальчика — «Манекен писс» — и висели желтые, серебряные, черные и золотые брабантские кружева для туристов.

В глубине переулочка слышался странный шум, похожий на отголосок церковной службы.

Я пошел на этот шум и неожиданно попал на большую квадратную площадь, обставленную высокими средневековыми домами.

Фасады этих домов из темного, почти черного камня были освещены снизу неяркими фонарями. Мне показалось, что на дома наброшено богатое золотое кружево. «Что это? — невольно спросил я себя. — Что за чертовщина?»

Но это было действительно так. Я стоял на «Золотой площади» Брюсселя. Впечатление кружева из тяжелого

литого золота, опутавшего дома, было вызвано тем, что орнаменты на фасадах, нарядные наличники окон, лепные гильдейские гербы, завитки колонн и балясины балконов были позолочены.

Золото на черном камне придавало зданиям загадочность и превращало ночь в золотой сумрак.

Безмолвные толпы стояли по краям площади и прислушивались к словам торжественной мессы. Ее служил среди площади под бархатным балдахином седой кардинал.

На балконе одного из зданий стоял в луче света молодой человек в простой военной форме.

Десятки длинных и причудливых исторических флагов времен восстания гезов, испанских войн и Тиля Уленшпигеля спускались с длинных флагштоков, выдвинутых из верхних окон домов. Флаги шуршали. До них можно было дотронуться рукой. Ткань флагов была мягкой и теплой.

— Что здесь происходит? — спросили мы человека в кепке, надетой набекрень, и явно выпившего. Он покачнулся, схватился за мое плечо, утвердился таким образом на ногах и совершенно трезвым голосом ответил, что сегодня — праздник независимости Бельгии, что молодой человек на балконе — бельгийский король (человек при этом тайно подмигнул), что месса окончена и сейчас начнется переключка городов Бельгии — участников борьбы за независимость.

Все стихло. Невидимый мерный голос сказал откуда-то сверху, из глубины площади:

— Сейчас будет говорить Антверпен!

Антверпен произнес несколько слов, чтобы уступить место Намюру. После Намюра говорил Льеж, а потом — все достославные города Бельгии.

Каждую короткую речь городов перекрывал отдаленный орудийный салют, как будто над Брюсселем медленно катились по облакам гремящие ядра.

Как только стихал салют, тотчас возникал переливающийся звон многих колоколен.

Впервые я услышал знаменитые бельгийские серебряные колокола. Они звенели мелодично и нежно. Их перезвон наполнял, очевидно, все ночное пространство Бельгии от Северного моря и Брюгге до Лувена и Боринажа.

Звонила, перекликаясь вся страна. Звонила по строгим и торжественным мелодиям бельгийских колокольных композиторов и звонарей.

После переклички городов в Брюсселе начался праздник. Выражался он в том, что брюссельцы танцевали всюду: на мостовых, на тротуарах, в скверах, в кафе, во дворах и за освещенными окнами домов.

В кафе вблизи нас медленно танцевала с мальчиком тончайшая девушка с синими фламандскими глазами.

На стене кафе висело скромное объявление. Оно извещало посетителей, что в этом кафе бывали Верхарн, Ван-Гог, писатель Роденбах — певец умирающих фламандских городов и великий и туманный Метерлинк — создатель «Синей птицы».

И снова мне вспомнились слова из полузабытых стихов:

О, Бельгия, синяя птица  
С глазами принцессы Мален...

Наутро мы вылетели из Брюсселя в Москву. Мы шли над Северной Европой на большой высоте, обходя исполинские башни белоснежных кучевых облаков. Они тянулись до самой Москвы.

Я думал о том, что много видел, но, как всегда, мне было мало этого. Сколько бы человек ни видел, ему всегда мало. Так и должно быть. Нам нужна вся земля со всеми ее смертельно заманчивыми уголками. Мы хотим видеть весь мир.

Недавно я прочел историю об одном маленьком английском мальчике. Он собрал в копилку несколько шиллингов и решил купить на эти деньги океанский пароход «Куин Мэри». Он пошел со своими шиллингами к капитану «Куин Мэри», но после этого посещения долго плакал, как плачут иногда взрослые, над своей разбитой мечтой.

Вот так же и мы, взрослые, мечтаем о целом мире, как мечтал этот мальчик об океанском пароходе.

Но у мальчика было перед нами одно преимущество: капитан «Куин Мэри» был так тронут горем мальчика, что подарил ему великолепную модель этого корабля.

А горести взрослых никого так сильно не трогают, и никто нам не подарит земной шар.

Ялта  
Март 1962 г.

## В ОКЕАНСКОМ ДОМЕ

В 1923 году я работал секретарем в только что открывшейся в Москве газете работников морского и речного флота. Называлась газета довольно неудачно: «На вахте!»

Мы, сотрудники, посмеивались над этим названием и называли газету по-разному: «На стреме», «На цинке», «На подхвате». Редактор обижался, но поделать ничего не мог.

Редакция помещалась во Дворце Труда на набережной Москва-реки около Устьинского моста.

До революции во Дворце Труда был Воспитательный дом — всероссийский приют для сирот, основанный еще при Екатерине Второй. Москвичи называли этот дом «Вошпитательным».

Это был огромный океанский дом с сотнями комнат, бесконечными коридорами, гулкими чугунными лестницами, парадными залами, собственной домовою церковью и собственными парикмахерской и столовой. Во Дворце Труда мирно ютились десятки разных профессиональных газет и журналов.

В редакции у нас работало (как мы говорили, «толклось») много бывалых и незаурядных людей. Мы их всех называли «капитанами». Так случилось, что почти все они были с двойными фамилиями: Оленин-Волгарь, Новиков-Прибой, Власов-Окский. Правда, капитаном был один только Оленин-Волгарь. Новиков-Прибой служил в царском флоте баталером, а Власов-Окский работал в молодости водоливом на волжской барже.

Особенно занимал меня Оленин-Волгарь — старый капитан, водивший в то время пассажирские пароходы из Москвы в Нижний-Новгород, нынешний Горький. Худой, как птица, маленький, очень изящный, похожий на седого Байрона и прихрамывавший, как Байрон, он просто подавлял нас своими обширными познаниями, умением спорить и умением презирать. Он много и страстно презирал людей, с которыми никогда даже не встречался в жизни, презирал, так сказать, «на расстоянии».

Так он ненавидел маститого гейневского переводчика Вейнберга — старика с длинной до колен бородой. Вейн-

берг был похож на патриарха, и этот внешний его вид приводил Оленина-Волгаря в негодование. Ненавидел он Вейнберга, должно быть, потому, что сам был прекрасным переводчиком с итальянского и греческого, а переводы же Вейнберга были прилизаны и бесцветны. Оленин-Волгарь изучил греческий язык, чтобы наново перевести Библию и притом непременно в стихах — гекзаметром.

Он презирал популярного в свое время оперного певца Фигнера за то, что тот носил выхоленную бородку и «позволял себе» выступать с этой бородкой в роли Евгения Онегина. «Пошляк, дамский лев, негодяй!» — кричал о нем Оленин. Мы верили капитану потому, что он сам одно время пел в опере, а его сестра Оленина-Дальгейм была знаменитой концертной певицей. Даже Блок посвящал ей стихи.

Оленин слегка презирал еще капитана дальнего плавания, сотрудника газеты Зузенко за то, что тот как-то невзначай высказался в том смысле, что речное плавание, по сравнению с морским, — пустяковое дело.

Оленин вскочил и прокричал вдохновенную речь о речном судовождении. Он говорил почти два часа, даже охрип. Речь Оленина слушало много народу. Сбежались сотрудники из соседних редакций. Оленин говорил о знаменитых речных перекатах, мельчайших береговых приметах, о каждом одиноком дереве или церковной колокольне в речной пойме, служивших вехами для рулевых, о качестве пароходов общества «Кавказ и Меркурий», о том, как следует обгонять длиннейшие камские плоты, о меженной воде, сувоях, закономерном чередовании речных крутояров и луговых берегов, о том, что каждая речная пристань всегда — особенная и непохожая на все остальные.

Он настолько увлекся, что сказал, будто хорошее знание речных пристаней равносильно хорошему знанию России.

Например, Вольск на Волге славился своими белыми пышными караваемы. Их продавали на береговом базаре рядом с пристанью. На такой каравай клали доску, на нее — десятипудовый тюк, а сверху еще садился крючник. Каравай сплющивался в блин. Потом весь груз с него убирали, и каравай тотчас выпрямлялся во

весь рост, как резиновый. И даже немного потрескивал, когда распрямлялся.

— А чем славилась пристань Пошехонье на реке Шексне? Неужели не знаете? Соловьями! В соловьиное время подваливать по ночам к этой тихой пристани было прямым наслаждением. Разлив соловьиного звона и молодецкого свиста, улетающего в ночь, был так громок, что, казалось, подсвистывает и гремит разными «коленами» вся светлая северная ночь до самого Белого моря.

— Погодите! Есть еще пристань Мегра на Ковже-реке. Там грузят прямо на палубу окаменевшую сосновую живицу в пакетах из коричневой оберточной бумаги. Поэтому, когда вы плывете по Ковже, то вам чудится, будто пароход идет не по воде, а по хвойному экстракту. За один рейс можно изрядно просмолить свои легкие.

— А Марчуги! — кричал Оленин. — Вы знаете, что такое Марчуги на Москва-реке? Под Бронницами? Никакая река в мире не петляет так вокруг одной точки, как Москва-река в этом месте. Расстояние по прямой между началом марчуговских петель и их концом два километра, а пароходу приходится петлять почти 30 километров! Пароход как бы стоит среди лугов, а земля медленно вращается вокруг него широкой среднерусской панорамой. Плывут ракиты, косогоры, поля, деревушки, церкви, стада, огороды, наплавные мосты и рощи — и снова крутояры, стога, деревушки и стаи ворон над ракитами.

— Я давно предлагал спрямить Марчуги! — кричал Оленин. — Почему спит правительство? Почему спит пароходство?

Оленин был, по-моему, великим импровизатором. Свои импровизации он дарил нам не часто, всегда обрывал их внезапно и тут же уходил, как бы смущаясь.

Он не терпел, когда кто-нибудь пытался проводить его, когда кто-нибудь, по его словам, «увязывался за ним следом».

После его ухода мы всегда говорили о том, как бесконечно богата талантами наша Россия и как большинство этих талантов исчезает в забвении, не оставляя следа.

# МАСТЕРА





## АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Многие книги существуют для нас только как явления литературы. Но есть и другие, правда очень редкие, книги, — они живут в сознании, как события нашей жизни. Они неотделимы от нашего существования. Они становятся частью нас самих — частью наших дней, размышлений, радостей и печалей. Мы ощущаем их не как книги, а как большие, невыдуманные проявления жизни, — так же, как ощущаем любовь, разлуку, ежедневный труд. Таковы книги Алексея Толстого.

Первое впечатление от этих книг — чувство соприкосновения с зорким талантом — неистребимо. Раз появившись, оно занимает прочное место в нашем сознании.

Алексей Толстой не только крупнейший мастер нового, социалистического времени, но и носитель высоких традиций, идущих от Пушкина, Гоголя, Чехова, Горького.

У Алексея Толстого — острый глаз, точный слух, живой и пленительный язык, редкое знание людей. Все это непрерывно обогащало и обогащает нас, его современников, и будет обогащать поколения людей, идущих нам на смену.

Алексей Толстой открыл мир людей многих эпох, начиная от «Смутного времени» и дней Петра Первого и кончая нашим социалистическим временем. Он открыл нам обширное богатство человеческих образов — всегда живых, всегда задевающих сердце, всегда вызывающих у нас беспокойство, смех и радость, печаль и негодование.

Писательский путь Толстого сложен, характерен для облика подлинного мастера. Это — путь живого и пытливого писателя с его удачами, бесстрашием, упорными

поисками наилучших изобразительных средств, с неизбежными подчас ошибками, но ошибками талантливыми, бесследно тонущими в блеске неоспоримых побед. Это — прекрасный и трудный путь большой литературы, необходимой народу.

Юность Ал. Толстого совпала с периодом разорения и вырождения мелкопоместного дворянства. Первые книги Толстого «Заволжье», «Чудаки» и очень многие небольшие рассказы написаны об этих доживающих последние дни, растерянных чудаках-дворянах. Образ такого «чудака» Мишуки Нальмова стал классическим.

Воспоминания детства наложили резкий отпечаток на творчество Толстого. «Детство Никиты» написано Толстым с особым неповторимым блеском и простотой.

Писательский размах Толстого так велик, Толстой так щедр, что, кажется, для него почти нет ничего невозможного в области литературы. Редкие писатели могут с таким совершенством касаться совершенно разных тем, как это делает Толстой. Здесь и история («Петр Первый», «День Петра», «Любовь — книга золотая»), и фантастические романы («Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина»), и гражданская война («Хождение по мукам», «Гадюка», «Похождения Невзорова»), и детские сказки («Буратино»), и печальная судьба простых и самоотверженных русских женщин («Маша», «Под старыми липами»), и Запад («Древний путь», «Черное золото»), и еще множество интересных рассказов, окруженных воздухом ржаных полей, заглухших садов, многоводных рек.

Крупные ученые всегда были в известной мере поэтами. Они остро чувствовали поэзию познания. Может быть, этому чувству они и были отчасти обязаны смелостью своих обобщений, дерзостью мысли, своими открытиями. Научный закон почти всегда извлекается из множества отдельных и подчас как будто очень далеких друг от друга фактов при помощи мощного творческого воображения. Оно создало и науку и литературу. И — на большой глубине — во многом совпадают между собой творческое воображение хотя бы Гершеля, открывшего величественные законы звездного неба, и творческое воображение Гете, создавшего «Фауста».

Истоки творчества — и научного и литературного — во многом одинаковы. Объект изучения — жизнь во

всем ее многообразии — один и тот же и у науки и у литературы.

Настоящие ученые и писатели — кровные братья. Они одинаково знают, что прекрасное содержание жизни равно проявляется как в науке, так и в искусстве.

Язык Толстого блестящ, народен, полон лаконичной выразительности. Пожалуй, ни у одного из наших современных писателей нет такого органического чувства русеского языка, как у Толстого. Он владеет этим великолепным языком так же легко, как люди владеют своими пальцами, своим голосом.

Толстой изучал этот язык там, где его только и можно изучить, — у самого народа, у самых богатых истоков этого языка.

Отсюда и любовь Толстого к народному творчеству, к фольклору, и его громадная, недавно начатая работа по собиранию воедино всего фольклора народа Советского Союза — работа, имеющая, помимо всего, и большое чисто научное значение.

## М А Л Ы Ш К И Н

На дощатом крыльце сельской почты мальчишка-почтарь долго клеил на стену свежую московскую газету. Я ждал. С юга дуло жаром, несло пылью, запахом раскаленных сосен. В сером небе стояли ватные сухие облака.

Я взглянул на последнюю страницу газеты, и будто чугунным кулаком кто-то стиснул сердце...

Умер Малышкин.

Вокруг было все то же, пылил все тот же любимый им бесхитростный русский день, но его, Малышкина, милого Александра Георгиевича, уже не было, и мысль эта была нелепой и горькой.

В Малышкине рядом с беспокойной, всегда оживленной, всегда взволнованной талантливостью жила большая житейская простота, жизнерадостность, любовь к людям, к писательству как к своему единственно мыслимому и прекрасному человеческому пути.

Если говорить о традициях большой литературы или,

вернее, о традициях больших и простых, как сама земля, мыслей и чувств, то Малышкин был одним из немногих носителей этих традиций — носителем верным и непреклонным.

Все его писательство, вся его личная жизнь были порывом к счастью — к счастью своей страны, своего народа. Этот порыв лучше всего передан им в небольшом рассказе «Поезд на юг» — одном из шедевров советской литературы.

В этом постоянном беспокойном порыве к счастью и познанию всего существующего Малышкин был похож на ребенка, — он был так же искренен, экспансивен, так же по-детски радовался всему, что наполняло жизнь разумным и веселым содержанием.

Поздней осенью 1936 года я приехал в Ялту и застал там Малышкина. Был вечер, но на следующий день ранним утром Малышкин разбудил меня и повел в горы — такова, говорил он, была придуманная им традиция — водить всех только что приехавших в горы.

Синее влажное утро с трудом пробивалось сквозь осенний туман. Желтые дубовые заросли стояли в росе. Малышкин шел рядом и почти не смотрел по сторонам — он не спускал с меня глаз. Он заставлял меня смотреть то на море, сизой тучей лежавшее внизу у наших ног, то на последний желтый цветок, выросший на каменистой дороге, то на далекий водопад, казавшийся издали прядью белых нитей, брошенных на отвесные скалы.

Он следил за выражением моего лица и вдруг засмеялся — он был рад, что ему удалось еще одному человеку показать этот утренний мир. В эту минуту он был проводником по прекрасному, он приобщал меня к этой приморской осени и был счастлив, что и это робкое солнце, и горы, и терпкий воздух, и гул невидимого прибоя, бившего в берега, что все это до меня «дошло», что еще одному человеку он смог передать хотя бы частицу тех чистых и ясных представлений, какими он жил в те дни.

Мы остановились на высоте скалы, туман прошел, и внезапно открылось море. Оно казалось сгущенным воздухом этой осени, оно несло к подножью мысов, к ксричневой земле виноградников прозрачную влагу и качало в ней отражение солнца.

— Да, — сказал Малышкин и показал на море, — таким оно было, когда здесь еще не существовало Ялты, и таким оно будет, когда мы с вами умрем. Это очень радостно.

Эта простая мысль обычно вызывает у людей чувство собственного ничтожества, но Малышкин ощущал ее как нечто утверждающее жизнь.

Малышкин умер. Исчезло ясное и простое очарование его ума, таланта и доброты. И бесконечно жаль, что он умер так рано, — ведь для Малышкина только в последние годы началась его молодость, до этого жизнь была для него невесела и сурова.

Он умер, но Черное море шумит, как шумело при нем, и к нашим богатствам прибавилась еще одна ценность, оставленная нам Малышкиным — его великолепные книги и его высокое волнение перед зрелищем мира и настоящей, невыдуманной человеческой жизни.

*Солотча, Рязанская область*  
1938

## АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО

Люди, работающие в любых областях, заметно делятся на три категории — на тех, кто уже своей профессией, тех, кто точно входит в ее рамки, и, наконец, на тех, кто значительно шире своей профессии. Эти последние обыкновенно бывают людьми беспокойными и кипучими. Они — настоящие созидатели.

Александр Петрович Довженко был значительно шире своей профессии режиссера кино и сценариста. Режиссура была только одним из обликов этого удивительного художника, мыслителя и спорщика

В жизни не было ничего, что бы его не интересовало, — от глубоких психологических сдвигов в нашем обществе до наилучшего способа кладки печей и от анализа актерских приемов Чаплина до происхождения песни «Распрягайте, хлопцы, коней, та лягайте, хлопцы, спать».

На все у него были свои мысли, требовавшие в силу неукротимого темперамента Довженко немедленного воплощения в жизнь.

Если бы дети могли понимать до конца разговоры

взрослых, то они, конечно, считали бы Довженко настоящим чародеем. Потому, что, когда бы он ни появлялся, он всякий раз приносил с собой много не только новых мыслей, но и поразительных рассказов. Слушать его можно было часами, лишь бы хватило у людей для этого физических сил.

В последний раз я встретился с Довженко в одном из киевских садов над Днепром. Летняя зеленая пышность сада сменилась уже пышностью осени.

Довженко только что вернулся из Каховки, куда ездил работать над новым своим сценарием. Он объехал все строительство, изучил его и пришел к нескольким удивительным на первый взгляд выводам. Он тотчас же изложил эти свои мысли в виде докладной записки в правительство и привез свой доклад в Киев.

Сущность этого доклада сводилась к следующему. На дне будущего Каховского моря снесено много тысяч крестьянских хат. Людей переселяют на днепровские кручи, где строят новые колхозные села.

Вот об этих новых селах Довженко и писал. Они были построены по типовым проектам и выглядели казарменно и уныло. Одинаковые дома стояли в степи шеренгами в три-четыре линии на математически точном расстоянии друг от друга. Дома эти не были огорожены. Архитектурный проект не предусматривал никаких оград. Получался шахматный поселок на выжженном солнцем пустыре.

В этих селах не было центра и хотя бы одного приметного высокого сооружения — никакого ориентира. В старину такими ориентирами были колокольни. Сейчас нужно было строить хотя бы башни с часами. Плоская степь невольно наводила на мысль о необходимости одного-двух таких приметных зданий в каждом селе.

Довженко справедливо писал, что у людей не может быть никакой охоты жить в этих не отличимых друг от друга домах, где, кстати, не растет за окнами ни одного деревца. В нашей гигантской работе по подъему земледелия, говорил Довженко, нужно думать не только о совершенных методах работы, но и о состоянии и настроении людей.

«Новые села, — писал Довженко, — должны быть живописными, разнообразными и уютными. Почему в

новых селах нет переулков, поворотов, зарослей, садов? Почему украинская живописность уступила место дяляческой сухости и какой-то мертвой скаредности мысли у архитектора, строившего эти села? Почему при постройке их не была принята во внимание живая душа человеческая? Неужели мы можем мириться с таким пренебрежением к колхозникам, которые, как очевидно думают строители таких сел, — только рабочие руки, не чувствующие красоты и нисколько в ней не нуждающиеся. Нужно в корне переменить это дело и приостановить насаждение уныния в нашей стране».

Мы стояли с Довженко над обрывом Днепра. Он поднял трость и показал на юг. Там, в голубеющем тумане светились воды Днепра и вся даль поблескивала слабым свечением, должно быть от летящей по ветру паутины. Там простиралась любимая его Украина.

Довженко оставил не только превосходные свои фильмы. Он оставил рассказы, очерки, пьесы. Они написаны с жаром души, они патетичны в лучшем смысле этого слова, как патетична во многом проза Гоголя.

У Довженко была очень маленькая записная книжка. Там были записаны одним только словом сюжеты его устных и совершенно великолепных рассказов. Бесконечно жаль, что сейчас их уже нельзя записать и восстановить. Они ошеломляли слушателей неожиданными поворотами сюжета, покоряли их юмором и поэзией. Я слышал только три рассказа — о народной медицине, лейтенанте Сливе и поездке в Батурин — но не забуду их никогда. Они всегда будут для меня вершинами словесного творчества, к сожалению навсегда утерянного, так как никто уже не сможет повторить тончайших интонаций Довженко, пленительного украинского строя его речи и его лукавого юмора.

1956

## Дядя Гиляй

(В. А. Гиляровский)

Мы часто говорим «времена Чехова», но вкладываем в эти слова преимущественно наше книжное умозрительное представление. Самый воздух этого недавнего вре-

мени, его окраска, его характер, слагавшийся из неисчислимых черт, все же потерян для нас. Наше поколение уже не может ощутить чеховское время, как нечто совершенно понятное и органически цельное.

В качестве свидетельства о нем для нас остались история, искусство, газеты и воспоминания. И немногие его современники.

Ничто не может дать такого живого представления о прошлом, как встреча с его современником, особенно с таким своеобразным и талантливым, каким был Владимир Александрович Гиляровский — человек неукротимой энергии и неудержимой доброты.

Прежде всего в Гиляровском поражала цельность и выразительность его характера. Если может существовать выражение «живописный характер», то оно целиком относится к Гиляровскому.

Он был живописен во всем — в своей биографии, в манере говорить, в ребячливости, во всей своей внешности, в разносторонней бурной талантливости.

Это был веселый труженик. Всю жизнь он работал (он переменял много профессий — от волжского бурлака до актера и писателя), но в любую работу он всегда вносил настоящую русскую сноровку, живость ума и даже некоторую удаль.

Не было, кажется, в окружающей жизни ни одного явления, которое не казалось бы ему заслуживающим пристального внимания.

Он никогда не был сторонним наблюдателем. Он вмешивался в жизнь без оглядки. Он должен был испытывать все возможное, научиться делать все своими руками. Это свойство присуще только большим жизнелюбцам и безусловно талантливым людям.

Современник Чехова, Гиляровский по характеру своему был, конечно, человеком не тогдашнего чеховского времени. Его жизнь только по времени совпала с эпохой Чехова.

Несмотря на закадычную дружбу с Антоном Павловичем, Гиляровский, как мне кажется, внутренне не одобрял и не мог принять чеховских героев, склонных к сугубому самоанализу, к резиньяции и разумиям. Все это было Гиляровскому органически чуждо.

Гиляровскому бы жить во времена Запорожской Сечи, вольницы, отчаянно смелых набегов, бесшабашной отваги.

По строю своей души Гиляровский был запорожцем. Недаром Репин написал с него одного из своих казаков, пишущих письмо турецкому султану, а скульптор Андреев лепил с него Тараса Бульбу для барельефа на своем превосходном памятнике Гоголю.

Гиляровский был воплощением того, что мы называем «широкой натурой». Это выражалось у него не только в необыкновенной щедрости, доброте, но и в том, что от жизни Гиляровский тоже требовал многого.

Если красоты земли, то уж такие, чтобы захватывало дух, если работа, то такая, чтобы гудели руки, если бить — так уж бить сплеча.

И внешность у Гиляровского (я впервые увидел его уже стариком) была заметная и занятая — сивоусый, с немного насмешливым взглядом, в смушковой серой шапке и жупане, — он сразу же поражал собеседника блеском своего разговора, силой темперамента и ясно ощутимой значительностью своего внутреннего облика.

Среди многих свойств таланта есть одно, которое совершенно покоряет нас, когда проявляется у людей пожилых, проживших большую и очень трудную жизнь. Эта черта — ребячливость.

У каждого были свои ребяческие страсти и выдумки. Горький любил разводить костры, даже в пепельницах, Пушкин любил «розыгрыши» (вспомните его замечательный «розыгрыш» своего простодушного дядюшки Василия Львовича), Грин — делать луки и стрелять из них в цель, Чехов — ловить карасей, Гайдар — пускать воздушных змеев, Багрицкий — ловить силками птиц.

Гиляровский был неистощим на мальчишеские выдумки. Однажды он придумал послать письмо в Австралию к какому-то вымышленному адресату, чтобы, получив это письмо обратно, судить по множеству почтовых штемпелей, какой удивительный и заманчивый путь прошло это письмо.

Гиляровский происходил из исконной русской семьи, отличавшейся строгими правилами и установленным из поколения в поколение неторопливым бытом.

Естественно, что в такой семье рождались люди цель-

ные, крепкие, физически сильные. Гиляровский легко ломал пальцами серебряные рубли и разгибал подковы.

Однажды он приехал погостить к отцу и, желая показать свою силу, завязал узлом кочергу. Глубокий старик отец не на шутку рассердился на сына за то, что тот портит домашние вещи, и тут же в сердцах развязал и выпрямил кочергу.

У Гиляровского в жизни было много случаев, сделавших его в нашем представлении человеком просто легендарным.

Естественно, что человек такого размаха и своеобразия, как Гиляровский, не мог оказаться вне передовых людей и писателей своего времени. С Гиляровским дружили не только Чехов, но и Куприн, Бунин и многие писатели, актеры и художники.

Но, пожалуй, Гиляровский мог гордиться больше, чем дружбой со знаменитостями, тем, что был широко известным и любимым среди московской бедноты. Он был знатоком московского «дна», знаменитой Хитровки — приюта нищих, босяков, отщепенцев — множества талантливых и простых людей, не нашедших себе ни места, ни занятия в тогдашней жизни.

Хитровцы (или хитрованцы) любили его, как своего защитника, как человека, который один понимал всю глубину хитрованского героя, несчастий и олушенности.

Сколько нужно было бесстрашия, доброжелательства к людям и простосердечия, чтобы заслужить любовь и доверие сирых и озлобленных людей.

Один только Гиляровский мог безнаказанно приходить в любое время дня и ночи в самые опасные хитровские трущобы. Его никто не посмел бы тронуть пальцем. Лучшей охранной грамотой было его великодушие. Оно смиряло даже самые жестокие сердца.

Никто из писателей не знал так всесторонне Москву, как Гиляровский. Было удивительно, как может память одного человека сохранять столько историй о людях, улицах, рынках, церквях, площадях, театрах, садах, почти о каждом трактире старой Москвы.

У каждого трактира было свое лицо, свои завсегда-тай — от купеческого и аристократического Палкина до студенческой «Комаровки» у Петровских ворот и от трактира для «холодных» сапожников у Савеловского вокзала до знаменитого Гусева у Калужской заставы,

где лучшая в Москве трактирная машина-оркестрион гремела, бряцая литаврами, свою неизменную песню: «Шумел-горел пожар московский».

Каждому времени нужен свой летописец, не только в области исторических событий, но и летописец быта и уклада.

Летопись быта с особой резкостью и зримостью приближает к нам прошлое. Чтобы до конца понять хотя бы Льва Толстого или Чехова, мы должны знать быт того времени. Даже поэзия Пушкина приобретает свой полный блеск лишь для того, кто знает быт пушкинского времени. Поэтому так ценны для нас рассказы таких писателей, как Гиляровский. Его можно назвать «комментатором своего времени».

К сожалению, у нас таких писателей почти не было. Да и сейчас их нет. А они делали и делают огромное культурное дело.

О Москве Гиляровский мог с полным правом сказать: «Моя Москва». Невозможно представить себе Москву конца девятнадцатого и начала двадцатого века без Гиляровского, как невозможно ее представить без Художественного театра, Шаляпина и Третьяковской галереи.

Хлебосольный, открытый и шумный дом Гиляровского был своего рода средоточием Москвы. По существу это был (как и сейчас остался) редкий музей культуры, живописи и быта чеховских времен. Необходимо бережно сохранить его, как образчик московского житейского обихода девятнадцатого века.

Есть люди, без которых трудно представить себе существование общества и литературы. Это — своего рода бродильные дрожжи, искристый винный ток.

Не важно — много ли они или мало написали. Важно, что они жили, что вокруг них кипела литературная и общественная жизнь; что вся современная им история страны преломлялась в их деятельности. Важно то, что они определяли собой свое время.

Таким был Владимир Александрович Гиляровский — поэт, писатель, знаток Москвы и России, человек большого сердца, чистейший образец талантливости нашего народа.

## ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК

(о Константине Федине)

Пора, наконец, нарушить слащавую традицию юбилеев.

Чехов едко сказал по поводу юбилеев, что вот, мол, ругают человека на все корки, а потом дарят ему гусиное перо и несут над ним торжественную ахинею.

С давних пор так повелось, что все юбилейные статьи и речи похожи на надгробное слово. Особенно казенные юбилейные «адреса», заключенные в дерматиновые папки: «В сегодняшний день, каковой день есть день вашего славного юбилея, позвольте нам от имени...» — и так далее и тому подобное — до обморочного состояния у юбиляра и судорожной зевоты у слушателей.

Поэтому я хочу говорить о Федине как о простом и талантливом человеке, а не как о литературном монументе или «маститом» современнике.

Прежде всего Федин любит жизнь во всех ее проявлениях — больших и малых. Он любит людей, общество. Как в поговорке о цыгане, он «готов пропасть ради хорошей компании».

Он любит шум, оживленные застольные беседы, меткие и неожиданные рассказы — чужие и свои. Свои он рассказывает артистически, подчеркивая все самое характерное легким движением погасшей трубки.

Он шутлив, легок на смех, податлив на веселье, несмотря на внешнюю сдержанность.

Есть одно обстоятельство, о котором не принято говорить. Оно относится к Федину. Заключается оно в том, что чем популярнее писатель, тем у него меньше возможности заниматься тем единственно важным, ради чего он живет, — то есть писательством. Сотни и тысячи писем, груды рукописей из всех углов страны, множество людей, требующих ответа на всяческие литературные и житейские вопросы или просящих о помощи, — все это законно, естественно, но превышает меру сил писателя и не оставляет времени для сосредоточенности. А без нее немислимо творчество.

Любовь оборачивается своей трудной стороной. Если к этому прибавить еще работу (вернее, заседания) в Союзе писателей и в разных организациях, то жизнь писателя приобретает уже характер трагический. Осо-

бенно, если он не молод и у него не так уж много сил.

Я понимаю, что этот разговор — далеко не юбилейный. Но жаль писательских усилий, потраченных, может быть, на полезное дело, но не на то главное, к которому писатель призван своим талантом. А за свой талант отвечает только он один.

Пусть Константин Александрович Федин не посетует на меня за эту непрошенную защиту.

Впервые я прочел Федина в Тбилиси в начале двадцатых годов.

Тогда Тбилиси казался таким далеким от Москвы, как Багдад или какой-нибудь загадочный Диарбекир.

Литературный Тбилиси жил еще застарелыми остатками футуризма. Поэтому появление в городе альманаха «Серапионовых братьев» произвело впечатление овежающего чуда.

Тогда я прочел «Сад» Федина и понял, что начала советской литературы исходят из живой связи с великой литературой нашего недавнего прошлого. Молодые советские писатели — «Серапионовы братья» — не растеряли мастерства, завещанного классиками, и органически и талантливо применили его к содержанию новой эпохи.

Потом, в следующие годы, я прочел всего Федина, особо выделив для себя в качестве образцов «Города и годы», «Братья», «Санаторий Арктур» и «Горький среди нас».

О прозе Федина сказано так много, что трудно что-либо прибавить к облику писателя, широко признанного читателем и тщательно изученного критикой. Поэтому я ограничусь несколькими записями, дающими, конечно, очень неполное, эскизное представление о Федине-человеке.

Я познакомился с Фединым в 1941 году за несколько дней до начала войны.

В одно синее и безмятежное июньское утро мы сидели с Фединым на террасе его дачи в Переделкине, пили кофе и говорили о литературе, нащупывая общие взгляды и вкусы.

Внезапно распахнулась калитка, в сад вбежала незнакомая ни Федину, ни мне рыжеволосая женщина с обезумевшими глазами и, задыхаясь, крикнула:

— Немцы перешли границу... Бомбят с воздуха Киев и Минск!

— Когда? — крикнул Федин, но женщина ничего не слышала, — она уже бежала по шоссе к соседней даче.

Мы вышли, зная, что нужно куда-то идти, что нельзя оставаться одним в доме. Мы пошли в сторону станции. Нам встретились два пожилых рыболова. Они шли навстречу нам со станции на пруд и тащили идиллические бамбуковые удочки.

— Война началась, — сказал им Федин.

Рыболовы ничего не ответили. Они молча повернулись и пошли обратно на станцию.

Над лесом, поблескивая тусклым серебром, уже подымался в небо аэростат воздушного заграждения.

Мы остановились на поляне и смотрели на него. Кашка цвела у наших ног — теперь уже довоенная кашка — вся в росе и петлях душистого горошка. От земли шел теплый запах устоявшегося лета.

Мы молча поцеловались и разошлись. Может быть, навсегда. Слова были не нужны. Надо было быть на людях, ехать в Москву и немедленно действовать.

Осенью я приехал с Южного фронта и поселился на даче у Федина, — в мою квартиру в Москве попала бомба.

Все писательские семьи были эвакуированы в Чистополь на Каме. Переделкино опустело.

Каждую ночь бомбили Москву. С качающимся воем шли с запада в точно назначенные часы фашистские эскадрильи. Вокруг Переделкина стояли морские зенитки. Они открывали сосредоточенный беглый огонь. Осколки сшибали сосновые ветки и били по крышам.

Каждый вечер мы почти до света сидели на темной холодной террасе и говорили все о войне, все о войне и о милой России.

Говорили о родном городе Федина — Саратове (он почему-то казался мне «земским» городом, где жило много старых и просвещенных земских врачей), маленьких светелках-мезонинах в каком-нибудь Наровчате, косогорах, как бы подпиравших серое ветреное небо.

Вспоминали настойчиво, как одержимые, вспоминали с такой щемящей любсвью и болью, что она вот-вот могла пролиться в слезах:

О Русь! в тоске изнемогая,  
Тебе слагаю гимны я.  
Милее нет на свете края,  
О родина моя!..

Иногда мы уходили в блиндаж в лесу. В те холодные и бессонные ночи с их предрассветным ознобом над Филями и Москвой зловеще висели, как десятки люстр, осветительные ракеты. Свет их казался наглым и вызывающим.

Федин был печален, суров и спокоен. Он говорил о беспспорной победе. От этих его слов и от ощущения великолепной русской осени становилось легче и крепче на душе.

Тогда, глядя на Федина, я понял, какая сила заключается в ясности ума, не позволяющего себе никаких сомнений в те дни, когда решается судьба народа.

Для Федина характерна повышенная любовь к слову. Любовь взыскательная и поэтическая. Он особенно любит те слова, которые богаты оттенками.

Для большого писателя мало знать родной язык. Мало знать его даже великолепно. Ему нужно непрерывно жить в великой красоте, разнообразии и развитии русского языка, как в стройном и волнующем поэтическом мире.

Каждое новое слово — меткое и необыкновенное — вызывает у Федина восхищение, а тупое и невразумительное — ярость.

Как-то мы ехали с Фединым из Гагр на реку Бзыбь. Нам попался странный шофер — старый, тощий, как жердь, с отвислыми тонкими усами и дергающимся от раздражения лицом. Всю дорогу он молчал, прислушиваясь к нашим разговорам. Наконец, выяснив про себя, что мы писатели, он сварливо сказал:

— Писатели, а небось не знаете, какое самое длинное слово в русском языке.

Мы вспомнили несколько длиннейших слов, но шофер только снисходительно усмехнулся.

— Мало же вы знаете, товарищи писатели. Вот слушайте! Самое длинное слово такое: «Неблагорассмотрительствующиеся дела»!

Федин засмеялся.

— Где вы его взяли?

— Из сенатских постановлений, — угрюмо ответил загадочный шофер и надолго замолчал, вглядываясь в синеватые сырые пропасти и близкие вершины. Мы молчали, пораженные шоферским словом. Наконец, Федин спросил:

— Откуда вы знаете сенатские постановления?

— Значит, читал, — ответил шофер и с этой минуты стал вдвое загадочнее, чем раньше. — Не говорите мне под руку! Видите, какая чертова дорога.

Есть воспоминания деловые, есть лирические, есть, пожалуй, даже патетические. А есть и просто милые, почти детские.

К таким воспоминаниям относится поездка с Фединым и Симоном Чиковани в Пицунду.

Вопреки зиме над морем простирался неправдоподобно яркий, лазурный штиль. В свечении неба и воздуха был свойственный осени блеск паутины, летящей неизвестно зачем и куда. Этот блеск, почти неприметный для трезвого глаза, первым заметил Федин. Он сказал об этом. И тотчас весь тот день пошел для нас по какому-то необычайному и легкому пути.

Так бывает. Каждая милая черта сливается с такой же новой чертой, и весь день разворачивается, как сказочная пряжа. Это были почти неуловимые черты, но я все же попытаюсь сказать о них более конкретно и грубо.

Во-первых, мы нашли на пляже множество перебеленных прибоем древесных корней. Они напоминали то диких зверей, то маски древних скифов, то Дон Кихота с копьём в руке, то лицо японки с немного смытыми миндалевидными улыбающимися глазами.

Мы набрали целую коллекцию этих удивительных корней. Стоило повертеть любой корень, чтобы отыскать в нем не одно, а несколько совершенно разных изображений.

Во-вторых, мы нашли на пляже загорелые черепки и, конечно, решили, что это черепки эллинских ваз.

Иначе и быть не могло, потому что у наших ног чуть ленилось море, принесшее на своих волнах в Колхиду корабль Язона. А весь крупно-зернистый красноватый пляж вокруг горел, как золотое руно.

В-третьих, мы нашли на берегу черную бутылку, за-  
сунули в нее записку со словами «Для жизни — жизнь»,  
закупорили бутылку и бросили в море.

Потом мы осматривали древнейший собор. Казалось,  
что воздух застоялся там с незапамятных времен, — так  
он был тепел и сер.

Через сосновый лес вела тропа к маяку. Мы встре-  
тили на ней двух маленьких застенчивых девочек с сия-  
ющими глазами и пышными красными бантами в во-  
лосах. Это были дочери маячного смотрителя. Они про-  
вели нас на маяк.

Мы долго подымались к фонарю по витой чугунной  
лестнице, по звонким ступеням. Десятками медных  
искр горели начищенные приборы и линзы. На стене в  
маячной рубке висело расписание закатов.

А с балкончика с решетчатым полом ударила в гла-  
за черноморская счастливая синева.

— Вот это и есть, должно быть, счастье, — сказал  
Федин. — Но очень редкое, — добавил он. — Это все  
для тебя. Не забудешь?

— Нет, — ответил я. — Не забуду.

— Смотри же напиши!

Но до сих пор я не написал. Слишком цельно было  
все в тот день. Мне кажется, что его нельзя дробить на  
части подробным описанием. Но «приказ» Федина оста-  
ется в силе, и я рано или поздно его выполняю.

Мне пришлось видеть, как Федин работает.

Ни у кого из знакомых писателей я не встречал та-  
кой настойчивости, такого упорства в работе, как у  
Федина. Он был безжалостен к себе. Он вставал из-за  
стола с побелевшими от усталости глазами и еще долго  
был рассеян и задумчив.

Ручка была отложена в сторону, но мысль продол-  
жала работать и останавливалась очень медленно.

Лучший отдых — самый быстрый и легкий — дава-  
ло резкое переключение от пера к чему-нибудь просто  
мальчишескому — к студенческой песне, например, к  
«Крамбабули» или к незамысловатому веселью на пло-  
щадке ветхой приморской кофейни-«поплавка».

Это было на Кавказском побережье зимой, во вре-  
мя ревущего шторма. «Поплавок» трясся от ударов

прибоя. Вдали по горизонту проносились вереницы смерчей. Испорченный патефон дребезжал старинные вальсы.

И мы все, несмотря на возраст, танцевали — просто от хорошего настроения и дурашливости. И Федин танцевал необыкновенно выразительно, спокойно, даже как-то снисходительно. В нем проснулся бывший актер. Он — с его резким профилем — показался мне во время этого танца героем какой-то северной саги.

Он танцевал замедленный вальс и не спускал глаз со звенящих от ветра широких окон кофейни. Там из мглы несло к берегам разъяренное море. Над ним проступали какие-то багровые размытые пятна. То был, очевидно, отблеск солнца, заходившего за громадами туч.

Федин молча показал мне глазами на море. Казалось, он говорил: «Как это сильно! От такого зрелища крепнет рука».

Так я его понял. И был, очевидно, прав, потому что он оборвал танец, тотчас ушел к себе в холодноватую комнату, сел за стол и начал писать, стараясь не торопиться, сдерживая себя. И писал почти всю ночь.

Таких «бессюжетных» отрывков из жизни, связанных с Фединым, я мог бы привести много. Но я хочу сказать еще несколько слов об отношении Федина к природе и, в частности, о том, как мы ловили с ним рыбу.

Мне кажется, что природу Федин любит не только как созерцатель, но и как лесничий, как садовод, огородник и, наконец, как цветовод.

Во всех этих областях у него большие познания. Такое отношение к природе придает фединскому пейзажу черты безусловной точности. А, как известно, без знания и точности нет поэзии.

В делах природы Федин строг и не любит небрежности и дилетантства. Мне рассказывали, как сердил Федина его милейший сосед по даче и чудесный его друг Александр Георгиевич Малышкин. Сердил тем, что, гуляя по лесу, вырывал из земли, сильно дергая за вершинки, молодые березки, чтобы тут же посадить их у себя на участке.

— Просто безобразие, — говорил Федин, — таким варварским способом сажать березки. Они никогда не примутся и не отрастут, — у них же корни порваны в ключья.

Действительно, березки умирали. Но, как на грех, три — четыре березки выжили и пошли в рост. Правда, то были корявые, но крепкие деревья. Федин только пожимал плечами.

Рыбу мы ловили на Переделкинском пруду, стараясь не попадаться на глаза «братьям-писателям».

Мы выходили на пруд на рассвете, но все же никак не могли спастись от Юрия Слезкина. Он вставал очень рано, застигал нас на пруду и посмеивался над нами ядовито, но настолько вежливо, что при всем нашем желании «схватиться» с ним это не удавалось.

У Федина была своя, несколько странная, манера ловить рыбу. Он закидывал удочки, а сам, чтобы не пугать рыбу, отходил от берега на двадцать — тридцать шагов, прятался в кустах и оттуда следил за поплавками. Когда рыба клевала, он вскакивал, но, конечно, не успевал добежать до удочек. Почти всегда хитрая рыба выплевывала крючок с насадкой.

Но какое же было торжество, когда мы поймали шесть карпов. Мы нанизали их на кукан и нарочито медленно, стараясь всеми силами попасться недавним насмешникам на глаза (в особенности Слезкину), пошли домой мимо Дома творчества. Это, конечно, было нам не по дороге, но мы знали, что в этот час на террасе завтракали писатели.

Мы вольно и небрежно прошли мимо них со своими бронзовыми красавцами карпами. Писатели окаменели от изумления. Это была с нашей стороны законная месть всем урбанистам и матерым литераторам — любителям велеречивых высказываний и сентенций.

Я предвижу обвинение в легкомысленности и чрезмерной субъективности этих отрывочных воспоминаний. Я не буду оправдываться.

Я уже писал о том, как работает Федин (в «Золотой розе»). Я знаю ему цену и знаю его место в русской советской литературе. Поэтому я и хотел сказать несколько слов о Федине только как о простом человеке. Надеюсь, что он меня простит за это.

## СЛУЧАЙ С ДИККЕНСОМ

(из записной книжки)

Желтые облака над Феодосией. Они кажутся древними, средневековыми. Жара. Прибой гремит жестянками. Мальчишки сидят на старой акации и набивают рот сухими сладкими цветами. Далеко над морем подымается прозрачная струя дыма — идет из Одессы теплоход. Мрачный рыбак, подпоясанный обрывком сети, свистит и сплевывает в воду — ему скучно. Рядом с рыбаком на берегу сидит мальчик и читает книгу. «Дай, пацан, поглядеть, что такое за книга», — хрипло просит рыбак. Мальчик робко протягивает книгу. Рыбак начинает читать. Он читает пять минут, десять, он сопит от увлечения и говорит: «Вот это завинчено, убей меня бог!» Мальчик ждет. Рыбак читает уже полчаса. Облака переменились на небе местами, мальчишки уже объели одну акацию и полезли на другую. Рыбак читает. Мальчик смотрит на него с тревогой. Проходит час. «Дядя, — шепотом говорит мальчик, — мне надо домой». — «До мамы?» — не глядя на него, спрашивает рыбак. «До мамы», — отвечает мальчик. «Успеешь до мамы», — сердито говорит рыбак. Мальчик замолкает. Рыбак с шумом перелистывает страницы, глотает слюну. Проходит полтора часа. Мальчик начинает тихо плакать. Теплоход уже подходит к порту и гудит небрежно и величаво. Рыбак читает. Мальчик плачет, уже не скрываясь, слезы текут по его дрожащим щекам. Рыбак ничего не видит. Старый пристанский сторож кричит ему: «Петя, чего ты мучаешь ребенка! Отдай книгу, имей каплю совести». Рыбак удивленно смотрит на мальчика, бросает ему книгу, плюет, говорит с сердцем: «На, собственник, базарная душа, подавись той книгой!» Мальчик хватается за книгу и бежит, не оглядываясь, по раскаленному портовому спуску. «Что это была за книга?» — спрашиваю я рыбака. — «Та Диккенс, — говорит он с досадой. — Такой прилипчивый писатель — как смола!»

# ВОЛШЕБНИК ОРЕСТ

ПЬЕСА





## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

### В прологе и эпилоге:

Человек в цилиндре.  
Неизвестный.  
Капитан итальянского корабля.  
Боцман.  
Матрос с пятном на щеке,  
Матросы-итальянцы.

### В пьесе:

Орест Кипренский — знаменитый русский художник.  
Пушкин.  
Денис Давыдов — поэт, партизан.  
Княжна (Адель).  
Бурцев — гусар.  
Лицеист.  
Мальчик в бархатном костюме.  
Лаврентий — слуга Кипренского.  
Офицер.  
Тамаринский — художник.  
Готти — итальянский наемный поэт.  
Николина — уличная певица, натурщица.  
Мариучча — ее дочь.  
Пьетро — бродяга и вор, муж Николины.  
Гварнери — президент академии художеств.  
Бриго — негодяй.  
Торвальдсен — скульптор-датчанин.  
Полицейский сержант.  
Рикарди — доктор.  
Посетители остерий (ресторанов), монахи, молодые художники, полицейские, слуги, иностранцы в Риме.

Действие происходит в Петербурге (картина 1-я и 7-я) и в Риме (все остальные картины). Между картинами 6-й и 7-й и 7-й и 8-й проходит несколько лет.

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

### Пролог

Каюта парусного корабля. Поздний вечер. На столе горит свеча и стоит тарелка с апельсинами. За открытыми настезь иллюминаторами виден Петербург в первом снегу. В углу каюты сложены плоские ящики и рулоны, обшитые парусиной. За столом сидят загорелый капитан-итальянец с оловянной серьгой в ухе и старый низенький боцман. Они играют в кости. Капитан ест апельсины. Кожа валяется на полу.

Боцман. Я закрою окна, падроне.

Капитан. Не надо! Пусть дует!

Боцман. В каюте холодно, падроне.

Капитан. Все равно. Я люблю воздух русской зимы.

Боцман. Говорят, она началась только вчера, *(Смотрит за окно.)* Если Рим посыпать снегом, то будет похоже на Петербург.

Капитан. Играй. Ты много разговариваешь и путаешь кости!

Играют. Стук в дверь.

Кто?

Матрос с пятном на щеке *(просовывает голову в оверь)*. Падроне, вас спрашивают двое русских.

Капитан *(нехотя сбрасывает кости в ящик стола)*. Пусть войдут.

Матрос открывает низкую дверь. В каюту входят Человек в цилиндре и Неизвестный человек с бледным и живым лицом. Оба они одеты в черные плащи. Они молча кланяются капитану. Капитан так же молча отвечает на поклон и всматривается в русских.

Капитан. Скоро полночь. В такое время на иностранный корабль приходят только по тайному и важному делу. Какое дело у вас?

Человек в цилиндре. Вы догадливый человек, капитан.

Капитан. Наше ремесло требует хорошего глаза.

Человек в цилиндре. Вы правы. Дело наше тайное и вместе с тем важное. Вы привезли на этом корабле из Ливорно новые творения моих соотечественников — художников Брюллова и Кипренского, Бруни и Иордана;

Капитан. Вот эти? (Поднимает свечу и показывает на ящики.) Здесь масляной краски на несколько тысяч цехинов.

Человек в цилиндре. Когда будут выгружать эти картины?

Капитан. Завтра.

Человек в цилиндре. Мы хотим посмотреть их сейчас.

Капитан. Зачем?

Человек в цилиндре. Вот вопрос, недостойный сына Италии. Мы хотим первыми испытать наслаждение от этих картин.

Капитан. Всякое удовольствие, а особенно тайное, не дается даром.

Неизвестный бросает на стол две золотые монеты.

Капитан. Я люблю, чтобы в карманах звенело. Две монеты плохо звенят.

Боцман. Вы молодец, падроне!

Неизвестный молча бросает на стол еще две золотые монеты. Капитан свистит. В дверь просовывается голова матроса с пятном на щеке.

Капитан. Давайте свечи, клещи и молотки!

Матрос исчезает. Боцман закрывает иллюминаторы и задерживает занавески из грубого холста. Несколько матросов вносят свечи в бутылках и старых подсвечниках. Каюта наполняется желтым жаром свечей.

Капитан. Откройте эти ящики!

Матросы начинают вскрывать ящики. Человек в цилиндре с тревогой следит за матросами.

Человек в цилиндре. Позвольте мы сами достанем картины.

Капитан. Нет! Мои люди сделают это лучше вас. Они наощупь скажут, из скольких волокон свит любой корабельный канат. Они подымутся на салинг в сильную качку со стаканом вина и не прольют ни капли. И, может быть, сударь, они тоже любят картины не меньше, чем вы.

Матросы открывают ящики, бережно вынимают картины, возвращают в чистый холст.

Человек в цилиндре. Разверните сначала вот эту!

Матросы вынимают из брезента картину и поворачивают ее лицом к человеку в цилиндре, неизвестному и капитану. В блеске свечей появляется портрет молодой женщины. Краски на нем переливаются, как шелк.

Человек в цилиндре (*отступает от картины, сжимает цилиндр*). Это Орест! Кипренский! Ты снова становишься прежним, твоя кисть не знает усталости!

Неизвестный. Как живет лицо! Как играют шелка!

Боцман (*капитану*). Клянусь, она дышит, падроне!

Матрос с пятном на щеке. Я видел эту женщину!

Капитан. Кто она?

Матрос с пятном на щеке. Откуда я знаю, падроне? Я только видел ее один раз на Монте Пинчио в Риме. Мы шли с покойным Себастианом из кабака. Мы были пьяные, конечно. На холме остановилась карета. Из нее вышла вот эта женщина. Она приехала посмотреть на закат, как это делают в Риме все иностранки.

Боцман. Римский закат — как вино!

Капитан. Заткнись! Ты надоел своими книжными словами. (*Матросу с пятном на щеке.*) Рассказывай дальше.

Матрос с пятном на щеке. Она прошла мимо нас, и Себастиан — вы сами знаете, что он был с придурью — упал на колени и крикнул ей: «Синьора, прикажите остановиться солнцу! Пусть оно никогда не угасает на вашем прелестном лице».

Второй матрос. Будет врать.

Капитан. Довольно! Показывайте другую!

Человек в цилиндре. Совершенные творения всегда вызывают легенды.

Матрос с пятном на щеке. Я рассказал чистую правду.

Капитан. Хорошо. Мы поверили. Показывайте другую!

Матросы показывают новую картину — портрет пожилого, опухшего от вина неряшливого человека с пустыми глазами.

Человек в цилиндре (*вскрикивает*). Неужто это он?

Неизвестный. Да. Это он. Это Кипренский.

Человек в цилиндре. Как он страшен сейчас.

Неизвестный. Портрет опустошенного сердца.

Капитан (*нетерпеливо*). Дальше! Дальше!

Человек в цилиндре и неизвестный садятся. Матросы вынимают новую картину. Это пейзаж, вид берегов около Сорренто.

Второй матрос. Вот здесь мальчишкой я ловил макрель.

Третий матрос. Там, правда, такая чистая вода?

Второй матрос. Как в стакане!

Человек в цилиндре. Кто это?

Неизвестный. Щедрин. Мягкая кисти!

Матросы показывают четвертую картину: кисти винограда, освещенные солнцем. Слышно, как далеко в городе куранты бьют двенадцать.

Капитан. Хватит! Бьют полночь. Мы должны погасить огни. (*Человеку в цилиндре.*) Вы поздно пришли. Это вина не моя.

Человек в цилиндре. Ну, что ж. Придется уйти, не увидев остальных сокровищ.

Капитан (*открывает ящик стола и роется в нем*). Мне в Ливорно передали пакет для вашей академии художеств. Вы здешний человек, сударь. Может быть, вы согласитесь его передать?

Человек в цилиндре. Давайте!

Капитан достает большой пакет с траурной каймой и передает его человеку в цилиндре.

Неизвестный. Вестник смерти!

Человек в цилиндре. Пакет не запечатан!

Неизвестный. Прочти!

Человек в цилиндре (*вынимает лист бумаги и читает*). «В конце Сентября Орест Кипренский заболел жестокой горячкой и слег. С той поры художник не вставал более. Он скончался здесь в Риме третьего Октября».

Человек в цилиндре и неизвестный встают.

Человек в цилиндре (*капитану*). Вы привезли нам черную весть. В Риме умер один из величайших художников нашего века — мой соотечественник Орест Кипренский. Его картины вы только что увидели.

Капитан и матросы обнажают головы. Молчание. Капитан собирает со стола золотые монеты и бросает их в цилиндр неизвестного. Неизвестный гневно оборачивается.

**Капитан** (*спокойно*). Я не хотел обидеть вас. Меня воспитывали на палубе, а не при дворе тосканской герцогини. Возьмите обратно эти деньги. Я — калабриец и моряк и понимаю, что значит слово «красота». Я наживусь на пеньке и пшенице, но с вас не возьму сейчас ни гроша.

**Неизвестный** (*высыпает деньги на ладонь и протягивает их боцману*). Тогда пусть матросы выпьют в память умершего.

**Боцман**. Синьор видит матросов насквозь.

**Капитан**. Это — другое дело. Это — совсем другое и хорошее дело! (*Берет из вазы два апельсина и дает их человеку в цилиндре и неизвестному.*) Вот! Возьмите!

**Неизвестный** берет апельсины, прислоняется к столу и начинает перебрасывать апельсины из ладони в ладонь. Матросы гасят свечи, — остается только одна свеча.

**Капитан**. Откройте окна!

**Боцман** открывает окна. Каюта наполняется отблеском снежной ночи.

**Неизвестный** (*он по-прежнему перебрасывает апельсин из ладони в ладонь*). Мы сейчас простимся, друзья. Завтра отсюда увезут эти картины. Но я верю, что воспоминание о них будет жить в ваших сердцах и в этой каюте. Прекрасное неизменно оставляет следы, — иначе оно бы не было прекрасным. Оно живет в нас как шум грозы, впервые услышанный в детстве, как блеск волны, качающей кузов корабля. Мы помним прекрасное, и это сообщает нам крепость и мужество, благородство и желание вольности. Будем же благодарны тем, кто одарил нас этим прекрасным, узнаем их жизнь, наполненную горестью, ошибками и восторгом. Почтим их память этим рассказом.

## Картина первая

Мастерская Кипренского в Петербурге. К стене прислонено тыльной стороной много холстов в подрамниках. Повсюду воткнуты березовые ветки, уже увядшие. — очевидно, на днях был троицын день, и праздничное зеленое убранство до сих пор не снято. Легкий беспорядок. Посреди комнаты, стоит на мольберте портрет поэта-партизана Дениса Давыдова. В мастерской мы видим Кип-

ренского — стройного и элегантно одетого человека лет тридцати, молодую княжну Адель, Дениса Давыдова, лицеиста — брата Адель, мальчика в черной бархатной куртке и пыяного осовелого гусара Бурцева — приятеля Давыдова. Бурцев сидит в кресле, уставившись в одну точку. Денис Давыдов театрально стоит перед своим портретом, опираясь на саблю, в той же позе, в которой он изображен на портрете.

Давыдов. Что лучше, портрет или его оригинал? *(Выхватывает саблю, кричит.)* В клинки бродягу Бонапарта! В клинки шаромыжников-французов!

Мальчик взвизгивает от восторга и хохочет.

Адель. Невозможно передать ваш забубенный характер, Денис Васильевич. Даже Оресту это не удалось. Лицеист. Нет ничего выше оригинала.

Мальчик. Ура, дядя Денис! Ура!

Бурцев *(выходит из оцепенения)*. Чепуха! Вздор! Прости меня, Денис, но портрет гораздо выше оригинала. На портрете — блеск, живость, игра позументов, гроза твоих очей.

Давыдов *(обнимает его)*. Бурцев! Ёра! Забияка! Собутыльник дорогой! Ради рома и арака поцелуемся с тобой. *(Гусары целуются.)*

Кипренский. Бурцев прав. Портрет еще не кончен. По совести говоря, это только подмалевок.

Давыдов. Как! Ты смеешь отделаться от меня подмалевком! Сам ты подмалевок! Изобрази за моей спиной пылающий Дрезден. Пусть он курится пороховым дымом. Идет?

Кипренский. Идет!

Бурцев вскакивает, кричит: «Вперед!», хватая за руки Адель и Давыдова и начинает кружиться по комнате. Давыдов подхватывает лицеиста, лицеист — мальчика, а мальчик — Кипренского. Хоровод стремительно кружится вокруг портрета Давыдова под звон шпор, смех, крики и топот каблуков. Стук в дверь, но никто его не слышит. В дверях появляется пожилой слуга Кипренского Лаврентий. Он пропускает в комнату офицера. Офицер спокойно смотрит на хоровод. Кипренский замечает офицера, выскальзывает из круга и подходит к нему.

Офицер. Господин Кипренский?

Кипренский. Чем могу служить?

Офицер. Пакет от его сиятельства графа Аракчеева.

Кипренский. От Аракчеева? Вот новость!

Офицер. Граф просит дать ответ.

Хоровод останавливается.

Д а в ы д о в (*офицеру*). Надеюсь, граф Алексей Андреевич находится в добром здравии и твердом уме?

О ф и ц е р. Не могу знать.

К и п р е н с к и й. Погоди, Денис. (*Распечатывает письмо, читает про себя, все с недоумением смотрят на него.*)

К и п р е н с к и й (*читает письмо вслух*). «Милостивый государь Орест Адамович! Поскольку я принадлежу к истинным ценителям вашего дарования и памятуя о благосклонности к вам государя-императора, я решаюсь просить вас написать мой поясной портрет, каковой я намерен всеподданнейше поднести его величеству в день его тезоименитства. Это обстоятельство указывает на необходимость выполнения портрета с полным тщанием и со свойственной вам живостью кисти, в чем я не сомневаюсь. Прошу прибыть ко мне на дом сегодня к шести часам для начала работы над портретом и для выяснения размеров вознаграждения.

Примите и прочее. Граф Аракчеев».

Все поражены. Кипренский комкает письмо и бросает на пол.

А д е л ь. Орест Адамович, что с вами!

О ф и ц е р. Каков будет ваш ответ его сиятельству?

К и п р е н с к и й. Передайте графу, что у меня на палитре нет тех богатых красок, которые единственно могли бы передать потомству облик его сиятельства.

О ф и ц е р. Я не уяснил себе ваши слова.

К и п р е н с к и й. Хорошо. Скажем проще. У меня нет на палитре крови и грязи. Понимаете? Нет! А только этими красками и следует писать портрет Аракчеева. Кровью и грязью. Все! Можете идти!

О ф и ц е р. Я затрудняюсь передать такой ответ на словах. Вы бы лучше его написали.

К и п р е н с к и й. Нет! Вы же не можете пострадать за мои слова.

О ф и ц е р. Как сказать... Всякое бывает. (*Пожимает плечами, поворачивается и уходит.*)

Д а в ы д о в (*целует Кипренского*). Молодчина! Смелая кисть! Смелые слова!

Б у р ц е в. Все это верно, но такие ответы следует все же давать письменно.

К и п р е н с к и й. Почему?

Б у р ц е в. Оно как-то смелее.

К и п р е н с к и й (*вспыхивает*). Я вас не понимаю.

Давыдов. Не слушай его, Орест. Не горячись.  
(Бурцеву.) Старый эскадронный ворчун.

Бурцев. Воркотней всегда Россия спасалась.

Кипренский. Довольно об этом! Лаврентий!

Входит Лаврентий.

Тащи сюда шампанское. Отпразднуем мой завтрашний отъезд в Италию.

Лаврентий вносит шампанское и бокалы. Пробки летят в потолок.  
Кипренский наполняет бокалы.

Адель. За нашу встречу в Риме. Я там буду непременно. С отцом.

Кипренский. Когда?

Адель. Еще не знаю. Как только я приеду в Рим, сейчас же вас найду.

Лицеист. Счастливы! Напейтесь за меня воды из фонтана Треви.

Денис Давыдов. Чокнись там о маленький ноготь мадонны Рафаэля. За праздник кисти, за Италию, за любовь.

Все чокаются.

Мальчик. Bravo, дядя Денис!

Бурцев. Я однажды перерубил саблей струю фонтана в Милане с такой точностью, что не отлетело ни одной брызги. Пусть же будет такой же точной ваша кисть, Орест Адамович.

Мальчик. Ура, Бурцев!

Кипренский. Постараюсь. Я чувствую твердость руки и такую свежесть глаз, будто промыл их ледяной водой. Может быть, я достигну высот Рафаэля. Может быть. Я буду стремиться победить его и стать выше его творений. Они как бы написаны не красками, а сиянием небес.

Давыдов. Высоко сказано!

Кипренский. У Рафаэля волшебная кисть. Но кто сказал, что волшебство уже покинуло нашу землю и наши сердца. Нет и нет! Я хочу добиться нового волшебства и прославить им Россию и через нее — себя.

Все встают, чокаются, целуют Кипренского.

Кипренский. Давайте последний день проведем на островах. Какая весна! Смотрите, как летит черемуховый цвет! Какой нынче веселый был троицын день!

Действительно, в открытые окна порывом ветра несет, как снег, черемуховый цвет.

Адель. Вперед, на острова! Под шум и сень садов!  
Лицейст и Мальчик. Вперед!

Давыдов вскакивает на подоконник и спрыгивает в сад за окном. За ним проделывают то же все. Адель осторожно передают с рук на руки. Все уходят в глубину сада. Доносятся смех, возгласы, песня:

Кубок заздравный  
Полон давно.  
Пеней угарной  
Блещет вино...

Ветер вздувает занавески, несет белые лепестки.

Г о л о с А д е л и . Как хорошо!

## Картина вторая

Остерия (ресторан) на холме Пинчио. Терраса под открытым небом. Каменные парапеты, заросшие плющом. За парапетами виден Рим. Он сверкает сквозь мглу золотом окон и куполов. Столики. За ними пьют вино бородатые молодые художники, извозчики, иностранцы. Время приближается к закату.

За одним из столиков сидят за бутылкой вина Кипренский, молодой чахоточный художник Тамаринский и поэт Готти. Кипренский со смехом ловит цветы жасмина, — они изредка падают на террасу откуда-то сверху. Рядом со стулом Кипренского к парапету приклонена картина, завернутая в ткань.

Т а м а р и н с к и й . Ты просто ребенок, Орест.

К и п р е н с к и й . А что? Нельзя поймать жасмин?

Т а м а р и н с к и й . Нет, можно. Но все же ты совершенное дитя. Ты легко пробегаешь по жизни.

К и п р е н с к и й . Я не люблю хмурости.

Г о т т и . Таланту дозволено все.

В остерию входят молодая смуглая итальянка Николина с девочкой лет двенадцати. Николина одета пестро, как цыганка. Она берет на гитаре два-три аккорда и поет. Девочка обходит столики и собирает деньги в старую мужскую шляпу. Кипренский бросает в шляпу несколько монет. Николина кивает Кипренскому и улыбается.

К и п р е н с к и й (встает). Божественная натура. Я напишу ее, Тамаринский. Ее и девочку. И мы все трое

войдем в святилище всемирной славы. Я знаю все, что ты сейчас мне скажешь, — не начинай своих нравоучений.

Кипренский подходит к Николине, берет ее за плечи и внимательно всматривается в лицо. Николина смущенно смеется, опускает голову.

Николина. О, что вы, синьор художник!

Кипренский. Я напишу тебя всю в утреннем солнце. Перед тобой станет на колени сам великий Канова. Ты понимаешь. Я сделаю из тебя нежнейшую мадонну Рафаэля. Идет!

Кипренский ведет Николину за руку к своему столику. Николина слегка сопротивляется. Кипренский усаживает ее и девочку за стол. Требуется вина.

Тамаринский (девочке). Как тебя зовут?

Девочка (испуганно). Мариучча.

Николина. Это моя дочь, синьор.

Тамаринский. У вас есть муж. Зачем же вы ходите с гитарой?

Николина. Он — бродяга, сударь. Он не хочет зарабатывать ни одного сольди

Кипренский. Выпьем за двойную находку.

Тамаринский. Везет тебе, Орест.

Готти. Счастье бежит за талантливыми людьми, как их собственная тень.

Кипренский подзывает старика с двумя корзинами, полными цветов.

Кипренский. Сколько ты хочешь за все цветы?

Старик. Два цехина, сударь.

Готти. Ты сошел с ума, старик. Это не стоит и четверти цехина.

Кипренский. Возьми! (Бросает деньги, заваливает весь стол цветами.)

Николина. О, синьор! Вы купили целый сад. На эти деньги можно купить тележку с хлебом.

Кипренский. Не думай о хлебе. Будь весела. Это мне нужно для картины.

Тамаринский. Ты безумствуешь, Орест.

Кипренский. Хочу безумствовать. (Пьет.) Рим будет лежать у моих ног, вот этот великий вечный Рим (встает и показывает на Рим), как лежит у моих ног Петербург!

Движение среди посетителей остерии. Несколько молодых художников иронически смеются.

Т а м а р и н с к и й. Не горячись, Орест.

К и п р е н с к и й. Не веришь? Ну, хорошо! Я дам тебе и всем желающим доказательство этого! Вон сидит синьор Гварнери, президент академии художеств, глава всех художников Рима. Обратимся к нему. (*Подходит к Гварнери, церемонно кланяется.*) Синьор, я обещал вам, дабы получить звание итальянского академика, представить свою лучшую работу. Случайно она здесь со мной в остерии — это портрет моего отца. Вы делаете мне высокую честь и неожиданную радость, если сочтете возможным посмотреть и оценить эту картину сейчас.

Г в а р н е р и. Подлинное искусство украшает любое место, даже остерию. Покажите вашу картину.

К и п р е н с к и й берет картину, прислоненную к парапету. Посетители остерии встают и теснятся около столика Гварнери. К и п р е н с к и й разворачивает картину и ставит ее на парапет. Это — «Портрет отца». Гул восторга среди зрителей.

В о з г л а с ы. Рука великого мастера!

— Посмотрите какой теплый вечерний свет лица!

— Что за кисть у этого русского!

— Такому полотну мог бы позавидовать Ван-Дейк

Г в а р н е р и, нахмурившись, вглядывается в картину, проводит рукой по глазам, подходит ближе, снова вглядывается и неожиданно бьет со всего размаха тростью по мраморному столику. Падают и разбиваются бутылки и стаканы.

Г в а р н е р и (*кричит*). Наглец!

Толпа в смятении отступает.

Обманщик! Вор! Это портрет работы Рембранта. Нег и не было в нашем веке художника, который мог бы написать такую картину.

Кипренский хохочет.

Он еще смеется, этот иностранец. Это не вы, а Рембрант! Итальянскую академию не так легко одурачить, как вы думаете, милостивый государь!

К и п р е н с к и й (*хохочет*). Ой, не могу! Он залезал меня всего слюною, Тамаринский. Ой, не могу!

Глядя на Кипренского, начинает смеяться Мариучча, а потом и некоторые посетители остерии.

Г о т т и. Синьор Кипренский, опомнитесь. Перед вами президент академии художеств.

Кипренский. Он президент римских водовозов, а не художников! (*Хохочет.*) Ой, не могу!

Кипренский заражает своим весельем всю толпу. Толпа смеется.

(*Гварнери.*) На этом Рембранте еще не высохла краска, сударь. (*Сильно прижимает к картине палец, палец прилипает.*) Я польщен, что вы назвали меня обманщиком и вором. Да, я очень польщен, что вы приняли мою несовершенную работу за творение бессмертного Рембранта! Благодарю! (*Низко кланяется Гварнери.*) Благодарю за столь высокую оценку! (*Кланяется еще ниже.*)

Гварнери в бешенстве выходит под смех и иронические возгласы толпы. Посетители остерии теснятся вокруг Кипренского, жмут ему руки, хлопают его по плечу. Из-за дальнего столика поднимается высокий русский человек — Торвальдсен. Толпа расступается. Торвальдсен подходит к картине, останавливается перед ней и снимает шляпу. Толпа умолкает.

Торвальдсен (*оборачивается к Кипренскому*). Это великолепно, мой знаменитый русский собрат!

Кипренский. Кто вы?

Торвальдсен. Я скульптор Торвальдсен. Я давно искал встречи с вами.

Кипренский. Я счастлив. (*Крепко жмет руку Торвальдсену.*)

Торвальдсен (*тихо*). Вы сможете сегодня, как только стемнеет, прийти к воротам Ватикана?

Кипренский. Смогу. Но зачем?

Торвальдсен. Есть небольшое и тайное дело. Я буду ждать.

Кипренский. Ждите. Я приду.

Торвальдсен прощается и уходит.

Готти. Я напишу поэмы о каждой из ваших картин, синьор Кипренский!

Кипренский. Пишите. (*Снимает и заворачивает картину.*) Ну, что же, Тамаринский, теперь ты веришь мне?

Тамаринский. Чтобы быть великим, одного таланта мало.

Кипренский. А что же еще?

Тамаринский. Нужны еще познание и упорство.

Посетители, оживленно беседуя, возвращаются к своим столикам.

Кипренский (*смеется*). Упорство! Я не немецкий гравер, — тот, что протоптал в каменном полу глу-бокую яму, пока гравировал картину Дюрера.

Тамаринский. Очень жаль, что ты так легок в мыслях.

Кипренский. Ты мне надоел. Иди, учи детей цифири.

Тамаринский. Ну, хорошо. Прощай.

Тамаринский уходит. Во время этого разговора Готти шеп-чется в стороне с толстяком, одетым богато и безвкусно. Пухлые руки толстяка унизаны перстнями. Жилет покрыт брелоками.

Готти и толстяк подходят к Кипренскому.

Готти (*Кипренскому*). Позвольте представить вам синьора Бриго, почтенного негоцианта, торговца губка-ми и владельца нескольких кораблей.

Кипренский. Я рад. (*Здоровается с Бриго.*)

Бриго. Ваши картины, сударь, будут дороже сожро-вищ Индии, дороже золота и алмазов.

Кипренский. Когда? После моей кончины, синьор?

Бриго. О, чет, зачем! Через два — три года. Ваша рука (*поднимает руку Кипренского*) — залог бо-гатства.

Кипренский резко отнимает руку.

Готти. Синьор Бриго — ценитель талантов.

Бриго. Да. Я люблю надгробные памятники и не-которые картины. Я попрошу вас, синьор Кипренский, написать мой портрет. В деньгах я щедр.

Кипренский (*внимательно и насмешливо смот-рит на Бриго*). Ну, что ж, ваши глаза стоят тысячу це-хинов. (*Заходит сбоку и смотрит на Бриго в профиль.*) Ваш профиль стоит две тысячи цехинов. Ваш подборо-док пять тысяч цехинов.

Николина. Святая Мария!

Кипренский. Но ваш лоб стоит всего один це-хин. Итак, за весь портрет восемь тысяч один цехин. Идет?

Бриго. Вы странно шутите, сударь. Канова берет за бюст две тысячи цехинов.

Кипренский. Я не Канова. Простите меня, я за-нят. (*Небрежно кланяется Бриго и возвращается к сво-ему столу.*)

Бриго. Безумная цена!

Готти. В руках вашего сына этот портрет будет стоить пятнадцать тысяч.

Бриго. Я знаю это и без вас, синьор поэт. Но мой сын не заплатит вам процентов так, как я. Вы мне клялись, что он согласится.

Готти. Каприз художника священен, синьор.

Бриго. Дурак!

Бриго садится за дальний столик. Он красен от гнева, обижен. Готти возвращается к столику Кипренского.

Николина (*робко*). Когда мне прийти к вам, синьор? Где вы живете в Риме?

Кипренский. Ты придешь сюда с Мариуччей утром через два дня. Но ты придешь не в этих цыганских лохмотьях. Моя натурщица должна быть великолепно пармской герцогини. Ты придешь в платье из венецианского бархата и приколешь к корсажу сырые белые розы.

Николина. Зачем вы смеетесь над бедной женщиной, синьор!

Кипренский. Я не смеюсь. Моя натурщица должна затмить весь мир. (*Оборачивается к Бриго.*) Эй, синьор негоциант, подойдите! Я передумал!

Бриго подходит.

Кипренский. Три тысячи цехинов за портрет!

Бриго. Две с половиной, синьор!

Кипренский. Три. И больше я не скажу ни слова. Тысячу вперед.

Готти. Капризы художника, так же как капризы красивых женщин, всегда священны.

Бриго. Хотя вы меня и оскорбили...

Кипренский (*угрожающе*). Но?

Бриго. Но я согласен.

Достаёт и кладёт на столик Кипренскому пачку ассигнаций.

Кипренский (*бросает деньги Николине*). Возьми. Молчи. Не благодари меня! Не надо. Ступай. Твои глаза всегда должны смеяться.

Николина с девочкой уходят. У Николины на глазах слезы счастья и растерянности.

Готти. Лорд Байрон поступил бы так же.

Кипренский. Прощайте, синьор Бриго. На днях я к вашим услугам.

Бриго уходит. Готти допивает вино за столиком Кипренского. Закат над Римом. Возгласы восхищения среди посетителей. Кипренский один не смотрит на закат. Он сидит задумавшись, опустив голову.

Готти. Пора идти к воротам Ватикана.

Кипренский. Что?

Готти. Пора идти к воротам Ватикана.

Кипренский. Кому пора?

Готти. И вам, и мне.

Кипренский. С тобой я не пойду.

Готти. Что это значит?

Кипренский. Я продал себя, но не продавал других, как ты.

Готти. Каждому свое, синьор Кипренский.

Кипренский (*берется за голову*). Как трудно быть верным себе в этом мире!

Готти (*про себя*). Ты заплатишь мне за обиду, заплатишь чистым золотом или кровью.

Конец первого действия

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

### Картина третья

Перед занавесом. Ночь. На широкой деревянной скамье сидят Торвальдсен и монах-привратник с фонарем. Слышно далекое пение. Сверху падают цветы жасмина. На скамье стоит бутылка вина и глиняная кружка.

Торвальдсен. Рим всегда поет ночью. У одиноких людей это вызывает печаль. (*Наливает в кружку вино.*) И все время летят эти цветы жасмина.

Монах. Это мадонна роняет их из своего венка.

Торвальдсен. Это просто ветер. Вы поэт, святой отец. Пейте!

Монах (*пьет, крикает*). Церковное вино — свиное пойло по сравнению с этим. Это что?

Торвальдсен. Лакрима кристи. Немного же нам надо, чтобы начать богохульствовать, святой отец.

Монах. Не будем шуметь об этом. Аминь.

Входит Кипренский. За ним незаметно входит оборванный человек. Это Пьетро, муж Николины.

Кипренский. Прошу простить, я опоздал.

Торвальдсен. О, нет. Сейчас мы войдем в Ватикан. Надо только подождать ключаря.

Монах. Он ползает, как слепая черепаха, отец ключарь.

Торвальдсен. Мы не торопимся.

Кипренский. За каким делом вы звали меня, Торвальдсен?

Неслышно входит Готти и останавливается вдали. Его никто не замечает.

Торвальдсен (*наливает Кипренскому вина*). Я хочу сегодняшней ночью показать вам бессмертные мраморы Ватикана, мой знаменитый русский друг.

Кипренский. Как? Ночью?

Торвальдсен. Не будем раньше времени разглашать эту маленькую тайну.

Кипренский. Я видел их днем. Они представились мне холодными, как человек, из которого выпита кровь. Я бы предпочел, чтобы вы показали мне бюст лорда Байрона, высеченный вами.

Торвальдсен. Нельзя оскорблять мрамор. Ничто лучше мрамора не может передать совершенство человеческого тела. Пейте и не спрашивайте меня о бюсте Байрона. Я его не покажу.

Кипренский. Почему?

Торвальдсен. Пейте!

Кипренский пьет.

Пьетро (*хрипло*). Глоток вина, синьор!

Кипренский (*вздрагивает и оборачивается*). Это кто?

Монах поднимает фонарь.

Пьетро. Я муж той женщины, синьор... Ей вы сегодня дали тысячу цехинов.

Кипренский. Что вам надобно от меня?

Пьетро. Пятьдесят цехинов — и я уйду.

Кипренский. За что?

Пьетро. За то, что я вам не буду мешать, синьор. Кипренский. Убирайтесь вон!

Пьетро (*плаксиво*). Она не дала мне ни гроша из ваших денег. Она сделалась совсем безумной. (*Злобно смеется.*) Она говорит, что это — священные деньги. На них она должна стать красивой, как мадонна, чтобы угодить вам.

Монах. Проваливай от святых ворот, пропойца.

Пьетро. Дай хоть глотнуть вина, скелет в сутане. У меня горло засохло от злости.

Торвальдсен. Бери!

Отдает Пьетро бутылку. Тот жадно пьет. Монах отнимает у него бутылку.

Пьетро. Чтобы ты подавился святым причастием, апостольский пес.

Монах. Не богохульствуй, бродяга.

Входит Ключарь.

Ключарь. Пожалуйте, синьоры.

Торвальдсен встает.

Пьетро. Двадцать цехинов, синьор художник, — и я ни разу не попадусь на вашей дороге.

Монах. Вон отсюда, а то я позову стражу.

Кипренский, Торвальдсен и Ключарь уходят. Пьетро медленно отходит от скамьи. Навстречу ему из темноты появляется Готти.

Пьетро. Два гроша! Во имя Иисуса на хлеб.

Готти. На! (*Дает деньги.*)

Пьетро хочет уйти, но Готти крепко берет его за руку.

Пьетро. Пустите!

Готти. Постой. Не вырывайся. Ты муж уличной певицы Николины?

Пьетро. Ну, что ж, что я! (*Пытается вырваться.*)

Готти. Твоя шея давно готова для веревки.

Пьетро. Пустите. Я закричу.

Готти. Попробуй, закричи, бродяга. Я сдам тебя полиции, и ты сгниешь в тюрьме под Тибром.

Пьетро. Что вам нужно от меня?

Готти. Ага! Ты заговорил, наконец, по-человечески.

Пьетро. Я готов услужить вам во всем.

Готти. Еще бы. За услугу ты получишь двадцать цехинов.

Пьетро. Ваше слово, синьор.

Готти. Твоя жена получила тысячу цехинов от этого сумасшедшего.

Пьетро. Она не дала мне ни гроша.

Готти. Молчи. Я знаю. Он будет рисовать с нее картину. Но в Риме живет другой русский художник — такой же баловень счастья, как и этот наглец. Если ты устроишь так, что она уйдет от этого и перейдет к тому, — ты получишь двадцать цехинов.

Пьетро. Сорок.

Готти. Тридцать.

Пьетро. Это очень трудно устроить, синьор. Вы не знаете, какая чертовка — эта Николина.

Готти. Хорошо. Я прикидываю еще десять цехинов на строптивный нрав твоей жены.

Монах. Аминь!

Пьетро. Аминь!

Уходят.

Готти. Посмотрим, кто из вас, синьоры, Кипренский или Брюллов войдет из-за этой женщины в святилище всемирной славы. А с Брюллова я получу свое.

Занавес раздвигается. Темный зал Ватикана. Видны неясные фигуры трех людей: Кипренского, Торвальдсена и Ключаря.

Торвальдсен. Ночь уже достаточно темна, чтобы смотреть античные статуи. Отец, зажгите факел.

Ключарь достает из фонаря свечу и подносит ее к смоляному факелу. Вспыхивает багровое пламя. Оно озаряет зал. В нишах у стен розовым блеском загораются статуи. Торвальдсен берет факел из рук у ключаря и поднимает его над головой.

Торвальдсен. Теперь смотрите.

Пламя колеблется. Качаются тени. В живом свете факела то смеющиеся, то печальные лица мраморных богинь кажутся ожившими. Кипренский смогрит, пораженный.

Торвальдсен. Ну, что же? Камень живет?

Кипренский *(отвечает глухо, как эхо)*. Живет!

Торвальдсен. Друг мой, только так рождаются величественные образы от античной скульптуры и создаются в тайниках нашей души законы мастерства.

Кипренский. Только так!

Торвальдсен. Никогда не изменяйте этим законам, друг мой.

Кипренский. Каким законам, Торвальдсен?

Торвальдсен. Закон художника — один. Он суров. Он говорит: будь предан только прекрасному и жертвуй для него, если надобно, всем — любовью, богатством и славой. Тогда ты станешь велик до конца и многие поколения будут с трепетом и любовью повторять твое имя.

Кипренский. Пренебречь любовью, богатством и славой!

Торвальдсен. Да, только так.

Кипренский молчит.

Торвальдсен. Вы просили меня показать вам бюст Байрона?

Кипренский. Да.

Торвальдсен. Я разбил его.

Кипренский (*вскрикивает*). Зачем?

Торвальдсен (*отдает факел ключарю*). Когда Байрон вошел в мою мастерскую, я обрадовался так сильно, как птицы радуются рассвету. Я пел, работая над бюстом, хотя Байрон позировал ужасно. Его лицо ни на одно мгновение не могло застыть. Сотни выражений менялись на этом прекрасном лице, а с губ Байрона срывались сотни то веселых, то острых, то печальных слов. Я делал ему замечания, но это не помогало. Когда я закончил, Байрон взглянул на бюст и сказал: «Вы сделали не меня, а благополучного человека». — «Что же дурного, если человек счастлив?» — спросил я. — «Торвальдсен, — сказал он, и губы его искривились от гнева, — счастье и благополучие так же различны, как мрамор и глина. Только глупцы или люди с низкой душой могут искать благополучия в наш век тревог и сомнений. Неужели на моем лице нет ни одной черты, говорящей о горечи, мужестве и страданиях мысли?» Я поклонился ему и ответил: «Мой резец мне изменил». — «Мы еще встретимся», — сказал Байрон, пожал мою руку и вышел. На днях один богатый русский предложил мне за Байрона две тысячи цехинов.

Кипренский. И что же?

Торвальдсен. Ничего. Я сказал ему: «Если бы вы, сударь, предложили мне эти деньги за то, чтобы я разбил бюст, я взял бы их охотно. Свои ошибки я не продаю».

Кипренский. Как? Как вы ответили ему?

Торвальдсен. Свси ошибки я не продаю.

Гулко бьют за окнами башенные часы. Кипренский стоит задумавшись.

### Картина четвертая

Мастерская Кипренского в Риме. Утро. За широким низким окном видна рыночная площадь. Окно открыто. Шумят фонтаны. Кричат торговцы. Звенят бубенцы на ослах. Кипренский пишет портрет Николины. Николина сидит в кресле на невысоком помосте, покрытом ковром. Она — в платье из синего венецианского бархата. Взбрызнутые водсой чайные розы приколоты к ее корсажу. На одном из мольбертов — начатый портрет Бриго, очень водянистый, тусклый. Маричча играет с котенком. На диване сидит Тамаринский.

Кипренский. Трудно передать капли росы на бархате.

Тамаринский. Отдохни.

Кипренский. Нет времени отдыхать.

Тамаринский. Да, я и забыл. Тебе ведь нужно время на эти мертвые портреты богачей.

Кипренский. Отстань! *(Пишет.)* Как ловко! Посмотри, — как будто пустое прикосновение кисти, а брызги живут. *(Пишет.)* Николина, вы мало улыбаетесь сегодня.

Николина. Да, синьор. Мне сегодня трудно улыбаться. С самого утра мне все время хочется плакать.

Кипренский. Почему?

Николина. Сама не знаю, синьор.

Кипренский. Но все же, расскажите.

Николина. Вы кончите портрет, синьор. Я сброшу это платье, отколю эти цветы, и, как после карнавала, у меня долго будет звучать в ушах музыка, которая давно затихла.

Кипренский. Не надо! Успокойтесь, Николина!

Николина *(с тоской)*. Если бы вы знали, синьор... *(Протягивает Кипренскому руку.)*

Кипренский. Погодите! Погодите! Не говорите сейчас. (*Пишет.*) Молчите и улыбайтесь! Молчите и улыбайтесь!

Николина застывает в прежней позе.

Тамаринский (*печально*). Молчите и улыбайтесь. Жестокое наше ремесло, Орест.

Кипренский не отвечает. Он пишет с увлечением. На улице гул толпы, слышны приветственные крики, чей-то звонкий голос затягивает песню.

Кипренский (*бросает палитру и кисть*). Опять! Опять этот проклятый Брюллов! Этот надменный счастливец Карло! Он проходит по улицам Рима, как король. (*Подходит к окну.*) Посмотрите! (*Тамаринский и Мариучча тоже подходят к окну.*) Толпа приветствует его, как триумфатора!

Тамаринский. Рим любит Брюллова.

Входит Готти, останавливается около дверей.

Кипренский. Больше, чем меня. Продажный Готти — этот поэт за деньги — сложил в честь Брюллова песенку, и ее горланит весь Рим.

Готти отступает за портьеру.

Николина. На днях я встретила синьора Брюллова. Он подошел ко мне и сказал, что хочет писать с меня картину итальянки, срывающей виноград.

Кипренский (*быстро оборачивается к Николине*). А вы? Что ответили вы?

Николина. Разве я могу изменить вам, синьор.

Кипренский (*смеется*). Ну то-то. Смотрите, Николина. Иначе я убью вас. Слышите!

Готти (*выходит из-за портьеры*). Я слышу страшные слова. Прелестной женщине грозят убийством.

Кипренский. Да. За измену я буду мстить.

Готти. Какие бездны страстей таятся в душе художника. Синьор Кипренский, я пишу поэму об этом портрете Бриго. (*Показывает на портрет.*)

Кипренский. Вы думаете, он заслуживает поэмы?

Готти. Вполне. Она зачинается так (*становится в небрежную позу и читает*):

Твою кистью водит вдохновение,  
Мой русский брат, властитель чистых муз.  
Ты передал высокое волнение

Людской души. Ты передал союз  
Меркурия и женственной Камены  
В лице Бриго, владельца кораблей,  
Влекущихся в безбрежности морей  
И золото рождающих из пены,  
Рождающих богатство из зыбей.

Тамаринский. Довольно! Отменные стихи в честь Бриго, синьор Готти. «Так золото рождается из славы, рождается богатство из стиха». Неправда ли? Бриго, говорят, щедр.

Готти. Он щедр одинаково и к поэтам, и к художникам. Синьор Кипренский недавно убедился в этом.

Тамаринский. Орест, отдай Бриго его цехины! Сожги портрет. Он недостоин тебя.

Кипренский (*делает вид, что не слышит слов Тамаринского*). Какая духота! Какая тяжесть в сердце! Зачем он проходит под моими окнами? Нарочно?

Тамаринский. Ты ослеплен, Орест. Брюллов далек от низменных страстей.

Кипренский. Какая духота! Да, ты прав, Тамаринский. Он гений. Вчера я смотрел его портрет красавицы, скачущей на вороном коне. Какая дерзость! Какая ослепительная кисть. Какое пиршество красок. Совсем не то, что эта мертвая мазня! (*Бьет кистью по портрету Николины. На лице портрета остаются пятна красной краски.*)

Тамаринский. Остановись! Орест! Безумный!

Кипренский. Куда мне до него! Он — властелин толпы. Баловень! Соперник Гридо Рейн! (*Снова бьет кистью по портрету.*)

Николина (*встает*). Зачем? (*Подходит к Кипренскому и берет его за руку.*) Не надо. (*Отворачивается, плачет.*) Вы напугали меня, синьор.

Кипренский. Не плачьте, Николина. Я добьюсь того, что перед вашим портретом Брюллов побледнеет, как мертвец.

Мариучча прижимается к Николине.

Кипренский гладит Мариуччу по голове.

Я напугал тебя, дитя. Ну, ничего. Мы пойдем сейчас с тобой на Испанскую площадь. Мне надобно пройтись. Я куплю тебе лент и леденцов, и, может быть, мы даже купим маленькую живую обезьянку.

Мариучча. Живую обезьянку, сударь? Да?

Кипренский. Да. Пойдем. Где моя шляпа?

Николина подает ему шляпу. Кипренский выходит с Мариучей.

Николина (*Тамаринскому*). Пойдите с ними, синьор. Ведь он не сдержан, как дитя.

Тамаринский вздыхает, берет шляпу и уходит вслед за Кипренским. Готти садится на диван и смеется, глядя на портрет Николины.

Николина. Чему вы смеетесь?

Готти. Твое очаровательное лицо в крови, Николина. Он не напишет тебя. Его съедает зависть.

Николина. Я очень стараюсь, синьор.

Готти. Зачем? Ты хочешь быть красавицей, прославленной пустым мальчишкой. Послушай, дурочка. Это глупости. Если тебя напишет Брюллов, ты будешь блистать в лучших картинных залах Европы. Твой портрет будет висеть во дворце русского царя. Червонцы посыплются на тебя дождем, как на Данаю. Твоя жизнь будет заполнена шуршанием шелка, дыханием цветов, шепотом восхищения, звоном золота, блеском балльных огней. Ты слышишь меня! (*Встает.*) Ты прогонишь бродягу, своего мужа. Ты будешь женой другого.

Николина (*смеется*). Чьей же женой я буду?

Готти. Моей. Ты достойна быть женой поэта.

Дверь тихо отворяется. Входит Адель в сопровождении служанки. Адель останавливается на пороге. Николина и Готти ее не замечают.

Николина. Нет. Пусть я сброшу этот бархат и снова надену лохмотья. Нет. Я не уйду от него. Я согласна быть его служанкой. Я буду мыть полы в его мастерской.

Готти. Ага! Так, значит, я не ошибался. Ты любишь этого русского скупца.

Николина не отвечает. Она прижимает платок к глазам и уходит к окну.

Готти. Ну, хорошо. Тогда с тобой поговорит другой, не я. Эй, Пьетро!

Готти оборачивается к двери, видит Адель и отступает с низким поклоном.

Адель. Эта мастерская синьора Кипренского? Готти (*кланяется*). Да, синьорина.

Николина резко оборачивается и смотрит на Адель.

Адель. А где же он?

Готти. Он только что вышел.  
Адель. Когда он будет дома?  
Готти. Он обещал прийти через час.

За спиной Адели появляется Пьетро. Готти делает ему знак, и Пьетро исчезает.

Николина. Неправда. Он придет очень нескоро.  
Адель (*внимательно смотрит на Николину*). Нескоро?

Николина. Да, нескоро. Только вечером. Но вечером он будет много работать, синьорина.

Адель. Только вечером? Ну, хорошо. (*Осматривает комнату.*) Как-то странно здесь... Что с ним? Почему он измазал красной краской этот женский портрет? А это кто? (*Показывает на портрет Бриго.*)

Готти. Это уважаемый римлянин, негоциант Бриго.

Адель. Негоциант?

Готти. Совершенно верно, синьорина.

Адель. О, боже, боже. На что он только тратит свой дар.

За спиной Адели появляется снова Пьетро. Служанка замечает его и вспыхивает. Адель оборачивается.

Адель (*испуганно*). Кто этот человек?

Готти. Муж этой натурщицы. Не пугайтесь, синьорина.

Адель. Натурщицы? (*В упор смотрит на Николину.*) Муж этой прелестной и ревливой женщины?

Готти. Да. Она не больше, чем натурщица. Смею вас уверить.

Адель. Это безразлично. Вы неучтивы, сударь.

Адель резко оборачивается и выходит из комнаты. Готти низко кланяется ей вслед. Николина бросается к окну и следит, как Адель выходит из дома.

Николина. Сам дьявол прислал ее сюда!

Готти (*Пьетро, тихо*). Пятьдесят цехинов, чтобы уломать эту влюбленную бабу.

Пьетро. Будьте спокойны, синьор. Я муж. В моих руках она согнется, как восковая свеча.

Готти быстро выходит.

Пьетро. Ты слышала, что тебе предлагал синьор Готти?

Николина. Да.

Пьетро. Бросай этого свистуна! Сейчас же! (*Берет ее за руку.*) Идем! (*Тащит Николину к двери.*)

Николина (*вырывается*). Оставь меня. Я не уйду отсюда. Я буду кричать и звать на помощь.

Пьетро (*бьет ногой по портрету Николины, портрет падает на пол*). Тварь!

Николина. Уйди отсюда, вор!

Пьетро. Я вор? Ну, хорошо. Последний раз я говорю тебе: брось этого юнца и уходи к другому.

Николина. Нет!

Пьетро. Нет?

Идет к Николине. Николина бросается к окну. Пьетро хватается за руку.

Николина (*кричит*). Синьор, ко мне! Синьор!

Пьетро зыхватывает из-за пояса нож. Николина с силой отталкивает Пьетро. Он падает, вскакивает и медленно, пряча нож, идет к прижавшейся к стене Николине.

## Картина пятая

Та же мастерская Кипренского. Вечер. Горит много свечей. За окнами над Римом восходит во мгле багровая луна. На мольберте стоит портрет, повернутый тыльной стороной к зрителю. В мастерской Кипренский, Тамаринский, Торвальдсен; Готти и несколько молодых художников.

Шумно

Кипренский (*наливает в бокалы вино*). Я позвал вас, чтобы показать последнюю работу — портрет моей несчастной натурщицы Николины.

Тамаринский. Бедная Николина.

Торвальдсен. Веселье и грусть жили неразрывно на ее смуглом лице. Она была восхитительна.

Первый художник. Рим полон слухов о ее таинственной смерти.

Готти. А что говорят?

Первый художник. Многое. Удивляются тому, что синьор Кипренский отдал Маричччу в католический пансион. В добром деле, как всегда, видят дурной смысл.

Торвальдсен. Жизнь художника, как жизнь па-  
яцев, всегда бывает пищей для пересуд.

Кипренский. О чем вы шепчетесь?

Тамаринский. Мы вспоминаем Николину.

Первый художник (*Кипренскому*). Не мучайте  
нас. Покажите ее портрет. Это должно быть блиста-  
тельно!

Кипренский. Вот она!

Поворачивает портрет лицом к зрителям. Художники подходят к  
портрету. Тягостное молчание.

Ну, что?

Торвальдсен. Не дурно. Но это — плод утом-  
ленной руки.

Кипренский. Только-то?

Торвальдсен. Да, только-то, мой знаменитый  
русский друг.

Тамаринский. Где же твои бывшие мазки, Орест?

Кипренский. У Рафаэля тоже не было мазков.

Второй художник (*усмехается*). Дело не в  
присутствии мазков, а в живости красок.

Кипренский. Разве ее нет на этом холсте?

Второй художник. Пожалуй, нет. Простите,  
синьор, но зачем вам понадобилась эта сладость, когда  
в своих прежних работах вы были образцом дерзости и  
силы.

Тамаринский. Ты устал, Орест. Ты торопишь-  
ся жить и писать. К чему тебе это?

Торвальдсен. Художнику нужно уединение.  
Нужно забыть о суете тщеславия и страстей. Гений дол-  
жен быть тверд, как камень, и беден, как пастух.

Кипренский. Ты прав, Тамаринский. Я очень  
устаю здесь, в Риме. Я работаю без отдыха, без сожа-  
ления к самому себе.

Тамаринский. Над чем? Над портретами него-  
циантов и торговков. Не смей унижать свой дар, Орест.

Кипренский. (*вспыхивает*). Он мой, этот дар. И  
я располагаю им по своему желанию.

Торвальдсен (*говорит гневным гремящим голо-  
сом*). Нет! Сотни раз нет! Ваш дар — это общее благо.  
Это наше общее счастье. Вы не вправе унижать его  
недостойными творениями. Во имя чего вы работаете?

Готти. Я полагаю, что синьор Кипренский работа-  
ет во имя славы и богатства.

Кипренский. Да. Я не боюсь признаться в этом. Да, я жажду славы и богатства. Я напишу портреты торговков, и вы будете трепетать перед ними.

Тамаринский. Не говори несообразности. Ты будешь всегда угождать низменным вкусам своих заказчиков.

Кипренский. Зачем?

Готти. Иначе они вам не заплатят ни гроша, синьор.

Кипренский. Не смей учить меня, Тамаринский. Я не школьник. Учи других. Я хочу преклонения. Я хочу, чтобы толпа рукоплескала мне, когда я прохожу по римским площадям.

Второй художник. Безумец!

Кипренский. Да, безумец. Я хочу бросать горстями деньги. Я хочу пройти по всей Европе, как победитель. Пусть короли снимают передо мной шляпы, а королевы дарят улыбками, обещающими счастье.

Тамаринский. Что с тобой, Орест?

Горвальдсен. Нервический припадок.

Кипренский. Нет, я здоров. Мой разум светел, как стекло. Я хочу богатства. Мы заслужили его, художники. Довольно протирать подошвы около мольбертов. Довольно умирать от голода около гениальных холстов. Заказчиков и денег! Я не буду гнать, как вы, со своего порога богачей. Пусть! Я выверну их кошельки и проживу блистательно и пышно!

Стук в дверь.

Я буду кричать им: «Войдите, бросайте к моим ногам ваши бриллианты, ваше золото и жемчуга!»

Снова стук в дверь.

Войдите, синьор заказчик!

Дверь открывается, входит Адель. Кипренский поражен. Художники встают.

Кипренский (*бросается в Адели*). Адель! Два года я жду вас в Риме!

Адель. Здравствуйте, Орест Адамович. (*Кипренский целует ей руку. Адель говорит тихо.*) Я к вам на несколько минут. По-настоящему мы свидимся завтра.

Кипренский. Чудесно. Адель, позвольте вам представить моих друзей. (*Знакомит Адель с художниками.*)

Адель. Я слышала, что вас постигло несчастье, Орест Адамович.

Кипренский. Да. Моя натурщица убита.

Адель. Кем?

Кипренский. Неизвестно.

Адель (*тихо*). Если бы вы знали, Орест, как я ждала свиданья с вами. Я в Риме пятый день. Я уже была у вас. Я видела эту женщину еще живой и негодовала весь вечер. Я думала, что вы забыли меня, Орест.

Торвальдсен (*встает*). Позвольте попрощаться с вами.

Кипренский. Куда вы?

Стук в дверь.

Готти (*язвительно*). Наконец, стучит настоящий заказчик.

Кипренский. Войдите.

Входит сержант и с ним два полицейских.

Кипренский. Что это значит?

Сержант. Я прислан осмотреть место смерти Николины Пьетро и снять допрос с синьора Кипренского.

Кипренский. Приказ!

Сержант протягивает Кипренскому бумагу.

Сержант. Прошу синьорину и синьоров не пытаться выйти из комнаты. Это бесполезно.

Осматривает комнату. Поднимает с пола измятую засохшую чайную розу. Прячет ее в кожаную сумку. Все с напряжением следят за сержантом.

Адель. Орест, как они посмели войти в вашу мастерскую?

Кипренский. Они сейчас уйдут.

Сержант. Синьор Кипренский, я вынужден допросить вас по делу об убийстве Николины Пьетро.

Кипренский. Спрашивайте.

Сержант. Полиция получила письменное донесение, что убийцей Николины Пьетро являетесь вы!

Все потрясены.

Кипренский. Я! (*Бросается к сержанту.*) Кто налгал?

Сержант. Имя доносителя священо. Закон охраняет его. Вы будете отвечать на вопросы?

Кипренский. Спрашивайте.

Сержант (*садится, достает исписанный лист бумаги и, заглядывая в него, начинает допрос*). Признаете ли вы, синьор Кипренский, что 6-го сего июля в вашей мастерской была найдена убитая ножом в сердце натурщица Николина Пьетро?

Кипренский. Да, признаю.

Сержант. Признаете ли вы, что тело означенной натурщицы было обнаружено вами в четыре часа дня и вы дали знать об этом полиции?

Кипренский. Да, это точно.

Сержант. Сообщите полиции, что вы делали 6-го сего июля с двух до четырех часов дня. Ибо по показаниям свидетелей в два часа вы вышли из дому, оставив означенную Николину Пьетро в своей мастерской.

Кипренский. Я гулял по Риму.

Сержант. Вы гуляли по Риму. Прекрасно, синьор. Вы это твердо помните?

Кипренский. Да.

Сержант. Но что вызвало вас на прогулку в столь необычный час?

Кипренский. Я устал от работы.

Сержант. И вы предпочли рассеять эту усталость путем утомительной прогулки под римским солнцем?

Кипренский. На такие вопросы я отвечать не намерен.

Сержант. Не намерены? Дабы снять с себя обвинение, я советовал бы вам чистосердечно отвечать на все вопросы.

Кипренский. Кончайте скорее. Мне этот фарс надоел.

Сержант. Вы допускаете дерзкие выражения, синьор!

Кипренский. Да. И впредь допущу, ежели вы будете мне задавать оскорбительные вопросы.

Сержант. Известно ли вам, что русский художник Брюллов изъявил намерение писать портрет с вашей натурщицы Николино Пьетро?

Кипренский. Известно.

Сержант. Признаете ли вы, что портрет Николины Пьетро, начатый вами, вы полагали одним из сильнейших средств к достижению своей славы художника?

Кипренский. Да, я на это надеялся. Но тщетно.

Сержант. Таким образом, уход Николины Пьетро

от вас к вашему сопернику Брюллову мог лишить вас природы, на какую вы возлагали столь большие надежды?

Кипренский. Безусловно.

Сержант. Какими средствами вы могли бы удержать у себя Николину Пьетро, ежели бы означенная натурщица пожелала бы уйти от вас к Брюллову?

Кипренский. Деньгами.

Адель. Что вы, Орест!

Сержант. А ежели бы деньги не помогли?

Кипренский *(начинает понимать)*. Ах, вот какую хитрую и глупую ложь плетет полиция!

Сержант. Ложь? А не припомните ли вы, синьор Кипренский, как за два часа до убийства вами были сказаны Николине Пьетро следующие слова *(заглядывает в лист бумаги)*: «Если вы уйдете к Брюллову, я вас убью, Николина. За измену я буду мстить».

Кипренский. Это была шутка! Кто переиначил мои слова?

Сержант *(обращается к Готти)*. Синьор Готти, вы подтверждаете, что синьором Кипренским были сказаны эти слова?

Готти *(встает)*. Да, подтверждаю.

Сержант *(Готти)*. Вы подтверждаете свои письменные показания?

Готти. Подтверждаю.

Кипренский. Подлец!

Готти. Я не убивал невинных женщин и возвращаю это слово вам.

Кипренский бросается к Готти. Торвальдсен его удерживает.

Сержант *(Готти)*. Клянетесь?

Готти. Клянусь.

Сержант. Эти слова были сказаны в шутку?

Готти. Я не любовница синьора Кипренского, чтобы знать, когда он изволит шутить, а когда изволит говорить серьезно. Эти слова были сказаны. Смысл их ясен ребенку.

Кипренский *(выплескивает в лицо Готти недопитый стакан вина)*. Какая гадина!

Сержант. Спокойно! Синьор Готти, выйдите отсюда.

Готти поспешно уходит.

Тамаринский. Я был все время с синьором Кипренским с двух до четырех часов дня 6-го июля. Мы гуляли вместе. С нами была дочь Николины Мариучча. Мы все трое вернулись и обнаружили убитую.

Сержант. Клянетесь?

Тамаринский. Клянусь!

Адель. В этот день я заходила к синьору Кипренскому около двух часов и застала в мастерской трех человек: Николину Пьетро, доносчика, который только что вышел, и бродягу с красным платком на голове.

Сержант. Кто вы, синьорина?

Адель. Русская княжна.

Сержант. Кем вы приходитеесь синьору Кипренскому?

Адель. Никем.

Сержант. Клянетесь?

Адель. Клянусь!

Торвальдсен кладет на стол под бумагу пачку денег.

Сержант (*встает*). Ввиду новых обстоятельств, обнаруженных при допросе, и необходимости продлить следствие, вам, синьор Кипренский, надлежит дать торжественное письменное обещание, что впредь до окончательного разбора дела вы не покинете Рима.

Кипренский. Я готов, только уйдите. (*Подписывает бумагу.*)

Сержант. Прошу прощения. Не найдется ли у вас стаканчика вина, синьор?

Кипренский (*кладет в шляпу сержанта несколько золотых*). Это заменит вино?

Сержант. Вполне, синьор. Прошу прощения.

Сержант и полицейские уходят.

Адель. Бегите сейчас же из Рима, Орест! Они замучают вас допросами и сыском.

Торвальдсен. Бегите! Я знаю Рим и римские нравы. Они вас втопчут в пыль.

Кипренский. Куда? Куда бежать? Я погибну без солнца Италии.

Тамаринский. Беги в Петербург, Орест. Родина не оттолкнет тебя.

Адель. Я заклинаю вас, Орест. Бегите!

Тамаринский. Ты напрасно мне не верил. Ты наказан и наказан жестоко. Зависть и погоня за славой принесли свои черные плоды.

Кипренский *(не слушает Тамаринского)*. Как тяжело окончился Рим. *(Подходит к окну, прислоняется к косяку)*. Великий милый Рим, вторая родина моей души. Там *(показывает рукой за окно)* во мраке этой темной ночи блистают краски Рафаэля. Я хотел стать вровень с ним. Рим должен был лежать у ног, а я бегу, как вор, закутав голову плащом. *(Высовывается в окно, кричит)*. Рим, прощай!

Плачет. Адель берет его за плечи и отводит от окна.

Торвальдсен. Родина истинного таланта — вся земля, мой друг. Не плачьте!

Конец второго действия

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

### Картина шестая

Комната Кипренского в Петербурге — высокая, сводчатая, холодная. Беспорядок, но не тот, что прежде, — очень неуютный, холостяцкий. На мольберте стоит почти законченный портрет Пушкина. Картин мало, висят они криво. На столе — пустые бутылки от водки, корки, огрызки яблок.

За окнами дождь. Ветер. Низко несутся черные косматые облака. В окна сочится водянистое петербургское утро.

Кипренский лежит на кровати и курит. Слуга Лаврентий подметает пол.

Кипренский. Оставь пылить!

Лаврентий. Сами говорили, что придет Александр Сергеевич. Нешто при нем мыслима такая грязь! Постыдились бы, ей-богу. А еще человек в летах.

Кипренский. Подай мне мокрое полотенце. Башка трещит всю ночь.

Лаврентий. Водку, сударь, пьете, как извозчик. *(Несет полотенце)*.

Кипренский *(завязывает голову)*. Ты бы помолчал, Лаврентий. Почта была?

Лаврентий. Была, да не та, что ждете. Жандарм принес письмо.

Кипренский. Подай!

Лаврентий подает письмо. Пушечный удар.

Лаврентий. С ночи стреляют.

Кипренский (*распечатывает письмо*). Чего?

Лаврентий. Говорю, вода в Неве поднимается. С ночи стреляют.

Кипренский. Ага! (*Читает письмо.*) «Его высокопревосходительство граф Бенкендорф будет счастлив, ежели вы, милостивый государь, возьмете на себя труд написать портрет его детей. Благоволите сообщить ваши условия». Ну, что ж! Детей так детей! Вот, Лаврушка, будем мы с тобой писать портреты детей самого Бенкендорфа.

Лаврентий. Тьфу! (*Плюется.*) Бог знает, кого вы только пишете.

Кипренский. А тебе какое дело?

Лаврентий. Соблюдать себя надо, Орест Адамович.

Кипренский. Подай умыться.

Лениво встает и выходит в соседнюю комнату. Лаврентий идет за ним с тазом и кувшином. Потом возвращается и топит круглую чугунную печь. Пушечный удар. Звенят стекла. Ветер распахивает окно. С улицы доносится топот коней. Кипренский вбегает в комнату мокрый, с полотенцем в руке, бросается к окну. Снова пушечный удар. В окна несет брызги.

Кипренский (*кричит*). Буря! Лавруха! Буря! Видишь! (*Распахивает рубашку на груди и подставляет грудь ветру.*) Смотри. Нева уже перелилась! Смотри! Уланы скачут по воде. Ступай сюда, дурак!

Лаврентий. Чему радуетесь? Бедствию радуетесь, как бессмысленное дитё. Холоду напускаете. (*Подходит к окну.*) Ишь, как вода бурлит в подвалах.

Кипренский. Как ты сказал, — дитё?

Лаврентий. Ну, известно, как ребенок. А человек в летах.

Кипренский (*смеется*). Ты молодец, Лавруша. Ей-богу, молодец! Мне холодно и славно на душе. Как будто снова я мальчишка. И ветер, ветер, дует, бьет, знобит лицо! (*Бросается, ищет краски.*) Куда ты девал карандаши? Да не эти. Итальянские. Скорей! Какой уг-

рюмый свет! Огни в домах! Вода кипит в саду! Давай карандаши!

Кипренский хватает бумагу, карандаши, идет к окну. Пронзительный свист ветра. Пушечный удар. Дверь распахивается. В ней появляется Пушкин.

Пушкин. Здоров, Орест!

Кипренский бросает бумагу, карандаши, обнимает Пушкина.

Кипренский. Здорово, Саша!

Пушкин. Чудесный бурный день! Как будто молодость опять пришла, Орест, проведать нас с тобой.

Кипренский. Да. Пришла обдуть седины.

Пушкин (*подходит к портрету*). Готов?

Кипренский. Как видишь. Осталось несколько мазков. Садись.

Пушкин (*вглядывается в портрет, обходит, садится в кресло*). Ты мне польстил, Орест.

Кипренский (*пишет*). Молчи!

Пушкин. Кончай скорей. Пойдем по Петербургу. Ну, как, ты все еще тоскуешь?

Кипренский. Да. Вчера забрел в зверинец, Саша, и при мне сторож открыл сундук и вынул из грязного тряпья клетку с пестрой птицей. Ее привезли на корабле с островов Мадеры. Из-под голубых небес — в сундук с тряпьем. Вот так и я, Саша.

Пушкин. Хандра!

Кипренский. Хандра!

Пушкин. Чем тебя утешить! Ну, вот, послушай. Это все о ней, о твоей любовнице Италии. (*Читает.*)

Где пел Торквато величавый,  
Где и теперь во мгле ночной  
Адриатической волной  
Повторены его октавы;  
Где Рафаэль живописал,  
Где в наши дни резец Кановы  
Послушный мрамор оживлял,  
И Байрон, мученик суровый,  
Страдал, любил и проклинал.

Кипренский. Прелесть — стихи! Вот кончу портрет и снова уеду в Рим. Помирать. Читай еще, Саша. Я хотел бы унести твой голос с собой в могилу.

Пушкин (*смеется*). Мой голос! Полно, Орест! (*Встает и неожиданно кричит тонким голосом, как*

кричат на улицах торговцы-чухонцы.) Клюква, клюква! Ай, ягода, клюква!

Лаврентий *(кашляет и смеется)*. Ну, и чудной вы, Александр Сергеевич. А человек в летах.

Глядя на Лаврентия, Пушкин тоже начинает заразительно смеяться. Кипренский откладывает палитру и улыбается. Стук в дверь. Все гурьбой бросаются открывать и отступают. Пушкин церемонно кланяется. Входит румяная от ветра Адель в сопровождении лакея.

Кипренский. Простите, Адель, вы захватили меня врасплох.

Пушкин. Какая встреча в бурю. У вас щеки еще мокрые от дождя, Адель. Не вытирайте их. Не вытирайте.

Адель. Хорошо, Александр Сергеевич. Я их не трону. *(Кипренскому.)* Пустое, Орест. Я заехала за вами. Поедем посмотреть на Петербург. В последний раз.

Кипренский. В последний раз?

Пушкин. Когда же ваша свадьба с князем, Адель?

Адель. Недели через две.

Кипренский. А прошлое, Адель?

Пушкин садится на корточки у печки и ковыряет кочергой в огне. Адель сбрасывает перчаткой со стола огрызки яблок и сальные бумажки и ничего не отвечает.

Кипренский. А прошлое забыто?

Адель. Нет. Но вы не тот, Орест. И я как будто стала взрослей и строже. *(Смахивает со стола письмо Бенкендорфа. Кипренский хочет его поднять, но Адель опережает его, подымает письмо, прочитывает и молча кладет его на стол.)*

Кипренский *(с отчаянием)*. Ну, все равно!

Адель *(нервно смеется)*. Да, видно, все равно. Мы с детства мечтали о славе, о нежности, о благородстве, а от мечты осталось только это. *(Сбрасывает на пол письмо Бенкендорфа.)* Поедете, Орест?

Кипренский. Нет.

Адель. Тогда прощайте. Пойдемте, Пушкин. Скорей.

Пушкин. Поедемте, Адель.

Прощаются, уходят. Пушечный удар.

Кипренский. Лавруха, водки!

Лаврентий. Подождете.

Кипренский (подходит к портрету Пушкина, смотрит на него). Неужто это последний проблеск солнца! Лавруха, водки! Скорей! (Кричит.) Да слышишь, ты, что я тебе говорю, дурак?

### Картина седьмая

Сад около маленького ресторана в Риме. Осень. Багровые виноградные листья. Солнце. Один из столиков накрыт особенно богато: на нем много вина, цветов, фруктов, хрустала. За соседними столиками сидят редкие посетители.

Бриго, опустившийся, старый, в рваном платье, хочет сесть за богато накрытый стол, но слуга его прогоняет.

Слуга. Эй! Эй! За этот стол не садитесь! Это свадебный стол.

Бриго. Какой дурень справляет свадьбу в остерии!

Слуга. В нашей остерии дуракам не подают.

Посетители смеются.

Женщина с корзиной (жадно ест сыр). Кто это женится, мальчик?

Слуга. Старый русский на молодой итальянке.

Женщина. Все русские князья женятся на наших девчонках.

Слуга. Он такой же князь, как ты.

Женщина. Но он богат?

Слышен близкий церковный звон.

Слуга. Служба кончилась. Уже идут!

Посетители встают и толпятся у входа в остерию. Хозяин остерии выходит из-за стойки с подносом. На подносе бокалы вина. Церковный звон продолжается.

Бриго. Черт знает что! Она еще совсем девчонка! (Отступает.) А это он! (Быстро уходит в глубь остерии, садится за столик и один начинает пить вино.)

Женщина. Мариучча! Дочь несчастной Николины. Где она подцепила такого старикана? Конечно, он богат.

Входит Кипренский. Он ведет под руку Мариуччу, прелестную застенчивую девушку. Кипренский одет изяшно, но лицо его, обрюзгшее, желтое, погасшее, говорит о преждевременной старости и болезни. За Кипренским и Мариуччей входят маленький аббат, Торвальдсен, гравер Иордан — очень вежливый и белобрысый — и два молодых бородатых художника. Хозяин кланяется и подает аббату вино.

А б б а т. За счастье молодых! (*Пьет, треплет хозяина по щеке*). Ты примешал в дешевое вино корицы, бестия, и выдаешь его за старое спуманти. (*Смеется.*)

Хозяин. На такой веселой свадьбе, ваше преподобие, даже вода покажется вином.

Все садятся за стол.

Кипренский (*подзывает хозяина*). Пошлите на все столы вина. Пусть пьют!

Хозяин. Bravo, синьор! (*Кричит слуге.*) Вина на все столы за счет синьора!

Слуга разносит вино. Посетители поднимают стаканы. Возгласы: «За счастье новобрачных!» Бриго выливает на землю при- сланный ему стакан.

Кипренский (*пьет*). Я пью со всеми за твое счастье, Мариучча. Если бы я мог, я собрал бы сегодня всех бродячих псов Рима и накормил бы их в твою честь. (*Пьет.*)

Торвальдсен. Какие странные мысли приходят вам в голову.

Иордан. Орест Адамович — добрейшая душа.

Кипренский. Я буду скоро таким бродячим псом. Счастье отхлынуло от моего порога.

Торвальдсен. Слава коротка, как всякий блеск.

Кипренский (*пьет*). Слава уходит, как вода, и оставляет нас задыхаться в грязи, как задыхаются рыбы. Я был один. Небо померкло в моих глазах, и даже воздух Италии казался мне чуждым. Но теперь мне не нужно славы. Я нашел прелестную душу и ради нее я буду жить. Теперь мне нужны только деньги. (*Пьет.*) Да, деньги. Они оградят Мариуччу от житейских треволнений. Только они, только цехины!

Торвальдсен (*Иордану*). Я уйду незаметно. Мне тяжело оставаться здесь.

Иордан. Не покидайте меня с ним одного. Умоляю вас.

Мариучча (*Кипренскому*). Не надо так много пить, синьор.

Во время этой сцены а б б а т все время пьет и посмеивается, потом засыпает. Мариучча отставляет стакан Кипренского. Кипренский снова берет стакан, пьет. Бриго встает из-за своего столика и подходит к Кипренскому. Бриго пьян,

Бриго. Вы не узнаете меня?

Кипренский. Нет.

Бриго. Ну да, конечно. Вы плохо изучили мое лицо. Вы очень торопились его нарисовать, синьор Кипренский, чтобы поскорее вырвать свои три тысячи цехинов.

Кипренский. Сядь и пей, приятель. Я не знаю тебя. Мало ли бродяг шляется по Риму.

Бриго (*хватает Кипренского за плечо*). Я — Бриго. Я разорился. Мои корабли пошли с молотка.

Кипренский. Бриго! Любитель надгробных памятников! Золотой мешок Бриго!

Бриго. Да. Это я. Вы обманули меня.

Кипренский. Чем? Чего ты раскричался здесь, несчастный?

Маричча (*слуге*). Уведите этого человека.

Слуга берет Бриго за плечи и пытается вытолкнуть из остерии.

Бриго (*вырывается и кричит Кипренскому*). Не годяй! Ты взял с меня три тысячи цехинов за дрянной портрет. Я разорился. Моя жена умерла от горя. Я нищий. Я надеялся на твое имя. Я отнес этот портрет знатокам. Да, лучшим знатокам Рима. Я думал выручить за него десять тысяч цехинов, но мне дали за него только сто. Ты писал его грязью и водой из Тибра, обманщик. (*Бросается к Кипренскому, но посетители удерживают его.*)

Аббат (*просыпается и бормочет*). Любите друг друга, дети мои, и господь благословит дела ваши. (*Снова засыпает.*)

Кипренский (*пьет*). Мне жаль тебя, Бриго. Плюнь на все и пей. Здесь свадьба. Я верну тебе твои три тысячи цехинов. Я сам куплю у тебя свое же полотно.

Бриго. Вы опять обманете меня, синьор.

Кипренский (*хохочет*). Нет. Торвальдсен, мой знаменитый друг, я не забыл урок, что вы мне дали в Ватикане. Вы слышите? Я куплю за три тысячи цехинов свою ошибку. Я уничтожу этот портрет. Пей, Бриго! (*Наливает вино, расплескивает его на скатерть и платье Мариуччи.*)

Иордан. Орест Адамович, успокойтесь!

Торвальдсен встает и уходит.

Кипренский. Ах, ты ушел. Прекрасно! Негодуй. Считаю меня изменником искусства! *(Пьет.)*

Мариучча. Не надо больше пить, синьор.

Кипренский. Молчи. Ты девчонка. Ты ничего не смыслишь в этом.

Бриго. Когда вы мне вернете деньги?

Кипренский. Когда? Вот погоди, на днях мне пришлют из Петербурга двадцать тысяч золотых рублей.

Женщина с корзиной. Все русские швыряются деньгами.

Кипренский. Двадцать тысяч золотых рублей! Ты слышишь, негоциант Бриго?

Иордан. Откуда такие деньги, Орест Адамович?

Кипренский. От Бенкендорфа. Я взял подряд на копии великих мастеров. Я буду делать по копии в неделю.

Молодой художник. Его надо увести.

Мариучча *(Иордану. У нее на глазах слезы.)* Успокойте его, синьор.

Кипренский. Я спокоен. Волнуешься ты. Это все для тебя, Мариучча. Ни одна морщинка не ляжет на твое прелестное лицо.

Молодой художник. Двадцать тысяч золотых рублей!

Кипренский. Не верите? Не надо! К черту!

Бриго. Я верю вам, синьор.

Кипренский *(протягивает к себе Бриго и целует его)*. Душа моя, пей вино. Пусть свадьба шумит по Риму, как карнавал! Они не верят! *(Бьет кулаком по столу.)* На днях я получу орден от царя. Я написал ему письмо об этом.

Мариучча. Нам пора уходить, синьор.

Кипренский. Куда? Я снял для тебя лучший дворец Рима — древний дворец Клавдия. Мы все пойдем туда, будем пить всю ночь и закормим бродячих псов жареной дичью. Идет?

Бриго. Идет! *(Целуется с Кипренским.)*

Иордан. Довольно, Орест Адамович!

Кипренский. Замолчи! Я написал царю: «Ваше величество, краски, пролитые мною на холст, должны быть расценены не дешевле, чем кровь, пролитая вашими генералами на бранных полях. Я надеюсь на вы»

сокую оценку моих живописных заслуг». (*Молодые художники смеются.*) Что! Кто смеет смеяться надо мной? Щенки! Я — Кипренский, Орест Кипренский, потомок Веласкеза и Рембранта!

Иордан. Довольно, Орест Адамович. (*Подымает Кипренского из-за стола и ведет к выходу.*)

Слышен медленный церковный звон. Похоронное пение.

Кипренский. Хорошо. Я уйду. Но пусть минуют похороны. Я не люблю их. Не хочу.

Кипренский останавливается у выхода, качается. Мариучча стоит поодаль. Посетители остерии толпятся вокруг Кипренского. Погребальное пение усиливается.

Кипренский (*кричит*). Эй, кого хороните? Какой мертвец посмел перейти дорогу веселой свадьбе?

Мариучча. Тише, синьор.

Женщина. Да, уж и веселая свадьба!

Хозяин остерии. Каждый веселится по-своему.

Кипренский (*отступает, шатается, лицо его делается мертво-бледным. Иордан и Мариучча поддерживают его*). Иордан, кто там лежит в открытом гробу? Кто? Ты не видишь?

Иордан. Ради бога, прошу вас, успокойтесь, Орест Адамович!

Кипренский (*кричит*). Это Тамаринский! Когда ж он умер! (*Опускается на стул.*)

Церковный звон. Похоронное пение. Кипренский сидит, опустив голову.

Кипренский. Душа моя, Тамаринский. Ты даже не прислал сказать мне, что умираешь. Почему? (*Медленно наливает в стакан вино*). Чем я тебя обидел? Чем? (*Смотрит вино на свет*). Эх, жаль, Тамаринский, что нельзя было писать картину вином. Сколько бы света и трепета мы вкладывали тогда в свои полотна.

Иордан. Ваши краски, Орест Адамович, не уступают игре вина.

Кипренский (*тяжело встает, опирается руками на стол*). Что? Что ты сказал? Сейчас же повтори.

Мариучча. Уйдем скорей отсюда.

Кипренский (*угрожающе*). Повтори, что ты сказал, Иордан!

Иордан. Ваши краски не уступают игре вина, Орест Адамович.

Кипренский (*кричит*). Не уступали! (*Бьет кулаком по столу.*) Не уступали! Не смей напоминать о прошлом. Что было — то будем поросло. Эх, Тамаринский, Тамаринский, зачем ты меня оставил? (*Снова падает на стул.*)

Молодые художники незаметно уходят. Мариучча и Иордан поднимают Кипренского. Входит Готти. Он толст, румян, весь звенит брелоками. Он уступает Кипренскому дорогу и почтительно кланяется.

Готти. Привет великому копиисту, синьору Кипренскому.

Кипренский. А-а-а! Это ты — римская гадина, продажная душа.

Готти (*кланяется*). Мы с вами люди одного ремесла, синьор.

Кипренский бросается на Готти, но Мариучча и Иордан удерживают его. Кипренский спотыкается, садится на стул и плачет, упав головой на столик.

Аббат (*просыпается, крестит рыдающего Кипренского*). Будьте счастливы, дети мои, любите друг друга, и господь наградит вас своими щедротами.

## Картина восьмая

Громадная темная комната в старинном дворце Клавдия в Риме. Осень. Ночь. Горят две свечи. За стенами шумит ветер. Он поет в трубах, хлопает ставнями, свистит в оконных рамах, качает язычки свечей. На стеках комнаты — несколько начатых и неоконченных портретов Мариуччи.

На широкой кровати лежит бледный, измученный Кипренский. На стене, над его головой большое черное распятие. Мариучча стоит у стены и со страхом смотрит на Кипренского.

Мариучча (*испуганно зовет*). Мария!

Никто не отвечает, — только ветер поет в старом доме.

Кипренский (*бредит*). Позови нищего скрипача. Позови скрипача.

Мариучча. Зачем?

Кипренский. Позови. Мыши грызут холсты всю ночь. Всю ночь. Я слышу. Он уведет мышей.

## М а р и у ч ч а. Мария!

Входит старая служанка.

М а р и у ч ч а. Как долго нет доктора, Мария!

М а р и я. Я жду его у дверей. Ветер задул на улицах все фонари. Я боюсь, что доктор не найдет дороги.

М а р и у ч ч а. Ну, хорошо. Идите. Мне очень страшно, Мария. *(Мария уходит. Мариучча кричит ей вслед.)*  
Дайте больше свечей!

М а р и я. Хорошо, синьора. *(Уходит.)*

К и п р е н с к и й. Мариучча!

М а р и у ч ч а сильнее прижимается к стене и не двигается.

Мариучча! Эй, вы, откройте окна и выпустите ночь наружу. Какая тьма! *(Начинает тихо читать.)*

Ночь опустила тьму на старые сады,  
Холодный ветер шумит и бьется на полянах.  
И сердце бедное — все в пламени и ранах —  
Трепещет с полночи до утренней звезды.

К и п р е н с к и й громко смеется.

М а р и у ч ч а *(тихо, почти шепотом)*. Мария!

Слышен стук, потом гулкие шаги по комнате. Дверь тихо открывается. Входит М а р и я, ставит на стол свечи.

М а р и у ч ч а. Кто это ходит там?

М а р и я. Ветер, синьора. Какой страшный ветер над Римом.

М а р и у ч ч а. Я слышала мужские шаги.

М а р и я. Нет, это ветер. Он носится по этому дому, как хозяин.

Далекий, но явственный стук в дверь.

Доктор! *(Быстро уходит.)*

М а р и у ч ч а стоит все так же неподвижно. Слышен кашель, торопливые шаги. Дверь отворяется. Входит доктор Р и к а р д и, за ним М а р и я. Р и к а р д и — сухой, подсакивающий старик, похожий на чучело птицы. Он молча кланяется М а р и у ч ч е, ставит на стол цилиндр и маленький чемодан и начинает медленно стаскивать перчатки, разглядывая портреты на стенах.

Р и к а р д и *(пронзительным голосом)*. Эта комната мало похожа на жилище славного художника.

М а р и у ч ч а молчит.

Что с вашим мужем, синьора? Когда он заболел?

М а р и у ч ч а. Вчерашней ночью.

Р и к а р д и. Как это случилось?

Мариучча. Служанка нашла его на пороге дома поздней ночью. Он был пьян, синьор. Он спал. Ночь была холодная. Шел дождь.

Рикарди. Обыкновенная судьба русских.

Рикарди подходит к постели Кипренского, откидывает со лба Кипренского волосы и долго всматривается в воспаленное лицо художника. Кипренский лежит с закрытыми глазами.

Рикарди (*Марии*). Помогите мне посадить его.

Вдвоем сажают Кипренского. Рикарди выслушивает больного. Кипренский сидит, не открывает глаз. Потом тяжело падает на подушки.

Рикарди. Синьора, у вашего мужа грудная гонячка. Шум от ветра не дает мне возможности выслушать его со всей тщательностью. Он очень плох. Надо пустить кровь.

Мариучча. Я боюсь крови, синьор.

Рикарди. Вы можете не смотреть.

Мариучча. Я боюсь крови, синьор.

Кипренский приходит в себя, подымает голову, пристально смотрит на Рикарди, крепко хватает его за руку и улыбается.

Кипренский (*говорит тихо, слезы ползут по его исхудалым щекам*). Александр Сергеевич, Саша... спасибо... Как же ты шел так далеко, милый. Ночь какая ненастная, а ты меня не хотел оставить...

Рикарди наклоняется к Кипренскому и кладет ему руку на лоб.

Кипренский. Это кто? Цирульник?

Рикарди. Я доктор. Очнитесь! Я доктор. Говорите.

Кипренский. У меня тяжелая кровь... Краски застыли в жилах. Выпустите кровь!

Рикарди. Прекрасно. (*Достает инструменты, оловянную чашку для крови.*)

Кипренский. Погодите. Кто вы такой. Что вы понимаете? Люди великие, благородные, блиставшие умом и талантом, благословляли мое имя. Жуковский поцеловал меня в голову. Пушкин писал мне элегии. Знаменитые воины почитали мою руку столь же верной, как их стальные клинки!

Кипренский поднимает худую руку и рассматривает ее. Рикарди быстро сжимает руку за локоть, подставляет оловянную чашку и прокалывает кожу. Брызжет кровь.

Кипренский. Где, когда я сбился с пути. Какой ночью? Кто знает? Никто. Почему я их помню. Милые слова, любовь моего сердца... *(Умолкает, потом тихо говорит.)*

И сердце бедное все в пламени и ранах  
Трепещет с полночи до утренней звезды.

По щекам Кипренского текут слезы.

Рикарди. Он очень плох, синьора. Вам надо бы позвать священника. И самой проститься с ним,

Мариучча. Я боюсь, синьор.

Кипренский *(быстро садится на постели, дико кричит.)* Друзей! *(Чашка с кровью опрокидывается, по подушке и простыням расползаются широкие пятна крови.)* Друзей!

Рикарди отшатывается. Мариучча вскрикивает, прижимается к стене и смотрит с ужасом на Кипренского. Мария молится. Кипренский тяжело падает на постель. Лицо его застывает, делается торжественным и прекрасным.

Бетер колеблет свечи, шумит над Римом. Слышны гулкие шаги. Шаги приближаются. Рикарди, Мариучча и служанка с тревогой поворачиваются к двери.

Дверь распахивается. Входит Горвальдсен. Он останавливается, пораженный, потом подходит к постели, снимает шляпу, становится на колени и целует покрытую кровью худую руку Кипренского.

Во время этой сцены гул ветра над Римом переходит в звуки отдаленного, но мощного «Реквиема».

## Э п и л о г

Свет медленно гаснет, и в звуках затихающей музыки разгорается снова, открывая обстановку последней картины-эпилога. Та же каюта корабля, что и в прологе. Задумавшиеся угрюмые матросы и капитан. Человек в цилиндре сидит, опустив голову. Цилиндр его стоит около кресла на полу. Неизвестный все так же перебрасывает из ладони в ладонь апельсин. За раскрытыми настешь окнами разгорается над Петербургом бледная зимняя заря.

Куранты бьют четыре гулких медленных удара.

К О Н Е Ц



50 коп.

Калужское книжное издательство 1962